

Н О В Ы Й
М И Р

7



1969

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 7

Июль, 1969 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания, роман	3
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — Два стихотворения	79
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — У синего моря (Из записок старого охотника)	81
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Из лирики, стихи	104
АЛЕКСАНДР БЕК — Такова должность	106

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

А. ВОЛКОВ — Самое важное, самое главное	169
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ — Встречи	180
-------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАРДИН — Простые вещи (Заметки о прозе Бориса Лавренева)	216
В. ШЕСТАКОВ — Социальная антиутопия Олдоса Хаксли — миф и реальность	230

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	248
Л. Антопольский. Точка в мире.— И. Питляр. Посмотри на себя со стороны.— А. Лебедев. Достоинство исследователя.— Я. Гордин. Парадоксы поневоле.— Ст. Рассадин. Наш современник Роберт Фрост.	

<i>Политика и наука</i>	264
-------------------------	-----

Ю. Субоцкий. Управление, хозрасчет, самостоятельность.— Вл. Канторович. Социология и промышленные кадры.— М. Гефтер. Великая антиколониальная революция.— А. Морозов. Новое о Разине.— Н. Болховитинов. Т. Рузвельт и «прогрессивное движение».

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Б. Ц. Урланис. История одного поколения.— К. Корнилобич. Окно в минувшее.— Л. Е. Кертман. География, история и культура Англии.— Н. Пахомов. Музей «Абрамцево».	282
ОТ РЕДАКЦИИ	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Роман

Глава первая

УХОДЯТ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

1

Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове.

Я смотрел на черную воду в гавани — как она дымится, а швартовые белеют от инея. Понизу еще была видимость, а выше — как в молоке: если судно причалено вторым корпусом, только рубку и различишь, а мачт совсем нету. Но я-то, когда еще спускался в порт, видел — небо над сопками зеленое, чистое и звезды как надраенные, так что это ненадолго: к ночи еще приморозит и Гольфстрим остудится. Туман повисит над гаванью и сойдет в воду. И траулеры спокойненько выйдут в Атлантику.

А я вот уже не выйду. Я свое отплавал. И дел у меня никаких в Рыбном порту не было: просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись, а после — смотаю удочки, да и подамся куда-нибудь в Россию, куда поужнее.

Тут они являются, два деятеля. Вынырнули из тумана.

— Кореш,— кричат,— салют!

Оба расхристанные, шапки на затылке, телогрейки настезь, и пар от них, как от загнанных.

— Салют,— говорю,— кореша. Очень рад видеть.

А на самом деле — никакие они мне не кореша. Ну, с одним-то, с Вовчиком, я корешил недолго, рейса два сплавали вместе под тралом, даже наколками обменялись. У него на пальцах «Сеня» выколото, а у меня — «Вова». Ну зыколото, и ладно. А второго-то, пучеглазого, я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И с ходу лапаться полез.

— Гляди, кого обнаружили! Нос к носу вышли — при такой видимости. Как это понимать, Вовчик?

А так и понимать, думаю. Ты носом своим лиловым всегда кого надо обнаружишь. А раньше всего — денежного человека. Видно же, с кем имеешь дело — с бичами непромысловыми¹. Которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там «штормяги» и «переплеты». Не портовым девкам, а городским. А все-то ихние «переплеты» — сплзать раз в день отметиться в кадрах, лучше всег — под вечер, когда уже

¹ Происходит от английского «beach» — пляж, морской берег, отмель. «To be on the beach» — быть «на мели»; морской сленг — быть в отставке.

вся роль на отходящее судно заполнена. Ну, и дважды в месяц потолкаться возле кассы, получить свои законные, семьдесят пять процентов. Чем не жизнь? И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры швартуются и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут — гранатами не отобьешься. «Салют, Сеня! Какие новости? Говорят, в Атлантике водички поубавилось, пароходы килем по грунту чешут, захмелиться бы надо по этому поводу. Моряки мы или не моряки?» И знаешь ты их, как родных, а все равно — и поишь и кормишь, потому что любому рылу береговому рад и душа твоя просится на все четыре стороны.

— Что, — спрашиваю, — бичи? На промысел топаете?

— Какой теперь, к шутам, промысел? — пучеглазый орет. — Не ловится в этот год рыбешка. Научилась, швабра, мимо сетки ходить!

— А ты почему знаешь?

— Господи! Сами ж неделю, как с моря.

А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не море, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селедки, и тот же Вовчик меня на этом самом причале встретил.

Смутился Вовчик.

— Ну где ж неделя, Аскольд? Больше месяца.

— Да где же месяц?

— А где же неделя?

Уйти бы мне от греха подальше, но, сами понимаете, интересно же — кто сегодня пришел, кого в последний мой день принимают в порту, а верней всего у бичей узнаешь, можно к диспетчеру не ходить.

— Ладно, — говорю, — считаем: неделя без году. Кого встречаете, Вовчик?

— Своих, трехручевских, — отвечает мне Вовчик. А он и правда к женщине одной, инкассаторше, на Три Ручья ездил. Трехручевские ему, конечно, свои. — Триста девятый пришел, «Медуза».

Ну, и пошел, конечно, обыкновенный рыбацкий треп:

— А куда ходили?

— К Жорж-Банке¹.

— А что брали?

— Окуня брали, хека.

— И хорошо брали?

— Не сильно.

— Штормоваться пришлось?

— Что ты! Штиль всю дорогу, хоть брейся. Гляди в воду и брейся. Хотя окунь-то, он в штиль не любит ловиться.

— Значит, и плана не набрали?

— Да почти что в пролове. Премия-то, ясно, накрылась. Ну, гарантийные получают, и коэффициенту набежит; под Канадой — там вроде ноль-восемь.

Всё знают бичи: и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. Зато уж сами в пролове не бывают.

— Дак вот, плешь какая, — Аскольд опечалился. — Пришли ребята с Жорж-Банки, четыре месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждут.

— Что ж, — говорю, — целее будут.

Но это они умеют мимо ушей пропустить. Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает:

¹ Джорджес-Банка — обширное мелководье у берегов Канады.

— А у тебя отход на сегодня назначен?

— Нет,— говорю,— кончилась для меня эта музыка.

— Списали, значит?

— Зачем? Сам решил уйти.

— Что ж так?

— А так. Надоело.

— И документы забрал?

— За этим, что ли, дело — с тюлькиной конторой расчихаться?

— Н-да,— говорит Вовчик.— Куда ж ты теперь пойдешь?

— Не пойду,— говорю,— а поеду.

— На другое море?

— Люди, Вовчик, не только ж по морю ходят. И на сухом месте обьякориться можно.

— Можно. Да смотря как.

— Ну, по крайней мере не как у тебя, по-глупому: ни в море, ни на земле.

Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я все же смутил. Да ведь он уже долго бичевал, пообвыкся в бичах, плюнешь в него — умоется.

— Что ж,— говорит Вовчик,— тут грех отговаривать. Если человек решил.

— Да,— говорю,— тут оно твердо.

— Ну, рад за тебя... Не захмелимся по этому поводу?

— Да захмелиться-то недолго...

— А что мешаает? Монеты кончились? Вон Аскольд пиджак может заложить, ты расчет получишь — выкупишь.

— Монеты не кончились, Вова. Дураки,— говорю,— кончились.

За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда я звался по-честному моряками, они только переглянулись, когда я сказал про монеты; Аскольд даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были, в пиджаке, в нагрудном кармане, заколотые булавкой,— тысяча двести новыми. Все, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селедку в Северное, к Шетландским островам, и рыба хорошо заловилась, так что мы и премию взяли, и прогрессивку. И сорок процентов начислили мне полярки. А истратил я — на папиросы в лавочке, на лезвия, ну и долги по мелочам роздал, и матери по аттестату. Приход свой, конечно, отметил — рублей на полста. Но уж в кредит на плавбазах не взял ни на рубль и на берегу ни одной стерве не перепало. Кончился для некоторых Сенька Шалай, списывается по чистой и аванса не просит!

Так вот я и говорю им:

— Монеты не кончились, Вова. Дураки кончились.

— Как это понимать, Вовчик? — Аскольд понемногу обидеться решил, багровый сделался, глазищи только на шапку не вылезли. — Это он с матросами не желает зняться?

А Вовчик, друг мой, кореш, засмеялся и говорит:

— Он же шпак теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляже придуркам травить, какая в Атлантике сильная погода.

Хотелось мне врезать ему, но ведь кореш все-таки, да и я ему тоже не комплименты говорил,— раздумал и пошел от них подальше. У меня в этот день была мечта — обойти все причалы, пароходы поглядеть, судоверфь, сходить на катере в доки на Абрам-мыс, везде побывать, где я бывал, откуда уходил в море или в ремонте стоял, нес береговую вахту,— а теперь вот сразу и расхотелось. Потому что еще кого-нибудь встретишь и не отвлешься, такне пойдут беседы.

— Обожди-ка! — Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана. — Значит, не встречаемся больше? Так, что ли, кореш? А мне и подарить тебе на прощанье нечего.

— Подари, когда будет, Аскольду.

— Он и сам тоже предлагает: подарить бы чего дураку. Чтoб хоть память осталась. А хочешь — мы тебе курточку сосватаем?

— Какую еще курточку?

— Лопух, в чем же ты уедешь?

Подошли, и Вовчик меня взял за пальто, раздраил на груди:

— Срам! Девки на первом брoде засмеют. Ну, флотский! Ну, северный! Бостоном не мог обшиться, макен позаграничнее нацепить. Жмешься вот, а себе же и прогадываешь. Где он, этот-то, с курточкой?

— Здесь он. — Аскольд куда-то рукой махнул. — Между пакгаузов ходит.

— Понимаешь, механичек тут один, с торгового, такого куртá загоняет: ты во сне увидишь, проснешься и опять скорей заснешь!

— Норвежская! — пучеглазый орет. Чем другим, а глоткой бог не обидел малого. — С мехом, понял, на подстежке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, темненькая такая, в дымчик. Что ты! У спекулей разве такую достанешь?

— А он что, не спекуль, торгаш этот?

— Ну где же спекуль? — Вовчик мне доказывает. — Сотнягу просит. Можно считать — даром отдает. Ну, бывает несчастье у человека — купил, а не в размер. А на тебя, мы так прикинули, в сам раз.

А я, в том-то и дело, насчет такой курточки давно мечтал. Сраму-то на мне не было — вот уж на них срам, это точно! — а у меня пальто было велюровое, с мерлушкой, костюм коверкотовый, шапка тоже в порядке, я себя расхристанным не допускал ходить. Но все мое — что на мне надето. Так и затаскать недолго, следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было — один тельник под сорочкой. Раньше я про это не думал, а как с флота решил списаться, вдруг пришло в голову. Все-таки море меня видело, и я его тоже повидал.

— Чего раздумываешь? — спросил Вовчик. — Так он тебя и ждал, торгаш, с этой курточкой! Ну-к, стой тут на пирсе, никуда не беги...

Прихлопнули меня по плечам, и нет их, растаяли. А я стою и жду. А потом думаю: лопух я, вот уж действительно! Доверился бичам, чтоб они мне барахло сватали. Ведь они, как пить, четвертак еще за комиссию попросят, у них такой прејскурант, за прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия! Что я, сам бы не мог торгаша этого повстречать? К тому же на моих золотых, смотрю, уже два пробило, вот-вот стемнеет.

И снялся я с места, пошел по причалам, под кранами, вдоль пакгаузов. Потом увидел — ни к чему все это. Да и туман. Хороший я себе денек выбрал для прощания! Но ведь его не выбираешь, проснешься как-нибудь утром — или сегодня, или никогда! А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь — так и раздумаешь.

И все-то я знал в Рыбном порту, любую дорогу отыскал бы с завязанными глазами — только по запаху, по звуку. Вот я слышу: соленой рыбой уже не пахнет, а пахнет мороженым свежем, аммиаком — это я на десятом причале, возле рефрижераторов. Дальше мочеными досками запахло, ручники стучат по железу, шофера матеряются — тарные склады, двенадцатый причал, здесь контейнеры набивают порожними бочками. Еще дальше: нефтяной дурман и насосы почмокивают — там уже тринадцатый, там топливо берут и воду. А после — с коптильни по-

несет, как будто сто траулеров повыворачивали трюма наизнанку, и тут уж определишь — справа несет или слева, от воды идешь или к воде.

Если бы я еще лет пять проплавал, я бы и не это знал — чьи там гудки и тифоны перекликаются, чья сирена попискивает — водолазов зовет или сварщика, и как этого диспетчера зовут, который в динамик хрипит на всю гавань:

— «Чеканщик»! Включите радио, «Чеканщик»!.. Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал...

Но я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватило бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А может быть, и не прожил бы — человек же про себя ничего не знает, это точно.

У центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел — кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь.

Однако бичи меня разглядели. Совсем, бедняги, задохлись, но догнали у проходной. И с ними торгаш, с чемоданчиком. А я и забыл про них.

— Что же ты подводишь? — Аскольд кричит. — Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как это понять, Сеня?

Торгаш меня сразу глазами смерил.

— Этот, что ли? Напаялим.

Он мне понравился, в порядке был морячок — такой ладненький, резвый, шуба-канадка на нем с шалевым воротником, мичманка на месте, козырек на два пальца от брови. Это мы, сельдяные, все больше в пальтишках, в телогреечках. А торгаши себя уважают.

Мы отошли шага на два, стали за щиты с газетами, и тут он вытщил свою курточку.

Какая это была курточка! Просто явление природы, и более того. Поперек груди — белые швы зигзагами, подкладка сиреневая, скрипучая, потайные карманы внутри на молниях, с хитрыми какими-то замочками, и по бокам еще два косых, белым мехом отороченных, и капюшон на меху, а от него до пояса молния, и пояс — широкий, на резине, а в плечах погончики вшитые с «крабом», без всяких там якорей, якоря — это старо, и рукава тоже мехом оторочены и на молниях до локтя, можно закатывать их и руки мыть. А насчет цвета и говорить не будем — как штормовая волна баллах при восьми и когда еще солнце светит сквозь тучи...

— Сдохнуть можно, — пучеглазый чуть не навзрыд. — Эх ты мой куртярик!

— Ладно, ты, — Вовчик ему сурово. — Не куртярик, а прямо-таки куртенчик. Ты только руками не лапай, твоим он не родился.

— Ну как? — торгаш говорит. — Тот самый случай?

Мне бы спросить, почему твое сокровище, но так же не делается, так только вахлаки на базаре торгуются, надо сперва намерить. Я скинул пальто, дал его Аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась «в сам раз», ну чуть свободна в плечах. Но это ведь не на год покупается, я же еще раздамся.

Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается. Потом открыл чемоданчик — там у него в крышке вделано зеркальце.

— Не торопись, — говорит, — посмотришь подольше. Надо же знать, какое действие производишь.

Вид был действительно — как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее. Рот бы чуть пошире. Глаза бы — не зеленые, а серые. И волосы без этой дурацкой рыжины. Но ничего не поделаешь.

— Сколько? — спрашиваю.

— Нравится?

— Можно, — говорю, — принять за основу.

— Ну, если нравится, то полторы.

— Как «полторы»? Ты же сотню просил.

— За такую курточку, родной, не просят. За нее сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал — сотню?

Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись.

— А больше, — говорю, — она не стоит.

Торгаш моментально мичманку с меня стащил и куртку расстегивает.

— Будь здоров, — говорит. — Привет капитану!

— Постой. — Я уже понял, что так просто мне с нею не расстаться. — Сколько, если для конца?

— Вот для конца как раз полторы. Для начала две хотел, но — засовестился. Вижу — идет тебе.

Я потянулся было за пиджаком, а Вовчик уже, смотрю, вынул всю пачку, развернул платок и сам отмусоливает пятнадцать красненьких. Торгаш их перещупал, сложил картинка к картинке, последнюю — поперек, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со шита, завернул мне пиджак.

— Ну, сделались? — торгаш говорит. — Носи на здоровье.

— Что ты! — Аскольд ему улыбается и берет под локоть. — Не-ет, — говорит, — это мы еще не сделались. Не знаешь ты нашего Сеню. А он у нас — добрый человек. Правда ж, Сеня?

Откуда ему, пучеглазому, знать, добрый я или злой? Первый раз человека видит. Добрый — значит, всю капеллу теперь захмели. А торгаш и так на мне руки нагрел, с ихней же помощью.

— Конечно, — говорю, — добрей меня нету.

— А замечаешь, Сеня? — все пучеглазый не унимается. — Мы с тебя за комиссию ничего не берем. А вообще — берут. Замечаешь?

Да, думаю, тяжелый случай. Ну, что поделаешь, раз уж я в эту авантюру влез.

— Гроши-то возьми, — напомнил Вовчик. — Раскидался.

Я взял у него пачку, уже завернутую и булавкой заколотую, и так это небрежно затиснул в курточку, в потайной карман. Не люблю, когда на чужие деньги смотрят!

2

И мы, значит, с ходу взошли в столовую — тут же, у центральной проходной, — и сели в хорошем уголке, возле фикуса. А над нами как раз это самое: «Приносить-распивать запрещается».

— Это ничего, — говорит Вовчик. — Это для неграмотных.

Одоложил у торгаша самописку и приделал два «не». Получилось здорово: «Не приносить и не распивать запрещается».

— Вот теперь, — говорит, — для грамотных.

Но мы все сидели, грамотные, а никто к нам не подходил.

— Бичи, — говорю, — не отложим ли встречу на высшем уровне?

— Что ты! — Аскольд вскочил. — С такими финансами мы нигде не засидимся. Сейчас пойду Клавку поищу, Клавка нам все устроит, на самом высшем.

Пошел, значит, за Клавкой. А торгаш поглядывал на нас с Вовчиком и посмеивался. У них в торговом порту все это почище делается, и

никто этих дурацких плакатов не пишет. Все равно ведь приносят и распивают, только не честь по чести, а вытащат из-под полы и разливают втихаря под столиком, как будто контрабанду пьют или краденое.

Пришла наконец Клавка, стрельнула глазами и сразу, конечно, поняла, кто тут главный, кто будет платить. Передо мною и с чистой скатерки смела.

— Мальчишки,— говорит,— я вам все сделаю живенько, только чтоб по-тихому, меня не выдавайте, ладно?

— Сколько берем? — Аскольд захрипел. По-тихому он говорить не умеет.

— Ну, сколько,— говорю,— четыре и берем, раз уж мы сидя, а не в стоячку. Пора уже вам жизнь-то понимать!

— Вот это Сеня! Добрый человек! А ты думаешь, Клавдия, почему он такой добрый? А он с морем прощается нежно, посуху жить решил.

Очень это понравилось Клавке. Смеется Клавка:

— Вот, слава богу! Хоть один-то в море ума набрался. Ну, поздравляю.

— А ты думаешь, Клавдия, мы не добрые? Видишь, как мы его прибархлили?

— Вижу. Хорошо, если эту курточку и его самого в придачу до вечера не пропъете.— Клавка мне улыбнулась персонально.— Ты к ним не очень швартайся, они пропащие, бичи. А ты еще такой молоденький, человеком можешь стать.

Вся она была холеная, крепкая. Красуля, можно сказать. А лицо такое ленивое и глаза чуть подпухшие, будто со сна. Но я таких знаю. Когда надо, так они не ленивые. И — не сонные.

— Кому от этого радость,— спрашиваю,— если я человеком стану? Тебе, что ли?

Опять она мне улыбается персонально, а губы у нее обкусанные и яркие, как маков цвет. Наверно, никогда она их не красила.

— Папочке с мамочкой,— говорит.— Есть они у тебя?

— Папочки нету, зато мамочка ремнем не стегает. Неси, чего там у тебя есть получше.

— Не торопись, все будет. Дай хоть наглядеться на тебя, такого залетного...

Торгаш посмотрел ей вслед, как она плывет лодочкой, не спеша, чтоб на нее подольше глядели, и даже присвистнул.

— Хорошая,— говорит,— лошадь. Я бы уж не пропустил, ухлестнул бы на твоём месте.

— Что же не ухлестнешь?

— Своя имеется. Пока хватает.

— Тоже и у меня своя.

— Это другое дело.

Правду сказать, насчет «своей» это я так брякнул. Были у меня «свои», только они такие же мои, как и дяди-васины,— но вот за такими клавками, крепенькими, гладкими, на портовых щедрых харчах вскормленными, я еще салагой гонялся. И с ними-то я быстрее всего состарился.

Принесла она «рижского» на всех и закусь, какой и в меню не было,— жаркое домашнее и крабов, даже копченого палтуса. Поставила передо мною поднос и стала — руки в бока.

— Угодила?

Я и не посмотрел на нее.

— Ух ты рыженький, какой сердитый! А говорил, что жизнь понимаешь. Как же ты ее понимаешь, скажи хоть?

Ни больше, ни меньше захотела знать! Да еще я почему-то рыженький для нее. Ну, есть малость, но никто меня так не называл.

— Сколько надо,— говорю,— столько понимаю. На все другое боцман команду даст. Что касается тебя — не глядя вижу.

— Ах,— говорит,— какой залетный!..

Опять они с Аскольдом ушли, потом он приносит, озираясь, четыре поллитры в телогрейке, и мы с них зубами содрали шапочки, налили по полному и покрасили пивом.

— Ну что,— говорит Вовчик,— будем, значит?

— Будем! — Аскольд заорал.— Умрем за курточку!

У меня сразу перехватило в горле, но я все же стакан опорожнил раньше их.

— А ты здорово,— торгаш сказал.

Он и то заслезился, а уж, наверное, отведал там, в загранке, и ромов и джинов. Стали закусывать быстренько, как будто нас кто-то гнал.

— Вот, Сеня,— Вовчик ко мне придвинулся и начал втолковывать. Он всегда, как выпьет, чего-нибудь втолковывает. Тем он мне и надоел.— Видишь, как все красиво, по-мирному получилось, а ты уже и знаться с нами не хотел. А я тебе так скажу, Сеня: не отрывайся ты от бичей, они тебе родная почва. Настоящих бичей, как мы с Аскольдом, мало осталось, все — шушера, никто тебе не поможет. Вот ты с флота уходишь, а никого вокруг тебя нету, один ты по причалам шляешься. Почему бы это, Сеня? А мы тебя и проводим, и на поезд посадим, рукой хоть помашем тебе.

Торгаш мне подмигнул:

— Пропаганда.

Но мне вдруг так жалко стало Вовчика. Ведь спивается мужик, и ничего я тут не поделаю. Я его бить хотел — ну куда его бить! Руки у него трясутся, капли по бороде текут, глаза мутные, в них жилки краснеют. И Аскольда пучеглазого мне тоже стало жалко. Орет, дурень такой, рот у него не закрывается, губы никак не сложит, ну жалко же человека, разве нет!

И так мне захотелось утешить Вовчика, и Аскольда утешить, и торгаша заодно: он тоже ведь человек — наверно, не от хорошей жизни такую курточку толкнул...

— О чем говорить, бичи! — Это я, наверное, во всю глотку рывкнул, потому что набилось в кафе много портового народа, и все на меня глядели.— Вечером отвальную даю — в «Арктике»! Всех приглашаю!

Бичи мои взвеселились, Аскольд ко мне лизаться полез, чуть глаз мне не выколол щетиной.

— За что я тебя полюбил?— говорит.— Я всем скажу: «Он такой человек! Таких теперь нету. Все умерли!»

А Вовчик справился с нервами и говорит:

— Отвальная — это здорово! Святой закон. А сколько ж ты на нее отвалишь?

— О чем ты говоришь, волосан! — Аскольд ему рот ладошкой прикрыл.— Мелко плаваешь, понял? Не хватит у него, так я пиджак заложу. Сейчас вот Клавку позову и заложу!

— Не надо,— говорю,— поноси еще. У меня на всех хватит.

— На всех-то это что! — кореш мой, Вовчик, соображает.— А ежели мы с собой кого приведем?

— Валяй, приводи свою трехручевскую. И я свою приведу.

— Ясное дело.— Аскольд кивнул.— А кто она у тебя? Может, она какая-нибудь тонкая, не захочет с бичами в ресторане сидеть. Ей это за хороший тон не засчитают.

— Как так не захочет? Раз я с вами приду — значит, захочет.

— В общем, так,— подводит Вовчик черту,— столик на восемь персон.

Он всем опять налил по полному, и мы опрокинули, а пивом уже не закрашивали, не до того было, и тут я почувствовал, что не худо бы и кончить.

Я закусил наспех, а потом встал и качнулся, голова пошла кругом, но все же выстоял.

— Салют вам, бичи! До вечера.

— Да посиди ты.— Аскольд меня не пускал.— И не побеседовали... Интересный же ты человек!

— В «Арктике» побеседуем. Все в «Арктике» будет.

Тут Клавка подошла, не понравилось ей, что мы так расшумелись, и я ее взял за плечи и поцеловал за ухом, в пушистые завитки.

— И тебя, дуреха, тоже приглашаю.

Она и не спросила — куда, только кивнула и засмеялась.

— Значит, так,— Вовчик все о своем,— считаем: два червонца на первый заказ. И кой-кому на лапу один.

— Это точно,— Аскольд подтвердил.

Черт знает откуда это они высчитали. В жизни, наверно, за порядочным столиком не сидели, с таких всегда деньги вперед просят. Да мне перед Клавкой не хотелось торговаться. И неудобно было, что деньги у меня в платке, как у какого-нибудь сезонника. Но Клавка не стала смотреть, собрала посуду и ушла, а я развернул всю пачку и отсчитал — и на заказ, и на лапу, и за все, что мы тут имели, и еще приложил червонец.

Торгаш заторопился, надел свою мичманку и снова сделался ладенький, ни в одном глазу.

— Погоди,— Аскольд мне сказал,— Клавка тебе сдачу сосчитает.

— Сами сосчитаете.

Все равно у вас, думаю, с Клавкой одна коалиция. Ну, и черт с вами, а я буду — добрый. Помирать мне придется с голоду — вы мне копыя не подкинете, знаю. И все равно я буду добрый. Вот я такой. Я добрый, и все тут.

Торгаш вышел со мною.

— Ты,— спрашивает,— давно их знаешь?

— А что?

— А то, что девка правду сказала, ты к ним не больно жмись.

— Такая же она, эта девка!

— А не важно, кто учит. Ко всем прислушивайся.

— Вот это здорово,— говорю,— я до этого еще не додумался.

— Оно и видно, родной. Гроши попрдержки, не раскидывайся. Уродовался, наверно, в море за эти гроши.

— А для чего ж уродовался? Чтоб скрипеть над ними? Зато я добрый.

— А с добрых, родной, семь шкур дерут и все мало кажется.

Ну что вы скажете — профессор! Но, между прочим, сам полторы шкуры содрал — от стыда не помер.

— Будь здоров,— говорю.— Придешь в «Арктику»?

— Точно не обещаю. А в смысле курточки — вспомнишь не раз. Ей сносу не будет. Заляпаешь — потри ацетончиком, и опять она новая.

— Вспомню,— говорю,— потру ацетончиком. Салют!

Я вышел из порта веселый, и мороз мне был нипочем, вот только пиджак и пальто неудобно было тащить — все, кто ни шел навстречу, ухмылялись: ну и фофан, обарахлился, до дому не утерпел. И я подумал: сколько ни живи с людьми, а что они про тебя запомнят? Как ты глупый и выпивший по набережной шел. И пускай, я ведь сюда не вер-

нусь, а если и потянет море, так вода везде найдется — и в Батуми, и на Каспии, и возле Сахалина.

Сверху уже не видно было — ни воды, ни причалов, ни пароходов, сплошное облако плыло между сопками. Небо загустело к ночи, стало ветреней, и пока я шлепал к общаге — мимо вокзала, мимо мореходки, по-над верфью, — понемногу голова засвежела. И тут я вспомнил про бичей. И чуть не завыл — господи, а зачем я этот цирк затеял! На всю столовую разошелся: «Всех приглашаю!» Видали лопуха?

А ведь эти деньги, если на то пошло, уже не мои были. Вот я им брякнул насчет «своей», а ведь я правду сказал. Была девочка. И это я из-за нее решил с флота уйти. И уехать отсюда с нею — не знаю куда, это мы потом решим, вместе. А кто же нам на первое время поможет? Вся надежда была на эту пачку. А она уже заметно потоньшала: я руку приложил — и то почувствовал, сквозь куртку.

Я шел как раз мимо Милищейской, где Полярный институт, и хотел уже дойти до общаги, закинуть шмотки, но посмотрел на часы — около четырех, а в пять она кончает работу. Потом ее кто-нибудь провожать придется или в кино позовет: в наших местах девочку скучать не заставят.

Старуха вахтерша кинулась на меня, но я сказал ей:

— Мамаша, метку несу.

А это как пароль. Метят эти ученые деятели пойманную рыбу, цепляют на жабры также бляшки и выпускают, а рыбаков просят эти бляшки приносить и рассказывать — где эту рыбу снова поймали, на какой глубине, плотный ли был косяк. Который год они ее метят, а рыба все та же в Атлантике, на палубу сама не лезет. Однако новый рубль за такую метку дают.

Так что старуха меня пропустила, только велела шмотки на вешалку сдать. А спросила бы — покажи метку, я бы еще чего-нибудь придумал, на то я и матрос.

На втором этаже ходил по площадке очкарик, что-то под нос себе шептал. Такой веселяга — отрастил бородку по-северному, как у норвега, а теперь щиплет и морщится. Житья человеку нет.

— А нельзя ли, — говорю, — вызвать Щетинину?

— Лилию Александровну?

— Ага, — говорю, — Александровну.

Оживился очкарик. Вот такие, наверное, и пришиваются. Черт-те чего он ей нашепчет, а девка и уши развесила.

— К вам, — спрашивает, — вызвать?

— Ага, к нам.

Уставился на меня сквозь очки. Но я прилично держался, в сторонку дышал.

— Нельзя, — говорит, — она в лаборатории. Простите, рабочее время.

— Ах какая жалость! А то к ней брат приехал, из Волоколамска. Сегодня же и уезжает.

И откуда у меня в башке Волоколамск взялся? Старпом у нас был из Волоколамска.

— Это вы — брат?

— Нет, что вы! Он там внизу дожидается.

— Почему же вошли вы, а не он?

— Знаете — глухая провинция. Стесняется.

Пошел все-таки звать. Вот тебе и очкарик. С бородой, а не сообразит, что может парню девка просто так понадобиться вдруг до зарезу. Хотя бы и в рабочее время.

Наконец она вышла, Лилия. И он за ней выглянул.

— Лилечка, я понимаю, брат, но мы и так не укладываемся...

Такой он был вежливый, никак не мог уйти, стучал дверьми в коридоре, а мы стояли, как дураки, молча.

Потом я спросил у нее:

— Сразу догадалась?

— Нет. Подумала — кто-нибудь из моих.

Мы стали у перил. Тишина тут, как в церкви, по всей лестнице малиновые ковры и всюду, куда ни помотришь, картинки: какая на белом свете водится рыба и как ее ловят — кошельком, гралом, дрейфтерными сетями, на приманку, на свет. Почему-то ни разу я к ней сюда не приходил. А вот «мои» — наверное, побывали.

— Кто же они, «твои»? Что-то не рассказывала.

— Разве? Из Ленинграда приехали. Завтра уходят в плавание.

— На «Персее»?

Есть такое поисковое корыто, больше чем на две недели не ходит.

— Нет, в настоящее плавание. На полный рейс. Они не рыбники, я с ними в школе училась. Пойдут на сейнере, простыми матросами.

— Романтики захотелось?

— Не знаю. Может быть, просто заработать.

Я засмеялся.

— Тогда б они на логгере шли, на СРТ. А то все чего-то на сейнерá ломятся.

— Ну, я ведь не разбираюсь. Может быть, и на логгере.

— Ладно, — говорю. — Покурим?

Никогда мне не нравилось, если девка курит, но у нее это хорошо вышло: сигарету она разминала, как мужик, и когда затягивалась, голову склоняла набок, смотрела мимо меня. А я на нее поглядывал сбоку и думал: чем она может взять? Она ведь и угловатая, и ростом чуть не с меня, и жесткая какая-то — руку пожмет, так почувствуешь, — и бледная чересчур, по морозу пройдет и не покраснеет, и волосы у нее копной, как будто даже и не причесанные. Но вот глаза хорошие, это правда, у нее первой я это заметил, а насчет других и не помню, какие у них глаза. Вот у нее — серые. И не в том даже дело, что серые, а какие-то всегда спокойные. Вот я и думал: это она с другими — и угловатая и жесткая, а со мною — самая мягкая будет, самая милая, всегда меня поймет, и я ее только один пойму.

— Вот так, Лиля...

— Да, Сенечка?

— Одни, видишь, в плавание уходят. А другие... некоторые... с флота уходят.

— Совсем уходят некоторые? — Поглядела искоса и улыбнулась чуть-чуть. — Много мы сегодня выпили?

— Ну, выпили. Разве плохо?

— Почему же? Для храбрости, наверное, не мешает. Курточка тоже по этому поводу?

Я к ней стоял плечом, облокотясь так небрежно на перила, как будто эта курточка была на мне год. Но перед нею-то ни к чему было выставляться. И как-то я чувствовал: не выйдет у меня сейчас сказать ей, что хотел.

— Я тебе что-нибудь должна посоветовать?

— Не должна.

— Ты ведь и раньше говорил, что уйдешь.

— Раньше говорил, а теперь — уйду.

— Наверное, тебе так будет лучше?

Вот тут бы как раз и спросить: «А тебе?» Но какая-то немота дурацкая на меня нападала, когда я с ней говорил.

— Учиться мне, что ли, пойти? Тоже дело.— А я еще и за минуту про это дело не думал.— Только вот куда?

Она как-то вяло усмехнулась.

— А тут я тебе и вовсе не советчица. Если даже про себя не могла решить. В свое время я это предоставила решать маме. Наши мамы не всегда же говорят глупости. Все я никак не могла выбрать после школы — в медицинский или на журналистику. Почему-то все мои подруги шли или туда, или туда. А мама сказала: «Пойдешь в рыбный». Почему в рыбный? «Там конкурс поменьше». Я бесилась, редела в подушку, хоронила себя по первой категории. А потом — ничего, успокоилась.

— И теперь не жалеешь?

— А что я, собственно, потеряла? Талантов же никаких. Самая обыкновенненькая. Как все.

Только это я от нее и слышал. «Ничего мне не надо, Сенечка. Я — как все». Да всем-то как раз и хочется: одному денег побольше и чтоб работа не пыльная, другому — чтоб ходили под ним и отдавали честь, третьему — только семейное счастье подай, дальше трава не расти. А ее — ну никак я не мог зацепить, ну всем довольна. Но я-то видел, как ей жилось — в чужом краю, без жилья своего, без грошей особенных, без папы с мамой, — она без них не привыкла, письма писала им чуть не каждый день.

— Отчего ты вдруг загрустил? — Положила мне руку на руку. — Ну, не со мною тебе советоваться, что я в твоей жизни понимаю?

Бог ты мой, если б она знала — все она мне уже посоветовала. Еще когда я ее увидел. Не она бы, так я бы все жил, как живу, и ни о чем не думал, кидал бы гроши налево-направо, путался с кем ни придется...

— И ты ведь главное уже все решил. Завидую тебе, честное слово. Чувствую твое блаженное состояние. Может быть, самое лучшее — когда ничего не знаешь, что у тебя впереди.

В окнах почернело, вахтерша зажгла свет в люстре и пригляделась: чего это мы примолкли на лестнице? Так я и не сказал еще, ради чего пришел, не мог даже подступить. Но впереди была «Арктика»: там-то хорошо языки развязываются. Там я скажу ей — или потом, когда пойду провожать: «Уедем отсюда вместе». Вот так возьму и брякну. «Куда?» — она спросит. «А куда глаза глядят». Лишь бы она не спросила: «Почему вместе?» Но, наверно, что-нибудь же придет мне в голову. Тут уж как бог на душу положит.

Я спросил:

— В «Арктику» не пойдешь сегодня?

— Знаешь, мои хотят какой-то сабантуй устраивать, прощальный. У меня в комнате. Им же больше негде. Я их в наше общежитие устроила, но там такие строгости, боже мой... И ты приходи, если хочешь.

— Спасибо.

— А почему именно сегодня в «Арктику»?

— Можно и завтра. Только я договорился, компания будет. Ну, можно и отменить.

— Зачем же? Просто так или мероприятие?

— Отвальную даю.

— Так полагается по вашим морским законам? Тогда я, пожалуй, приду. Ну, я постараюсь. А что за компания?

— Обыкновенная. Бичи.

— Господи, всюду только и слышишь: «бичи», «бичи», а я ни одного живого бича в глаза не видел. Ты знаешь, я, кажется, все-таки приду. А если я своих сагитирую?

— Как хочешь.

— Нет, как ты скажешь.

— Ты ведь их для себя приведешь?

— Нет,— помотала головой.— Если так, то не нужно. Я что-нибудь соображу. Как от них смыться. Фактически им же только хата нужна.

— А ты?

— Ну и я — до определенного градуса. Но вообще-то они грозились каких-то дам привести. Тут-то я и смоюсь. Ты не заходи за мной, лучше я сама...

Как раз он и высунулся, очкарик. И мы притушили свои окурки.

— Лилечка, я же просил...

— Да-да, Евгений Серафимыч, куда же вы делись?

Он на меня сверкнул стеклышками, я ему сделал ручкой и скинулся по лестнице. А когда брал шмотки на вешалке, слышно было, как он ее допрашивал:

— Где же, простите, брат? Это он и есть?

И быстренько она ему заворковала. Это она умела — чтоб на нее не обижались.

Вахтерша на меня заворчала, где же, мол, метка, шашни тут развели, обманывают старого человека, а мне ее жалко стало: платят с гулькин нос и всякая шантрапа вокруг пальца обводит. Я ее погладил по голове, а она зашипела и вытолкала меня на улицу.

4

Из комнаты все разбрелись куда-то. Я завалился на койку вниз лицом, но и минуты не пролежал, как стало укачивать, и пошел в умывалку смочить голову под краном. Тут-то меня и развезло: будто бы с лица не вода текла, а слезы, и вправду мне захотелось плакать. Бежать к ней обратно на Милицейскую, умолять, чтоб она непременно пришла, а то я напьюсь в усмерть с бичами, они же только и думают, как меня побольше выставить. А с нею мне никто не страшен, мы посидим и уйдем от них, а завтра возьмем билеты. Колеса будут стучать, деревья полетят за окном, все в снегу... Много я еще городил глупостей, но вот когда она мне стала отвечать, тут я и понял: все это бред собачий, не больше. Я с нею часто так разговаривал, и немота проходила, и оказывалось — она меня с полуслова понимала, отвечала мне, как я и ждал.

Я пошел обратно в комнату, лежал там без света. А когда перевернулся на спину, луна светила в окно, а на полу почему-то снег лежал, серебрился и чернели переплеты от рамы. Соседи как будто вернулись, посапывают на койках, это значит — за полночь, в «Арктику» я опоздал, проспал все на свете! Но кто-то, я слышу, идет — по длинному-длинному коридору, — и отчего-то мне известно: это она ко мне идет. Мне страшно делается — нельзя же ей сюда, они же проснутся, шуток потом таких не оберешься... И слышу вдруг — шарк-шарк! — громадный кто-то, пятиметровый, волочит свои подошвы. И ржет по-страшному. Она от него кинулась — по длинному-длинному коридору, а за нею — с топотом, ржанием, с жуткой матерщиной, их уже несколько, кошмарные какие-то люди, жеребцы, их убивать надо! Она закричала, побежала быстрее, но от них не убежишь, догнали, топчут сапожищами. И хочу я крикнуть ребят на помощь, один же я не спасу ее, но — не могу крикнуть, меня самого завалили чем-то душным. А там ее добивают, затаптывают, и регот доносится конский, и вопли, как будто динамик хрипит на всю гавань: «Ее больше нету!.. Есть еще!.. А вот теперь нету!..» Я забился, отодрал голову от подушки.

Господи, это старуха уборщица шастала метлой под тумбочками, выбивала банки из-под консервов, табуретки ставила на койки ножками кверху. Она мне и удружила, простыню завернула на лицо.

— Нету! — кричит. — Нету меня тут больше — жеребцов обихаживать!

— Чего шумишь, нянечка?

Подскочила ко мне с метлой наперевес:

— Проснулся, сынок? А банки с-под сайры — это дело под тумбочки шибать? Окурки, обгрызки... Плевательницы нету? Коменданту сказала! Пускай, скажу, вас всех в умывалку переселяет. Там себе живите, там себе гадыте, а меня нету!

— Это ты неплохо придумала. Все равно мы тут временные.

— А, временные! Ну так и я тоже временная... Закурить не найдется?

Я ей дал «беломорину».

— Все! — говорит. — Ушла я!

И вправду ушла. А я полежал еще, сердце у меня жутко как колотилось. Совсем я стал никуда, а ведь двадцати шести еще не стукнуло парню. Но и то спасибо, разбудила к полвосьмому, как раз время осталось почиститься и брюки смятые вытянуть.

Автобуса я не стал дожидаться — сомлеешь в толчее и завезут к чертям на рога, куда-нибудь в Росту. — пошел своим ходом, чтоб совсем развеяло. А возле «Арктики» уже полно было страждущих, и табличка висела: «Все места заняты». Но гардеробщик сам меня пригласил:

— Проходи вот этот, в курточке. У него столик заказан.

Он свое дело знал, даром что однорукий. Кого не надо, не пустит. Каким-то нюхом определит, при деньгах ты сегодня или же на арапа рассчитываешь. И номерков он не выдавал, всех в лицо помнил: хоть своих, хоть приезжих. Выходишь из зала — он уже вам пальтишко несет.

— Ко мне, — говорю, — особа должна подойти. Звать Лилей.

— Простите, не запомню.

— Вы меня с нею видели. Каштановая. Любит зеленую покраску. Склонил голову набок. Я ему подал трешку, он ее смахнул в кармашек, снял с меня шапку, куртку, отстегнул мех и снова на меня ее надел.

— С обновочкой вас!

Насчет курточки это он усек, а спроси его, как меня зовут, он ушами захлопает.

В зале было полным-полно и накурено будь здоров. На эстраде четыре чудака старались — скрипка, два саксофона и баян, — снабжали музыкой. Но — не качественной, а так себе, «Во поле березонька стояла». Бичи мои сидели в углу, хоть потертые, но прикостюмленные. Вовчик даже галстук надел. Держали столик, как долговременную огневую точку. С ними — Вовчикова Лидка трехручьевская и Клавка. Ну, Вовчикова — не подарок, жилистая, мослатая, злющая, видать; все шипала свой перманент и глазки на лоб заводила. А Клавка сидела королевой — кофта на ней голубая, силовая, с перламутровыми пуговками, в ушах сережки золотые покачиваются, и вся она розовая, вся лоснилась и платочком обмахивалась сложенным, вместе веера.

Бичи мне замахали, и я уже было двинулся к ним, когда вдруг увидел «деда»¹.

«Дед» сидел один за столиком, и, верно, давно уже сидел, китель был расстегнут на три пуговики. Рядом еще стоял стул, но прислоненный, — «дед», верно, ждал кого или не хотел, чтоб садились. Он здоро-

¹ Старший механик на судне.

вс сдал за то время, что мы не виделись, морщины пошли по шее. Но плечи еще были прежние, в порядке плечики, только обвисли немного.

«Дед» меня тоже увидел и не сказал мне ни «здравствуй», ни «салют», а выволок стул и улыбнулся.

— Присаживайся. Алексеич. Откуда такой красивый?

Так он меня звал — Алексеичем, как будто я был старпом или хотя бы третий штурман. Тут же и официантка подскочила, как по вызову для начальства.

— Маленькая, — сказал ей «дед», — один прибор Алексеичу. А заказывать он еще не научился, я сам закажу, мне же и запишешь.

Меню он поднес почти к глазам и стал шарить пальцем.

— «Дед»... Понимаешь, я тут с компанией.

Я ему показал на бичей. «Дед» на них поглядел сурово и покривился. Бичам даже стало не по себе, втянули головы в плечи.

— Это они тебе компания?

Я засмеялся. Отчего-то всегда бичей узнают, хотя и прикостюмленных. Официантка тоже покривилась.

— Затралил. — говорю, — по дороге. Разве от них отвяжешься?

— Отвяжись.

Ни от кого не стал бы я слушать, кто мне компания, а кто нет. Но «дед» и не то мог мне сказать, и я бы послушался.

— Не выгонять же.

— Да уж теперь-то пускай сидят, пропащих тоже не обижают. Закажи им там чего-нибудь и приходи. Мы ведь с тобой год как не виделись.

— Год и два месяца, «дед».

Я сходил к бичам — сказать, чтобы заказывали себе чего хотят, а счет бы прислали. И чтоб держали два места, как договаривались. Клавке это не понравилось, но плевать мне было на Клавку, она с Аскольдом пришла, вот пусть и будет весь вечер Аскольдова.

Когда я вернулся к «деду», официантка ему распечатала коньяк, и «дед» мне налил полфужера.

— За твой приход, Алексеич. Ты когда пришел?

— Восьмого дня.

Я тут же язык прикусил; как же так вышло, что я с ним не повидался?

— А я вот завтра отчаливаю. Ну, ты не красней, меня обнаружить трудненько было. Полмесяца, с утра до ночи, на Абрам-мысу пропадал. В плавдоке стояли.

— Почему в доке, «дед»?

— Заплату пришивали на корпусе. Вот за нее тоже. — Он первый выпил, понюхал ладонь и зарычал. А мне протянул на вилке лимончик.

— Ты на каком теперь, «дед»?

— Восемьсот пятнадцатый. «Скакун».

Когда-то мы вместе плавали на «Орфее», потом «дед» прихворнул, а я с кепом поругался — не помню уже, на какую тему, — и разошлись мы на разные пароходы¹.

— Что ж это делается? — сказал я «деду». — Нам же твой «Скакун» сети передавал в Северном, когда вы с промысла уходили. А я и не знал, что ты на нем.

— А ты, значит, на «Сирене» был? — сказал «дед». — Ну, где же знать? Я даже на палубу не вышел. Так бы хоть перекрикнулись.

— А заплата — какая? Есть о чем говорить?

¹ Траулеры, конечно, не пароходы, на них стоят дизели, но так их называют моряки.

— Да повыше ватерлинии. Но длинная, на две шпации. Машину захватывает. Все ржавчина поела.

— Но хоть заварили как следует? Принял Регистр?

«Дед» усмехнулся.

— Тебя что больше интересует — как заварили или как приняли? Не знаешь, как это делается? Свидетельство — имеем. Прикроемся, когда потечет, больше-то на что надеяться? Там уж — ни ангел не явится, ни чайка не прилетит.

Мне неприятно было, что он так шутит. Знал я, как это иной раз делается. Являюся три субъекта на судно, шулают заплату пальчиками и при этом морщатся, и все их стараются побыстрее в каюту проводить, выставить им спиртяги или трехзвездочного. Но только у «деда» это было не в обычае. Все-таки здорово он сдал, наверно. Раньше он капитанам головы отвинчивал, а судно у него из порта выходило, как со стапеля.

— «Дед», давай — за твою заплату.

— Давай.— Он легко согласился, потрепал меня по волосам и успокоил: — Да там хоть всю обшивку меняй, один результат...

Да нет, он еще был в силе. Хлопнул — и ни в одном глазу, другой бы давно уже Васю под столом вспоминал. Я смотрел на «деда» — он оживился, вроде бы помолодел, оттого что встретил меня; я ведь знал, что он меня любит, и я его тоже любил — и вот я думал: как же я скажу ему про свое решение? А «деду» я должен был сказать.

— Ну, а ты как, Алексеич? Месячишко погуляешь?

— Может, и больше.

— Больше-то смысла нет. Если бы летом...

— Нет уж, до лета я не дотяну.

«Дед» поглядел подозрительно.

— Ты что-то виляешь, Алексеич. Никогда ты со мной не вилял.

— И теперь нет. Просто я на берег списываюсь.

— Надолго?

— Не знаю. Покамест — насовсем.

«Дед» ничего не сказал. Разглядывал свой фужер.

— Сказать по совести, хватит мне. Я в армии наплавался¹, три года протрубил и тут почти столько же. Посуху и ходить разучусь, все палуба да палуба. А жизнь — она тоже проходит, разве не так?

— Н-да.— «Дед» вздохнул. Потом улыбнулся, как будто чего-то вспомнил.— А что, Алексеич, может, вместе еще поплаваем?

— С тобой-то — отчего ж нет?

— А вот завтра и поплывем.

Я замотал головой. Ничего он не понял.

— В другой раз, «дед».

— Другого раза не будет. На пенсию меня уведут, под белы руки.

— Тебя на пенсию? Ты шутишь!

— Почему же не пошутить? Раз ты тоже шутишь. А если по правде, то мне ведь уже нормальную комиссию-то не пройти.

— Ну, знаешь. «дед»... Наверное, все мы, сельдяные, на пенсию уйдем, а ты останешься.

— Так вот, Алексеич. Команда, я слышал, недобрана, жожакового не хватает в роли. Я почему знаю — дрифмейстер с помощником сами жожек сегодня укладывали в трюме. Вот ты и пойдешь жожаковым. Это я с капитаном обговорю.

Я подумал: наверное, не сахар ему на этом чертовом «Скакуне». Когда уже вся команда знает, что ты последнюю экспедицию плаваешь.

¹ Армиёк, моряки называют и военный флот.

— «Дед», мы ведь не на век расстаемся. Ты иди и возвращайся. И чтобы с тобой ничего такого не приключилось.

«Дед» вдруг насупился, опустил взгляд. Я-то не заметил, как они дошли, эти двое, думал: он на мои слова. А они у меня за плечом стояли: один — Граков, персона, всей добычи начальник, «сельдяной бог», а второй — бывший мой кеп; ну, скажем, один из бывших, у меня их там штук семь было; тоже личность знаменитая в свое время, а теперь — из его прилипал.

Они как бы мимо проходили, к своему столику, бронированному, и как бы призадерживались невзначай.

— Что же это с Сергей Андреем-то может приключиться? — Голос у Гракова был веселый, но как бы и озабоченный. — Привет тебе, Сергей Андрееч.

«Дед» чего-то буркнул в ответ, я и то не расслышал.

— А кстати, Сергей Андрееч, как у тебя с восьмьсот пятнадцатым? Отчалите завтра? Ты извини, я, может, не к месту...

— Да уж такие мы люди, — сказал «дед», — на службе про футбол говорим, на футболе — службу вспоминаем.

— Чего-чего? Это ты интересно!..

Граков на шагок поближе к нам пододвинулся. А приликала-то его просто заклокотал от восторга, даже залысинки у него посветлели.

— Надо бы наоборот, — сказал «дед», — но не можем.

— Не можем, это точно! — Тут же опять он сделался озабоченный, Граков. — Но мне докладывали: там вроде бы все зализано.

— Ну, раз докладывали...

— Одну экспедицию еще попрыгает «Скакунишка» твой, а там и на слом, а?

— На слом, — сказал «дед».

Больше им вроде и говорить было не о чем. Но Граков вокруг себя пошарил глазками, и приликала мигом куда-то шастнул — не иначе за стульями. А мы их и не приглашали, прошу заметить.

— И нас самих, наверное, на слом? Как думаешь?

«Дед» насчет этого ничего не думал.

— Значит, последний вечерок сидишь?

— Значит, последний.

А точно — приликала уже стулья ташил. А за ним официантка перла, с бутылкой «арарата». Для Гракова тут специально держали, другого он не пил. Она было начала распечатывать, но приликала у ней перехватил бутылку.

— Нет-нет, дайте, дайте.

Вышиб пробку ладонью. У него это красочно получалось — покрутил, покрутил и вышиб. Отдал бутылку Гракову. А тот уселся — но не прямо к столику, а чуть боком, — и помахал бутылкой: кому бы налить первому.

«Дед» свой фужер прикрыл ладонью: у него, мол, налито до половины.

— Марочный! — Граков удивился.

— Тем более мешать не стоит.

— Тогда, с твоего разрешения, бича захмелим.

И долил мне. Быстренько, я и не успел свой фужер прикрыть. Ну, и духу не хватило, если по правде. Он-то все-таки бог. Я ему только сказал:

— Промыслового, прошу не путать.

— Кто же в этом сомневается? — засмеялся, даже руку мне на плечо положил. Даже приликала, который как раз себе наливал, поглядел на меня ласково. Забыл уж, поди, как в свое время орал на меня в рубке.

— А дерзкая пошла молодежь, языкастая!..

Прилипала уже не ласково смотрел, а недовольно.

— Чем же дерзкая? — сказал «дед». — Просто достоинство имеет.

— Ну да, ну да. Достоинство в первую очередь. Потом уже к старшим уважение. Между прочим, мы с этим молодым человеком уже встречались.

— Не помню, — говорю.

— Вот те на! Даже я помню.

А встречались мы с ним действительно — после первого моего рейса. Сошел я на берег с такими деньгами, каких до этого и в руках не держал, и в поезде, возле Апатитов, чистенько у меня эти денежки увели. Со всеми шмотками, с чемоданом. Хорошие мне соседи попались в вагоне-ресторане, и имел я дурость их в свое купе пригласить: зачем же им на жесткой плацкарте валяться, когда у меня свободно? Один, помню, пел ничего, другой — на гитаре; в общем, дай бог попутчики... Ну ладно, в том же вагоне свои ехали, скинулись мне на обратный путь. А все же отпуск идет, куда мне без денег. Я попросил аванса под следующий рейс, в кадрах не отказали, но подписать нужно было у Гракова, и тут он мне выдал: «А почему я знаю — может, ты эти деньги пропил?» Вот это здорово, думаю, полторы тысячи в одну ночь? Ну, а если и пропил: ведь они не казенные. И не твои. «Что ж теперь делать? — говорю. — Я же ваш человек, сельдяной, неужели вы мне навстречу не пойдете?» — «Почему же, говорит. Мы пойдем. Могу тебе направление дать, завтра пойдешь в море, а питание у нас на судах, как тебе известно, бесплатное». — «Да я ведь только из рейса, мне отдохнуть надо или не надо?» — «Это твое право, оно и в законе записано. Однако ты своим правом распорядился аморально, следует тебя проучить. Этак все ко мне придут, и каждому дай деньги?» — «Все не приходят, мне вот и в кадрах посочувствовали. Случай, говорят, исключительный». — «Это прекрасно! А теперь, с твоей легкой руки, это будет массовое явление». Плюнул я и пошел. Спасибо, «дед» меня тогда выручил, я хоть полмесяца на пляже позагорал в Алуште, отогрелся после Атлантики.

Официантка стояла, не уходила. Граков поворотился к ней и пальцем показал на столик. Коленко описал. Мол, это все на меня запиши.

Но тут случился один момент. «Дед» покряхтел и сказал:

— Ну... Мы-то уж тут давно сидим.

Это надо вам объяснить, все эти тонкости. В «Арктике» за себя одного не платят. Если моряцкая компания сидит, то каждый спешит первым за всех выложить. Ну, если уж все разом выложили, то официантка сама решает, с кого брать. Но когда уже вместе посидели, а платят грозь — это враги, это обида кровная. А мы как-никак, но посидели.

Граков чуть не испариной покрылся. Но недаром же он прилипалу при себе держал. Прилипала-то и спас положение:

— Дмитрий Родионович имел в виду нам двоим чего-нибудь под коньячок. Салатик там фирменный. Только без перца, вам же это нельзя, Дмитрий Родионович. А горячее — на наш столик подадите, мы потом туда перейдем.

Она записала и отошла.

— Ну, а... выпить за тебя — разрешишь? — спросил Граков.

Я поглядел на «деда». Он на меня. Он взял свой фужер. Я тоже взял. Прилипала, тот просто ел своего Родионыча — глазки его медвежьки, носик кнопочкой, губки всегда поджатые. Но весь вид такой, как будто он сейчас самое важное скажет. Ну такое, до чего тебе в жизни не додуматься, и от отца с матерью не услышать, и в книжках не прочесть.

— Сергей Андреич... Во-первых, сто футов тебе под килем. Это — прими, пожалуйста. Это искренне.

«Дед» кивнул. У прилипалы сразу лоб посветлел.

— А во-вторых... Ну, не в каменном веке же мы живем! Про что я — ты знаешь. Пойми, все мы люди, все можем ошибиться, не казнить же нас за это по двадцать лет. Ах, кержак ты эдакий, ископаемый человек! Время-то, время какое было. Вот молодежь сидит, разве она себе может представить, какое было время?..

Прилипала то на «деда» смотрел, то на Гракова. И такая у него на лице печаль была — ну, действительно, не казнить же; ну, бросьте вы ваши счеты; ну, хоть обнялись бы, что ли. А «дед» молчал и супился. Граков ему руку на руку положил, «дед», я видел, страдал от этого, но руку не убирал.

Я поглядел по сторонам — никто на нас не смотрел, — и «дед» поглядел на меня, понял, что никто не смотрит, и ему легче стало.

— Слушай-ка, Родионыч, — сказал «дед». — Для чего ты это начал? Я ведь тебе никаких обид не высказываю. Ну, было; ну, прошло. Только вот пить за что, все я в толк не возьму.

Граков опять вокруг себя пошарил глазками:

— Что ж она нам не несет? Хоть минеральненькой — запить...

Прилипала вскочил, шастнул между столиками.

— А это мы сейчас сформулируем, — Граков заулыбался, — за что выпить. Насколько я понимаю, ты последний год плаваешь, так?

— Может, и последний рейс.

— А ведь грустно это. Скажи — нет?

— Кому грустно? Тебе?

— Флоту, Сергей Андрейч. Флот без тебя осиротеет.

— Так уж прямо осиротеет.

— Сергей Андрейч, цену себе надо знать. Ты еще много можешь флоту дать, молодым. Такой механик! Могут с тобой нынешние «деды» равняться? Нынешние-то, двадцатипятилетние? Вот и не хочется мне тебя отпускать на пенсию. Ой как не хочется!

— Что ж делать-то? — «Дед» вздохнул.

Прилипала тем временем воду припер, вскрыл ее вилкой, забулькал по всем фужерам.

— Что делать? — спросил Граков. — А придумать что-то надо. Как, Игнатьич, не отпустим мы Бабилова с флота?

— Нельзя, Димитрий Родионович, нельзя-а!

— Вот и я думаю. Есть предложение. — Граков уж всю ладонь «дедову» в обеих руках держал. — Ты, верно, по зрению в плавсоставе не можешь находиться?

— Ну, — сказал «дед». — Ты уж, поди, в курсе.

— А если — групповым механиком? Как? Правая моя рука будешь, по технической части. Целый отряд у тебя под началом, двенадцать, пятнадцать судов. Нахождение — на плавбазе, отдельный люкс. Трудненько ведь в твои годы на СРТ, покоя хочется, комфорта, если на то пошло. Как, сформулировали тостик? За группового механика Бабилова, Сергей Андрейча!

— Да, — сказал «дед», — соблазнительно. Но ты погоди.

— Ну-ну, что тебя волнует?

«Дед» спросил:

— А вот если я твоя правая рука буду, ты меня за минеральненькой — тоже пошлешь?

Мне на прилипалу не хотелось глядеть, жалко мне было моего бывшего кепы. И все ж я видел, как он пошел пятнами, а улыбаться не перестал. Ужас, что можно с человеком сделать!

— При чем тут это? — Граков нахмурился. — Я серьезно с тобой.

— Хочется мне наперед свои обязанности знать. Свое место. Может, и прогадаю по глупости.— «Дед» убрал свою руку, поглядел на прилипалу в упор.— Скажи-ка мне, Игнатич, ты по мостику не скучаешь?

Представьте себе, он смотрел на «деда» и улыбался. Жуткое было зрелище.

— Ну, а я,— сказал «дед»,— без своей вонючей шахты помру, наверное. Так меня из люкса ногами вперед и вынесут в один прекрасный день. Что же ты, Родионич, смерти моей захотел?

Граков улыбнулся через силу.

— Не вышел тостик?

— Этот нет,— сказал «дед»,— ты что-нибудь другое придумай. Тогда и приходи.

Граков отставил свой коньяк, поднялся. Прилипала тоже вскочил. Он теперь не знал, улыбаться ему или хмуриться. «Дед» напомнил:

— Марочный не забудьте.

— Жаль,— сказал Граков.— Не понял ты меня, Сергей Андренч. Я к тебе с чистыми намерениями. А ты все же камень за пазухой таишь. Что и доказал сейчас наглядно.

И вдруг он знаете чего сделал? Наклонился к «деду» — низко-низко,— обнял за плечи и сказал так задушевно:

— Ну ладно, еще потолкуем.

Я поглядел, как они уходят. Коньяк они свой, конечно, нам оставили. Не такие дураки, с бутылкой через всю залу переть. Но я ошибся, что никто на нас не смотрит. Вся «Арктика» теперь глядела им вслед. А вся «Арктика» видела, как Граков обнимался с «дедом».

Я повернулся к «деду». Он себе отрезал кусок мяса, прожевывал медленно, зубы у «деда» плохие, и мне отчего-то жалко было на него смотреть.

— «Дед»,— я ему сказал,— ведь он же своего добился. А не думаешь, что он и не собирался тебя групповым назначить? Как же ты позволил?..

«Дед» нахмурился.

— Ты не пей больше сегодня. Старый я дурак, тебя не расчужал тепленького.

— «Дед»,— я спросил,— а почему ты один в «Арктике» сидишь? К тебе ведь при Гракове не всякий подсядет.

Он от меня убрал фужер.

— Я с тобой сiju, Алексеич. А глупости будешь пороть — рассядемся. Уяснил?

— Ладно,— я кивнул.— Ты посидишь еще?

— Минут десять, не больше.

— Почему так спешить?

— А как раз Марья Васильевна моя вещички собрала, сидит теперь скучает. Надо же и с ней напоследок посидеть.

— Понимашь, ко мне одна девка придет. Просила, чтоб я с тобой познакомил.

«Дед» улыбнулся.

— Что-то давно уже девки насчет этого не просят.

— Ну, не просила, я сам хочу. Подождешь?

Я вошел в вестибюль. Гардеробщик уже и двери заложил жердинкой, а сам в окошко смотрел на улицу.

— Не подошли. Напрасно беспокоитесь, я не ошибусь.

Я ему хотел дать трешку.

... Вот это лишнее. Я ту еще не отработал. Пожалте в залу.

В зале дым стоял коромыслом, и музыканты как будто в тумане ка-

чались. Никто их уже и не слушал. «Дед» расплачивался с официанткой и что-то ей сказал про меня. Она кивнула и отошла.

— Опаздывает? — спросил «дед». — Марафет наводит. У них это долго.

— Нет, — я повалился на стул. — Вообще не придет.

— Почему знаешь?

— Потому что сука.

— Ну, даром девку не хай. Просто ей со мной знакомиться расхотелось. — «Дед» поглядел на часы. — На воздух со мной не выйдешь?

— Нет. — Мне было стыдно перед «дедом». Я улыбнулся ему. — Посижу еще. Дождусь все-таки.

— Да не ругайся с ней, обещаешь?

Я кивнул. «Дед» поднялся грузно, застегнул китель и аккуратно задвинул стул.

— Завтра на причал приходи, прощаемся.

Я ему пожал руку, обеими своими, как будто навсегда мы прощались, и смотрел, как он идет к выходу. «Дед» был тяжелый, а между столами тесно, но он никого не задел. Потом я повернулся и сидел, как очумелый, глядел в тот угол, на Гракова, ему в затылок. Ладно, думаю, ты у меня попомнишь. Я не человек буду, если ты у меня не попомнишь.

Я услышал: официантка убирает посуду.

— Принеси, — говорю, — еще полтора ста.

— Нельзя.

— Думаешь, без денег сижу? Могу показать. — Я расстегнул молнию на куртке и нащупал пачку. — Видишь? Я в море уродуюсь, поняла? И все вы у меня в ногах должны валяться!

— Повалюсь, а не принесу. Вам больше не велено.

— Кто не велел?

— А с кем ты тут сидел. Забыл уже? Напиток могу принести, «освежающий».

— Неси во-он тому борову. Видишь, лысина светится.

— Дурачок ты, — говорит. — Ты тише. Зачем тебе пятнадцать суток сидеть?

Взяла мою руку с деньгами, сунула мне же за пазуху, в карман. Тут крепких баб держат, в «Арктике».

Я пошел к бичам. Они сидели веселые, розовые, а Вовчикова Лидка все перманент щипала и бровки на меня супила — с таким это презрением.

— Чего ты все щиплешься? — спрашиваю. — Облысеешь тоже. И так они у тебя, наверно, на трех бигудях умешаются.

— Фу, — говорит, — до чего не люблю пьяных!

— Вот это здорово! А сама с кем сидишь, с трезвыми, что ли? И как будто я трезвый лучше, чем пьяный.

Клавка сидела против меня, красивая, как в кино, обмахивалась платочком и шурилась.

— Ну что, рыженький? Не пришла твоя верная? Подвела?

— Дура ты, — говорю, — моя верная ни разу не подводила.

— То-то все со старичками сидишь.

— Вот те на! Со старичками! Это такой старичок, знаешь... Тут у него некоторые в ногах должны валяться, поняла? При всем народе прощения просить.

— Это за что прощения? — Аскольд захрипел.

— За то, что человеку верить надо. Вот ты одиннадцать миль не проплывешь, понял. А он проплыл.

Клавка засмеялась:

— Ну, пошли мили-шмили.

И я тоже стал смеяться. Не знаю почему. Ничего она такого не сказала смешного.

— А прогадал ты, рыженький,— говорит мне Клавка.— Меня пригласил, а сам в сторонку. Удивляюсь, чем я тебе не угодила. Не хороша для тебя?

— Слишком,— говорю,— хороша.

— А хочется тебе такую иметь?

— От тебя лучше подальше.

Вовчикова Лидка фыркнула, а Клавка ничего, не обиделась.

— Ну и напугали же его! — говорит.— Да ты меня рассмотрел хоть? Чем я такая страшная?

— А ты из мужиков черт-те чего делаешь, нелюдей.

— Пока что твоя из тебя сделала. Взяла да не пришла. И правильно не пришла, с вами только так!

Вовчикова Лидка сморщилась, как будто лимон разжевала.

— Не тронь ты,— говорит,— его самолюбие. Видишь, в каком он состоянии.

И с такой это жалостью на меня уставилась, ротик такой скорбный — ну, совсем я погибший во цвете лет. А глаза — как у мыши, близко-близко посаженные, меня даже замутило слегка. И тоска вдруг напала жуткая, волчья. Вот она, моя жизнь: с такими корешами сидеть, с такими девками. Слова живого от них не услышишь. «Самолюбие!» «Состояние!» Ах ты инкассаторша чертова. Нечуева, что ли, у ней фамилия? Ну да, Нечуева. Да они, наверно, и человека-то живого не видели, не знают даже, как он выглядит.

— Нечуева,— говорю,— не чуешь ты мои душевные переливы.

— Остроумно! — прошипела. А злобы-то в ней — на весь белый свет.

— Сейчас я тебе женщину приведу покажу. Ты посмотришь на нее и удавишься. Оттого что такие бывают.

Клавка рассмеялась:

— Ну-ну, рыженький, сходи приведи. Одним бы глазком взглянуть, как ты с ней управляешься.

Я встал и пошел. В вестибюле ко мне гардеробщик кинулся, я его оттолкнул шага на три, подергал дверь, а она ведь жердиной заложена, стал ее тащить и чувствую — кто-то у меня на плечах повис.

— Отстань, гад однорукый!

А это вовсе и не гардеробщик, меня двумя руками держали. Это, оказывается, Аскольд за мной выскочил.

— Чего тебе, филин пучеглазый? Чего ты меня держишь?

— Как то есть «чего»? — И губищи-то, губищи распустил, не лицо у него, а семга вяленая.— Ты же уходишь. А нам счет принесут.

— Я сказал — приду.

— Это еще неизвестно, Сеня.

— Ах ты пучеглазый! — говорю.— Ах, кисанька! Напугался? На тебе на лапу, за мной не заржавеет, ступай к своей Клавке, вермуту ей закажи...

— А торту? Лидка торту хочет бизейного.

Я ему совал пятерками, ронял при этом, а он подбирал, присчитывал бумажка к бумажке и губами шевелил. Гардеробщик, хмурый, стоял сбоку, поглядывал — сколько он у меня берет.

— Те-те-те,— говорит,— я свидетель.

Аскольд ему показал, что взято, остальное они мне сунули в карман. Гардеробщик напялил на меня шапку, из-под стойки что-то достал и мне запахнул за пазуху.

— Мех,— говорит,— забыли.

Мне плакать хотелось, что я его так обидел.

— Спасибо, отец. Прости. Давай поцелуемся.

— Идите,— говорит,— к чертям собачьим. И не безобразничайте.

Вытащил наконец дурацкую эту жердину, и я, на него не глядя, прошел на улицу.

5

Одиннадцать миль он проплыл у Кильдина-острова, молодым, в осень сорок первого года. Меня и на свете не было.

И «дед» тогда еще не рыбачил, а служил мотористом — «мотылем» — на транспорте «Днепр». Гордость флота считалась, из первых дизельных,— в войну его приспособили возить питание гарнизону, боеприпасы, а вывозить раненых. Конвой ему не полагался, да и не было чем конвоировать; когда из порта шли — одна надежда на кресты милосердия, когда в порт — расчехляли два пулемета на мостике. Ну, и винтари были, конечно, образца девяносто первого дробь тридцатого года.

Несколько раз им сошло, отбились от самолетов. Но как-то, неподалеку от Кильдина, почти уж при самом входе в залив, всплыла перед ними подлодка и подала им сигнал — следовать за ней к Нордкапу, в плен. Капитан на «Днепре» был мужик горячий, с Кавказа, велел развернуть пулеметы и врезаться ей по очкам. Но немцам это об стенку горох, они в ответ кинули пару зажигательных и устроили на «Днепре» пожар. А тушить не давали, обстреливали, зажигали снова. Так что кеп уже не пожарную велел пробить, а шлюпочную. А перед тем, как покинуть судно, он увидел, что «Днепр»-то все еще на плаву, немцы потушат пожар своими средствами и возьмут «Днепр» на буксир. Тогда он и сказал «деду», то есть не «деду» еще, а «мотылю»: «Надо открыть кингстон». — «Сделаю,— сказал «мотыль»,— сходи в шлюпку, Ашотыч». Кеп ему показал на далекий берег: «Это, говорит, Кильдин. Доплывешь с нагрудником?» — «Доплыву ли, не знаю. А меня не дожидайся».

Это он потому сказал, что Ашотычу полагалось сойти последним. Но «деду» он был не нужен, «дед» бы и за трюх справился. Так что Ашотыч за кингстон был спокоен и сошел последним во вторую шлюпку. А «дед» — ушел в машину.

Многие думают, что кингстон открыть просто, будто бы есть такой специальный рычаг для затопления судна. Никто, конечно, таких рычагов не ставит, все на судне делается, чтоб плавать, а не тонуть, а через кингстон забортная вода идет к двигателю, на охлаждение, и нужно еще перерубить трубопроводы. «Дед» два топора извел, пока их рубил, потом пилил ножовкой, ломом растягивал прорезы, руки изранил до кости. Он мне рассказывал: «Я потому и увидел, что дело сделано, когда вода хлынула и смыла кровищу».

Но прошло минут сорок, и за это время команды уже не стало. Ашотыч велел шлюпкам идти враздрай и отстреливаться из винтовок: ну мало ли как повезет, вдруг немцы за двумя зайцами не погонятся! Немцы и не стали гнаться, они на одну шлюпку положили снаряд и размолотили в кашу. А другую преследовали, пока там не кончились патроны, а потом подошли спокойно, зацепили багром и перетащили всех к себе на палубу. В этой-то шлюпке и был Ашотыч.

Когда «дед» поднялся из машины, лодка уходила на погружение, и «Днепр» тоже погрузился до фальшборта, а больше на море живой души не было. Ему только и оставалось, что плыть с нагрудником к берегу. Это одиннадцать миль, не меньше, потом это место установили точно по бахтенному журналу с подлодки. Но «дед» все-таки доплыл до берега,

только вот берег был не Кильдин, это Ашотыч сгоряча ошибся, а маленький островишко, он только на морских картах и обозначен. А до Кильдина еще было миль двадцать — где же силы взять? «Дед» на другой день попробовал, проплыл милю и вернулся — стал замерзать. Больше не пытался.

Сорок дней прожил он на этом островишке — без хлеба, без огня, без кровли над головой. Он уже радовался, когда дожди пошли: содрал брезент с нагрудника и собирал пресную воду. «Все ничего,— он мне рассказывал,— а вот без курева было скучновато. Помру, думаю». Наконец его засек наш самолет-разведчик, сделал два круга, но сесть нельзя было, летчик ему только банку кинул со сгущенкой. И та — об скалу разбилась, «дед» потом эту сгущенку слизывал. Тогда, конечно, не до Робинзона было: еще трое суток прошло, пока прислали гидро-самолет и сняли «деда» с утеса. Первые дни он и говорить не мог, его в госпитале кормили с ложечки, потом ожил, рассказал, как погиб «Днепр» со всей командой. Он-то думал — они все погибли. Он только пальбу слышал, а видеть ничего не видел. И пришлось ему — хуже нет, потому что к нему в госпиталь матери приходили, жены, и каждой расскажи: как погиб Вася, что перед смертью сказал Коля,— а что он мог рассказать?

Я вот часто думаю: если бы он наплел чего-нибудь с три короба — как вели бой с неравными силами, как он закрыл глаза капитану, как там кто-нибудь, истекая кровью, сказал ему на прощанье: «Плыви, Серега, передай восточку!» — все бы, может, и обошлось. Но он только одно твердил: «Ушел в машину, слышал перестрелку, больше ничего не знаю». И тут один человек, из штаба порта, выразил сомнение: «А так ли все было, как травит наш уважаемый «мотыль» Бабилов? Не странно ли, что капитан, которого мы все знали и любили, покинул судно не последним? А последним — Бабилов, моторист. Не исключено же, что немцы сами его подбросили на этот островишко? Ну, скажем, он мог подписать присягу, что, проникнув к нам в гарнизон... Я ничего не утверждаю, я только прошу заметить — не исключено!»

«Дед» все допросы прошел, и ничего против него не доказали. Под расстрел не попал. Но отсюда он загремел. И не только отсюда. В конце войны разыскался Ашотыч в немецком концлагере и еще человек пять из команды, рассказали следователю, как все было с «Днепром», как «мотыль» Бабилов пошел открывать кингстон и суровая волна поглотила славного героя. Но им тогда и самим веры не было, и всю эту историю забыли. А вспомнили, когда нашли вахтенный журнал с этой самой субмарины. Там это все по минутам было расписано, буквально:

«11.30. Русский транспорт охвачен пожаром. Команда пересела в шлюпки. Однако моими наблюдателями замечен на палубе смертник, оставленный для того, чтобы способствовать затоплению судна.

12.00. Русский транспорт погружается. Подобрал восьмерых уцелевших из его команды и опасаясь, что дым горящего судна привлечет русские самолеты, сам начал погружение и ухажу подводным курсом к Нордкапу».

Вы это и сами можете прочесть — в нашей сельдяной газете. «Дед» со «старухой» читали — прослезились. Но я вот что спросил у «деда»:

— И как же вы с ним теперь — помириться? Рыла ему не начистить?

— Кому. Алексеич?

— Ну, кто тебе все это устроил.

Он удивился.

— Это за что? Все-то ведь другие устраивали, он только сомнение высказал. Ну, время не такое было, чтобы сомневаться. А ты — поверил бы?

— Тебе, «дед»?

— В то, что человек в нашей воде осенью одиннадцать миль проплывет и сердце у него не лопнет?

Честно сказать, я и сам не знаю. Я никогда, наверно, не пойму, как у него сердце выдержало.

— То-то вот! — сказал мне «дед». — И я б не поверил. Потому что второй бы раз не проплыл.

6

Я шел по снегу, он аж звенел, и мороз палил мне лицо. Мех я не стал пристегивать, руки неохота было из карманов вытаскивать — еще застужу. Я только нос в воротник упрятал и чуть не по полквартила с закрытыми глазами шел. А мог бы и всю дорогу так, и не сбился бы.

Это в большом-большом дворе, на Володарской, пройти под аркой и сразу налево, угловое окошко на четвертом этаже, там она снимала комнату. Там я бывал — четыре раза, там все вещи чужие, ее — только накидка на кровати, коврик и финтифлюшки на столике, а все-таки думаешь: она век здесь живет. Ну да, ведь ей же — «ничего не надо».

Окошко светилось. Я постоял внизу — нельзя же к ней сразу, пускай немного развеет — и увидел: кто-то подошел к окну, она подошла, смотрит на улицу. А кругом бело, ни скамейки, ни кустика, один я чернею. Нет, не заметила, повернулась туда, в комнату, я только волосы увидел, темную копну, и вот она отошла.

Парень какой-то подошел, повернулся затылком, взлез на подоконник, к нему второй подошел. Разглядеть я их не мог, высоко было, но как будто они там смеялись. Почему бы не посмеяться, если тепло, и выпивка на столе, и кадровая девка под боком, и она им рассказывает, как я ее приглашал в «Арктику», а она вот не пошла, с ними осталась в компании. Господи, думаю, ну и не пошла, свет клином на тебе не сошелся, только врать было зачем? У меня была Нинка, посудомойка с плавбазы, я с ней морскую любовь имел, и в плавании и на берегу, держал себя с нею по-свински, месяцами не заявлялся, и все же она со мной таких фортелей не выкидывала. А попробовала бы выкинуть, я бы ушел, не оглядываясь. Потому что вот так и делают из тебя нечеловека.

Однако я все не уходил, ждал чего-то, а из подъезда какой-то мужик вышел в черном, лица не видно. Ступил два шага и замер, на меня уставясь. Чего, думаю, он от меня хочет? А это его, наверное, «москвичишко» стоял под брезентом, так он думал, что я колеса пришел снимать. Ну, веселяга!

— Ступай, — говорю ему, — спи, дядя. Не нужны мне твои колеса.

Он куда-то метнулся вбок и опять встал. Совсем пропащий человек.

— Ты кто? — спрашивает. Голос как из бочки. — Откуда взялся?

— Туда же и уйду. А ты спи.

Не хотелось мне этого олуха тревожить. Вездь до утра будет своего «москвичишку» стеречь, замерзнет. Или работу проспит, нагоняй получит. Я уже на улицу вышел, а он под аркой встал и смотрит, печальный такой и скучный. Пропади ты, думаю, со своими колесами. И вообще мне на всех на вас чихать, уйду, откуда взялся.

Улица была длинная-длинная, конца не было этой улице, я шел и вдруг почувствовал, что дело худо. Хоть бы до какого-нибудь тепла дошла, а до общаги или до «Арктики». Но общага далеко, в другой стороне, а в «Арктике» бичи сидят и Клавка будет смеяться. «А что я говори-

ла, рыженький! Не пошла она с тобой?» — «Ну и не пошла, говорю, очень она мне нужна! И ты мне тоже, стерва розовая, гладкая, пушистая, не нужна, лучше я к Нинке поеду, у нее тепло, у Нинки, она меня спать положит и не ограбит, она добрая, Нинка, она за мной всегда смотрела, не то что другие, которым только деньги от меня нужны, у нас с ней любовь, с Нинкой».

Ну, вот я и до морского вокзальчика добрался, откуда идут катера через залив; ввалился весь деревянный, насилу кулаки из карманов вытащил, до того закоченели, а перчатки я где-то посеял. В помещении было жарко от печки, накурено и людей набилось — кто в доки ехал в ночную вахту, кто с работы домой, — но все хмурые, гады, ни с кем не поговорили. К одному дяде я втиснулся на лавку, стал ему объяснять, что я к Нинке еду на Абрам-мыс, потому что я ее не забыл, а он мне:

— Иди ты со своей Нинкой!

— Куда же, — говорю, — идти, туман не кончился, катера без локаторов не пойдут.

— Это в башке у тебя туман, а локатора нету.

— Вот в чем причина, — говорю, — ну, я тогда покемарю, ты меня толкни...

Я только привалился к нему, и вдруг — кричат:

— Катер пришел! Кому на Абрам-мыс?

Дядя схватил меня за грудки, поставил на ноги, а сам побежал. Все побежали. Ну, и я тоже побежал с ними вдоль какого-то забора. Долго же мы бежали!

7

Катеришко посапывал у причала, и все вниз повалили, в кубрик, а я не пошел — сидеть уже негде там, — сел на кнехт. Туман и вправду кончился. Последние хлопья относил ветром с Баренцева, и вода не дымилась, была черная, без морщинки, и в ней стояли огни: красные, зеленые, белые. На том берегу светились доки, и корабли, и домишки на сопках. Там-то и жила моя Нинка. Один огонек был ее. И я, когда возвращался с моря, всегда уже знал, дома она или нет. И ребята мне говорили: «Нинка твоя лампадку засветила». И мне нравилось, что она не ходит на пирс, а ждет, пока я сам приду, по своей воле.

Скоро мы зашлепали, ветер обжег мне щеку, потом другую — это мы делали циркуляцию, проходили под парходами, под их носами и кормами. Шла на судах работа, искры сыпались в воду и шипели, что-то там заваривали, шкрябали борта, висели в беседках, а по трансляции травили джазы. Вдруг вынырнула тюленья башка, совсем как у собаки, только уши обрезаны. Поглядел на меня тюлень, фыркнул и опять нырнул. Что им тут делать в заливе, тюленям, не знаю, но часто они сюда заплывают и разглядывают нас — как мы на них смотрим в зоопарке. Вот он с другого борта показался, пронырнул, бродяга, под килем и — на меня глядит, усам двигает. Чем я ему понравился? Такой любопытный, до всего ему дело. Наняться бы мне на такой катеришко, работа не бей лежачего: трап подай и убери, гашу¹ на кнехт накинь и сбрось, а в основном — сиди, любуйся на воду. Я бы непременно какого-нибудь тюленя приманил, окрестил бы как-нибудь — Васька или Серега, — он бы сразу выныривал, плыл бы рядышком от причала к причалу. Веселая бы у нас была жизнь!

Но мы уже подходили, народ понемногу выползал на палубу, всем не терпится поскорее в тепло, а я не стал толкаться, последним сошел.

¹ Г а ш а — или «огонь» — глухая, не скользящая петля на швартовом конце.

И закарabalкался к Нинке — напрямик, через сопки. Можно и дорогой пройти, только она вьется, гадюка, час по ней идешь, я всегда по утесам карabalкался. Здесь домишки, как стрижиные гнезда, лепятся один над другим, и клочки земли — как палуба при крене, все время одна нога выше другой. А все чего-то пытаются развести на этой земле, картошку, морковь, но ни черта не вырастает и не вырастет. Мы эту землю отняли у чаек и сами за это живем, как чайки.

Долго я лез, весь измок под курткой. А наверху на меня накинудся ветер, заледенил, и я уже думал: конец, полечу с косгора и крика моего не услышат. Но разглядел Нинкин плетень, вытащил из него жердину, стал ею отталкиваться, как посохом. Окошко у Нинки светилось, я приложился лицом, но ничего не увидел — все затянуло изморозью. Я постучался и пошел к двери, привалился к ней. Долго Нинка не шла, я задремать успел, пока она открыла, и повалился ей на плечо.

Нинка не напугалась, удержала меня, только не говорила ни слова. И не прижалась, как всегда.

— Что ж не встречаешь, Нинка? Я к тебе пришел или не к тебе?

Губы у меня ползли от холода. Нинка прислонила меня к стенке, как полено, и заперла наружную дверь. Потом прижалась ко мне и заплакала.

— Горе ты мое, — говорит мне Нинка. — Мучение.

Ну и все такое прочее. Я сам чуть не заплакал. Обнял ее покрепче и поцеловал в лоб. Вот уж мучение так мучение.

— погоди ты, я же пришел, никуда не делся. Веди меня к себе, что же ты меня в сени держишь?

Она прижалась сильнее. И пуще заплакала. Просто сил моих не было. Но все-таки в комнату не повела.

— Нинка, у тебя там есть кто?

Я никак не мог ее руки отодрать.

— Я ж чувствую, — говорю. — Ну и ладно, неужели же мне нельзя в гости к тебе? Как ты считаешь, Нинка?

Сам-то я считал: нельзя, мне уйти надо. Но вот что мне Нинка скажет — это я хотел знать. Она отступила, но сени были тесные, я сразу нашарил Нинкины плечи. Она, оказывается, стояла у двери в комнату, загоразивала ее.

— Ты что, Нинка?

Лицо у ней было все мокрое.

— Не пущу. Ты драться будешь.

Вот именно, думаю, мне только этого сегодня не хватало.

— С ума ты сошла!

— Я тебя не знаю, что ли?

— Ладно. Пусти!

— А будешь?

— На улицу пусти, я назад пойду.

— Куда! Ты до причала не дойдешь, замерзнешь.

— Ну, видишь! Что ж теперь делать?

Нинка тогда открыла, и я вошел за нею.

Он сидел за столом, в майке и в галифе, чистенький такой солдатик, крепышок, ежиком стриженный. Весь розовый, как из бани. Улыбался мне. Гимнастерка его лежала на койке, на красном стеганом одеяле; я помню, как Нинка его купила. «Теперь, говорила, укрываться будем по-человечески». Раньше у нее шитое было из лоскутков. Она тепло любила до смерти и печку топила жарко, я вот так же мог за столом сидеть, в одном тельнике или голый до пояса. А теперь она ему пришивала пугови-

цы. Или подворотничок — это уж я не знаю; просто увидел — ножницы уже не на гвоздочке висят, на стенке, а лежат на одеяле, рядом — иголка и нитки. Сапоги же его кирзовые она у двери поставила, я их не заметил и повалил. Не нарочно, а просто не заметил. Он так это и понял, не перестал улыбаться.

На столе была закуска и водка, полбутылки они уже распили, оттого он и был такой хорошенький, просто загляденье. Только вот ростом не вышел, не повезло Нинке, не могла повиднее затралить. Ну, и то хорошо.

— Что стоишь, Нинка, не познакомишь меня с товарищем военнослужащим? Солдат,— говорю,— матросу друг и помощник. Взаимодействие и выручка.

Нинка не двинулась, стояла между нами, к нему лицом, а ко мне — спиной. А он вскочил, как на пружине, протянул мне руку.

— Сержант Лубенцов. А так вообще Аркадий.

Я и руку отдернул. Подошел к его гимнастерке, расправил и повесил ее на стул, чтоб видны были лычки. А руку ему подал не сразу, сперва потер об штаны.

— Сенька.

— Очень приятно. Семен, значит?

— Что вы! — говорю.— Семен — это если трезвый. А так Сенька.

— Ну что ж,— говорит,— корешами будем?

Ах, скуластенький, так и набивался на хорошее отношение.

— Не только,— говорю,— корешами. Может, и родственниками. Все ж таки Нинка нам не чужая.

Нахмурился скуластенький. А я подошел к столу и сам себе налил в стакан. В Нинкин. Он смотрел, моргал белесыми ресницами. Что же, думаю, ты сейчас предпримешь? Ударить? Ну, это просто, я тут же с копыт сойду. Но только ведь этим не кончится. Я упаду, но я же и встану. А Нинка чью сторону возьмет? Поможет тебе меня выпроваживать?

— Прошу к столу.

Это он мне говорит, скуластенький, и ручкой показывает на стол. А я уже сам себе налил. Вот положение.

— Да нет,— говорю,— благодарен. Только что ужинал.

И полез вилкой в шпроты. Тут он снова заулыбался. Непробиваемая у солдатика оборона. Прошу прощения,— у сержанта.

— Как жизнь, морячок?

Это он у меня спрашивает, береговой, сухопутный. Прямо так и спросил: «Как жизнь, морячок?»

— Да какая же,— говорю,— у морячка жизнь! Одни огорчения.

— Ну, это зря!

— А вот, представьте себе, один мой знакомый... ты его, Нинка, не знаешь... сошел, значит, на берег. Заваливается к своей женщине. На всех парусах к ней летел. А у нее, представьте, другой сидит. Ну, все понятно. Соскучилась женщина ждать. Но кто-то же из них двоих — третий. А третий должен уйти, как в песне поется. Мой знакомый ему и говорит: «Я тебя вижу или не вижу?» А он мужчина строгий, мой знакомый. Правда, уже его нет, удалился в сторону моря. Погиб в неравном бою с трескою. Ну, с кем не бывает. А тот, представьте, моргает и не уходит. Стесняется, что ли, уйти. Тогда мой знакомый знаете чего делает?..

Но тут я на Нинку посмотрел и замолчал. Она уже сидела на койке, ноги скрестив, а руки у ней лежали на коленях. Смотрела на меня и кушала губы. Но я не на губы смотрел, а на руки.

Я вам сказал или нет? Она судомойкой была на плавбазе. И еще всякие постирушки брала — и в море и на дом, всегда у нее полное ко-

рыто стояло в кухоньке. Представляете, сколько же она за свою жизнь всего перемыла и какие у нее могли быть руки! Ей, наверное, и тридцати еще не было, я никогда не спрашивал, но руки еще лет на тридцать были старше, я честно говорю. Как будто с чужих рук содрали кожу перчаткой и напялили ей, а кожа не приросла, такая и осталась — мертвая, влажная, бледно-розовая, вся в морщинах, в мешочках. Когда я ее обнимал, я только и думал: хоть бы она меня не трогала этими руками, у меня всякая охота к ней пропадала. Я сам не свой делался, хотелось мне реветь и бежать от нее, куда глаза глядят. Но и она как чувствовала — от меня их прятала. Вот я их увидел и все тут забыл начисто. Зачем я сюда явился? Что я этому скуластенькому втолковывал?

— О чем же это я?

— Про твоего знакомого, — Нинка напомнила. Губы у ней дрожали. — Чего же он сделал? Убил их?

— Да нет же! — Я засмеялся. — Третий-то — он был, вот в чем дело. Сказал он им: «Тогда за ваше счастье!»

Солдатик смутился, но я взял его руку и чокнулся с ним.

— Чего ты смущаешься? — говорю. — Нинка знаешь какая женщина! Ты не пропадешь с ней, она тебя и обстирает и обошьет. С ней сыт будешь, и пьян, и нос всегда в табаке. Ты только не бей ее — это мы все умеем, а что не так — скажи ей с металлом в голосе, не тебя мне учить, она и послушается...

Такого со мной еще не было: я пил и трезвел. И вправду мне вдруг подумалось: может, это оно и есть, Нинкино счастье? Чем черт не шутит, может, ей с этим вологодским тепло будет на свете? А я тогда зачем тут стою, почему не уйду? Ведь я же не подберу ее никогда, я только лясы буду точить, голову ей баламутить, а он, может, и подберет?

— А ты, морячок, легок на помине, — скуластенький мне сказал.

Я допил и поглядел на него. Глазки у него повеселели, но что-то осталось в них тревожное. Не верил, поди, что все так добром и кончится и он останется сегодня с Нинкой.

— Вот здорово! Что же вы тут про меня говорили?

— Да нет, не про тебя лично, а просто Нинок сейчас ножик уронила; надо, говорит, постучать об стол, а то к нам мужчина пожалует. А я говорю: «Суеверие — привычка вредная. Если и пожалует, то вряд ли».

— Правильно говорите, Аркадий... Как вас там дальше?

— Васильевич. Я лично, например, в тринадцатое число не верю. И насчет черной кошки — это все глупости. А человек — хозяин природы, всего мировоззрения, он должен твердый курс иметь в поведении. И на все постороннее не обращать внимания. Вот, например, задумал — умри, а сделай. Согласен ты?

— Да что вы меня-то, вы у нее спросите?

— Нет, я о чем? Вот у меня тоже друг. Неустойчивый, все ему чего-то мерещится. А я на него воздействую постоянно. И перслом намечается, определенно. Вот, Нинок его знает...

Нинка поглядела на меня и вздохнула. Какой же был у него курс, у скуластенького? Сегодня — к ней в койку, под одеяло стеганое. А служба кончится — он к себе в Вологду поедет, там его другая ждет, запланированная. А Нинка все так и будет на Абрам-мысу жить, как чайка, светить окошком новому трепачу. А я — что могу для нее сделать?

Я снял куртку — мех пристегнуть — и увидел изнутри карман, затянутый молнией, плотно еще набитый. Вот разве только это. И то — если она возьмет.

— Выйди со мной, Нинка. Я чего скажу.

Он так и примерз к стулу. Но улыбался. Конечно, не уведу же я ее.

— Что ж так скоро, морячок?

— Вахта,— отвечаю.

— Э, хорошая вахта сама стоит!

Ах, скуластый, что ты еще про морячков знаешь? Но больше он меня не удерживал. Пожал мне руку — со всей, конечно, силенкой,— но как-то я почувствовал: нет, ненадолго у них.

Нинка пошла за мной, я пропустил ее в сени, помахал ему рукой и притворил дверь. В темноте я ее взял за плечи и притянул.

— Сеня! — Она сама ко мне прильнула. Вот уж ни к чему. Я же не за тем ее звал.— Прогнать его, да? Скажи только...

Ничего, я подумал. Особенно она страдать не будет, если у них и ненадолго.

— Ты брось это, Нинка, выкинь из головы... Все у вас наладится, он, знаешь, верный, такой даром не гуляет.— Сам я ни на копейку в это не верил. Почему бы солдатику и не погулять даром? — Это мне верить нельзя, а он же положительный, ты и сама видишь.

— Ты за тем меня позвал?

— Нет, не за тем... Нинка, возьми у меня гроши.

— Ты что?

— Ну, на сохранение возьми, я все равно размотаю.

Я стал ей совать полпачки. Она меня схватила за руки — своими руками! — я дернулся, выронил все, рассыпал по полу. Нинка нагнулась и стала шарить впотьмах. Я тоже с нею шарил, Нинка мне их совала в руку, а я опять ронял. Тогда она меня оттолкнула к стенке, стала одна подбирать, потом все сразу затиснула за пазуху, в карман. Я снова за ними полез — она вцепилась и держала меня за руки.

— Уйди! Уйди по-доброму. Ничего мне от тебя не надо!

Она уже меня не держала. Один ее голос — из темноты египетской, через слезы — бухал мне в уши: «Сволочь... Изувер...»

— Не гони, я и так уйду.

— Иди! В последний раз тебя видела! Замерзни, гад...

Я нашарил шеколду, Нинка меня оттерла плечом и сама открыла дверь. Ветер нас ожег колким снегом. Нинка сразу притихла — верно, уже не рада была, что гнала меня. Но не ночевать же нам тут втроем, хотя у нее и кухонька была в этой хибаре.

Нинка спросила:

— Как же ты дойдешь такой?

Я ее погладил по плечу и пошел с косогора. Прошел шагов двадцать — услышал: стукнула шеколда.

С катера я все хотел разглядеть ее огонек и не увидел — расплылся он среди прочих. И я заснул на кнехте. Только помню — когда причаливали у морвокзала, матрос вахтенный замешкался, не вышло у него с ходу накинуть гашу, и я к нему полез отнимать ее,— как он меня отпихнет локтем:

— Отскочи, ненаглядный, в лоб засвечу!

Так, думаю, ну, быть мне сегодня битым.

8

Я только успел сойти на причал, они ко мне кинулись — двое черных, как волки в лунной степи.

— Сеня! — кричат.— Ну, теперь какие планы?

Не знаю, как у бичей, а у меня планы были в общагу идти, спать.

— А я тебе что говорил! — это Вовчик Аскольду.— Мы-то по всему городу, с ног сбились, в милицию хотели звонить, не дай бог замерзнет, а он — спать!

— Как это понять, Сеня? Ты постарел или с нами не хочешь зняться?

Да, вам таких корешей не иметь. Я от волнения даже сел на причальную тумбу. Ведь и вправду же я мог замерзнуть.

— Вставай, Сень, не сиди, вредно! — Подняли меня под локотки. — Пошли погреемся.

Вовчик побоку плелся, дышал в воротник, а Аскольд — то вперед забежит, то приотстанет — зубами блестел, рассказывал:

— Я ему говорю: «Вовчик, грю, это не дело, мы грех берем на душу, это нам не простится, что мы его не разыскали». А он говорит: «Какой же грех, он к бабе ушел, всех нас забыл». Нет, грю, он человек верный, что-то не то, вот так люди и погибают. Ну, мы на моторе к тебе в общагу, все перевернули кверху килем, а там тебя знают, Сеня, ты человек известный. «Ищите его на Абрам-мысу. Бывает, он туда ездит».

— Это кто же сказал? Толик? Лысоватенький такой?

— В том-то и дело, не лысоватенький. А очень даже курчавый. Неважно кто, Сеня! А важно, что нашли тебя — живого-здорового.

Не иметь вам таких корешей, я честно говорю!

Так мы и до «Арктики» дошли. Ну, ничего удивительного: если от морвокзала к общаге идти, ее, конечно, не минуешь. А оттуда уже последние вышибали, и двое милицейских на страже стояли, с гардеробщиком. Какой-то малый к ним ломился, ростом с дверь, убеждал силным голосом:

— Папаша, пустите кочегара, у меня ребенок болен.

Аскольд к нему кинулся на подмогу.

— Там наши дамы сидят, в залоге.

— Нету ваших дам, — сказал гардеробщик, — уехали.

— Как это уехали? Без нас уехали?

Мы стали вчетвером ломиться. Да только у нас дверь поддалась немного — милицейский высунулся в шубе.

— Это что за самодеятельность? Кой-кто у нас посидит сегодня. А ну, Севастьянов, бери вот этого, в куртке.

Ну, я эти штуки знаю, никакой Севастьянов меня не поведет, охота ему на холод вылезать. Так что я ногу просунул в дверь и держу, помощи ожидаю справа и слева. Но Вовчик с Аскольдом скисли тут же и сами же меня отгасчили. Дверь и закрылась. Так обидно!

— Это ничего! — орет мне пучеглазый. — Зато у меня план есть. Сейчас мы в Росту смахаем, у Клавки доберем. Тем более ты ей понравился, Сеня!..

Ага, думаю, значит, в гости поедем. Ну, она тоже занятная, Клавка.

— А есть у нее?

— У Клавки чтоб не нашлось! Ты как, на ногах держишься?

— Стою, — говорю, — не падаю.

— И стойте тут, я к вокзалу побежал за могором.

Ну, пусть, думаю, сбегает, у него мослы долги, а вокзал — метров двести, не больше. Но наблюдаю — Вовчика шатает слегка. Я его стал поддерживать. А он меня. Ага, думаю, значит, и меня шатает. Тем более надо вместе держаться. Кореша мы или не кореша?

Долго ли, коротко мы так с ним корешили, но вот и такси загудело, и Аскольд нам из окошка машет. Мы с Вовчиком полезли, а там еще какие-то ехали, с барахлом. Вовчик-то поместился, а у меня ноги наружу.

— Это ничего, — говорю, — так веселее!

— Кто повеселится, а у кого и права отберут.

Это шеф, значит, голос подает из провинции. Вылез, переложил мои ноги внутрь. Оказывается, и для них место нашлось.

— Эй, капиталисты, вам куда ехать?

Вот неугомонный какой!

— Стартуй, шеф! — говорю ему. — Потом разберемся.

— Потом! Ты потом отрезвеешь, что ли?

— В Росту вези! — пучеглазый орет. — Улица Инициативная, три, второй этаж, четыре звонка.

— Э, мне в Росту ехать — это себе во вред. Смена-то кончается!

— Это не разговор, шеф! — кричит пучеглазый. — Ты сперва счетчик выруби, тогда будет разговор. Крути налево!

И сам уже там — баранку, что ли, вертит.

— Э! Ты мне не помогай.

— Все, шеф, мы тебя любим. Мы за тебя умрем.

— Не надо, поживи еще. Только у меня пассажиры до Горки, им ближе.

— Дело не в том, ближе или дальше, а мы раньше сели.

Это какая-то гражданка сзади меня. Оказывается, я к ней привалился. То-то мне было мягко. Я к ней повернулся, обнял за шею и стал извиняться. А она мне руками в грудь уперлась.

— Сидите, — говорит, — спокойно. Без этих штук. А то я, знаете, с мужем еду.

Я и на мужа хотел посмотреть, но шея уже дальше не поворачивалась. А муж — он тут же голос подал:

— Действительно, — говорит, — уж если вас посадили, так не хулиганьте. А то и милицию можно пригласить.

— Хе! — сказал шеф. — Какая теперь милиция!

И поехал, родной. Да только мы двинулись — кто-то догоняет, приложился носом к стеклу:

— Ребятки, возьмите кочегара, у меня ребенок болен!

Шеф сразу на тормоз:

— Ты, охламон, отстанешь или нет?

— Езжай, — орет пучеглазый, — сам отвалится!

— Куда езжай, он за дверку держится.

Стали они там объясняться на морозе. Долго что-то руками махали. Потом шеф снова сел и как рванет с места. Кочегар попрыгал, попрыгал и отстал.

— Послушайте, — вдруг эта гражданка говорит, — вы в самом деле счетчик выключили? Там уже сколько-то набито!

— Действительно, — мужнин баритон, — мы уж доедем, потом свои порядки устанавливайте.

— А тебя кто спрашивает? — говорит ему Аскольд. — Ты кто? Приезжий? Ну и сиди, приезжий, не вякай. Мы, если хочешь знать, и за вас можем заплатить. Видишь вот этого, в курточке? А ты думаешь, он кто? А он капитан-директор всего сельдяного флота. Самый главный капиталист!

— Рокфеллер! — кричит Вовчик.

— Про него каждый день в газетах интервью печатают, понял? Он всю страну рыбой кормит. И за границу всю кормит. Да мы тебя, приезжий, со всеми шмотками купим! Покажи ему, Сеня, какие у нас капиталы... Смотри, приезжий!

Я засмеялся, сунул руку за пазуху и вынул всю пачку. Хотя это была уже не пачка, а ворох — мы же их с Нинкой не складывали впопыхах, совали как придется. Я этот ворох и показал — и дамочке, и ее мужу, и шоферу тоже показал: пусть не волнуется, на арапа не едем.

— Спрячь, — говорит Вовчик, — а то ослепнут. Они в темноте светятся.

— Видал, приезжий? — спросил Аскольд. — Так что помалкивай. Тут патриоты едут, понял, родного Заполярья. Была бы гитара, я б тебе спел... «Суровый Север нам дороже кавказских пальм и крымского тепла!»

И Вовчик тоже запел:

— «И наши северные ворота — бастионы мира и труда!»

— Газуй, шеф! Крути лапами!

Эх, и парень же был этот пучеглазый! Ну, и Вовчик тоже дай бог! А машина не шла, а просто летела над улицей, покрышками снега не касалась, только виляла на поворотах, и меня так славно стало укачивать...

Проснулся я, когда этим приезжим надо было вылезать. Муж чего-то там заплатить хотел, а пучеглазый орал шефу:

— Плюнь ты на ихние грешки, ты тоже патриот! Чаевые в нашем городе не берут!

Потом стало свободно, я растянулся на заднем сиденье, головой Вовчику на ляжки. Голова у меня моталась, я просыпался и снова засыпал, не мог понять — куда едем. Слышал только: пучеглазый ругался с шефом, все время один другому дорогу путал. Один под банкой, а у другого изморозью стекло затянуло.

Потом Аскольд меня взбудрил:

— Эй, капиталист, Рокфеллер, как спали? Платить надо.

Я засмеялся, расстегнул молнию на курточке.

— Давай, сам плати.

Вовчик сунул руку, вытащил сколько-то там, дал шоферу. А тот, дурень, еще отнекивается:

— Орлы, я с пьяных больше десятки не беру.

— Бледный ты, шеф! — пучеглазый орал. — Плохо питаешься. Тебе капитан-директор премию выдает, на поправку. Сень, ты подтверди!

— Ага, — я подтвердил, — я же у нас добрый.

А правда — так хорошо мне было, счастливо, оттого что они меня все любят и я их любил, как родных...

А совсем я проснулся — от холода; мотоцикл грешал, и я уже не в такси ехал, а в коляске. Когда ж это я в нее пересел? Просто уму непостижимо.

— Эй, артист! — надо мной милицейский склонился, в дохе. Сам он сзади сидел, на колесе. — Тебя держать? Не вывалишься?

— Да хулиган он, а не артист! — еще какие-то орали.

Мотоцикл медленно выезжал со двора, и целая толпища нас провозала.

— Господи, когда же мы от них город очистим?.. Учти, лейтенант, коллективное заявление у нас готово!..

— Отдыхайте, граждане, — лейтенант их успокаивал. — Коллективных не надо, а у кого конкретно стекла побиты...

Рядышком пучеглазый шел и мне шептал сиплым голосом:

— Сеня, они же нас не поймут! Вспомни все лучшее, Сеня!

Что же там лучшего-то было?.. Я какие-то обрывки помнил... По какой-то я лестнице летел вперед башкой и парадное пробил насквозь, обе двери, то-то она у меня раскалывалась. И лицо горело, как набитое. Да точно, набитое, с кем-то я еще перед этим дрался... Я по лицу провел ладонью и кровь на ней увидел. Господи, да с корешами же я и дрался, с кем же еще! Вовчик меня стучал, а пучеглазый за локти сзади держал.

Я вспомнил все лучшее и полез из коляски. Аскольд от меня отскочил на шаг. А Вовчика я что-то не видел, друга моего, кореша бывшего.

— Сиди, — лейтенант мне надавил на плечо. — А ты чего, — у Аскольда спросил, — с нами хочешь поехать, свидетелем?

Только пучеглазого и видели.

— Куда вы меня? — говорю. — Я еще с ними не разобрался.

— Теперь уже в отделении разберемся. Давай жми, Макарычев. Отдыхайте, граждане!

Макарычев на меня поглядел с высокого седла:

— Ну, арти-ист! — И прибавил газу.

9

Глаза у меня слезились от нашатыря, лицо горело, пальцы на правой сочилились сукровицей. Лейтенант мне какую-то ватку дал прикладывать, посадил на лавку в дежурке, и они с Макарычевым уехали.

Я себе посиживал, а дежурный чего-то пописывал за барьером и на меня не глядел. Я уже подумал: не уйти ли по-тихому, но тут зашел старшина, в тулупе, роста весьма внушительного, личико кирпичное, и прислонился к косяку. Еще была дверь с решеткой, там какая-то баба стояла патлатая, разглядывала меня сквозь прутья. Не знаю, чем она провинилась, почему за решетку села. А я — почему на лавке. Дежурному видней.

Он уже был в летах, до майора дослужился, облысел на этом деле. Но пока еще «внутренним займом» пользовался, зачесывал с боков. Я поглядел-поглядел и засмеялся. Тут он и бросил скрипеть перышком.

— Самому смешно? Сейчас мне расскажешь, я тоже посмеюсь.

— С удовольствием, — говорю. — Только дайте вспомнить.

— Это пожалуйста, дадим. Время у тебя будет, суток пятнадцать. Не возражаешь?

— Да что там... Ведь от этого ж не умирают.

— Как фамилия?

— Ох, — говорю. — А бесфамильного — вы меня не посадите?

— Ныркин, при нем документы были?

Старшина переминался с ноги на ногу.

— Нету.

Все правильно, я их в общаге оставил, в пиджаке.

— А что при нем было?

— Денег — сорок копеек.

— Чего-чего? — Я вскочил с лавки, пошел к барьеру. — Каких сорок, вы что-о? У меня тысяча двести было новыми, с рейса остались.

Майор поглядел на меня и ручку закусил во рту.

— Правду говоришь?

— Ну, поменьше, я куртку вот купил, в ресторане сидел, на такси тоже потратился... Но тысячу ж я не мог посеять!

Майор поглядел на старшину. Тот лишь руками развел.

— Не знаю, как там тебя...

— Шалай.

— Так. Ну, вот и познакомились. Майор Запылаев. Так вот, Шалай. Мы же твои деньги не заначили. Ты же это прекрасно сам знаешь.

Я пошел обратно к лавке. Когда ж их у меня заначили? Все какие-то обрывки... Аскольд, задом к двери, молотил в нее ногою, а Вовчик как сунул палец в звонок, так и держал, пока Клавка не приоткрыла на цепочке. «Кого еще черти?..» — «Отпирай, Клавдия, мы к тебе Сеню специально привезли. Жить без тебя не может!» Она там стояла в халатике с красными и зелеными цветами, смеялась. «И что я с вами, тремя идиотами, буду делать?» За ней — трехручьевская, в бигудях, что-то ей шептала. «Ты там, Нечуева, не агитируй!» Это Аскольд все орал. Потом он на диванчике сидел, гренькал на гитаре: «Пришел другой, и я не виновата, что я люблю и ждать тебя устала...» И хохотал при

этом. Вовчик свою Лидку обжимал, она его шлепала по рукам и шипела: «Не шекочись, мне смеяться нельзя, видишь.—лицо кремом намазано». А я сел на пол у батареи, Клавка мне поднесла стопку и чего-то закусить, хотела со мной чокнуться. А я ее ноги увидел, красивые, с круглыми коленками, и чокнулся об ее коленку. Я ее так любил, Клавку, никого в жизни так не любил!.. Где-то я еще в кухне ее обнимал... Ну да, голову пошел смочить... Куда-то я ее поехать со мной упрасивал, потому что бичи меня ограбят, только она одна меня может спасти, я без нее и правда жить не могу. «Ах ты, рыженький, я ведь не железная, учти, тоже голову могу потерять. А если мне твоя верная в глаза кислотовой?» Чего-то я еще ей бормотал несусветное. Потом она вырвалась, запахнула халатик, ушла из кухни...

— Ты что,— спросил майор Запылаев,— совсем ничего не помнишь?

— Начисто.

— А с кем в ресторане сидел?

— С друзьями.

— На них не думаешь?

Я не ответил.

— И куда на такси ехали, запомятовал?

— К женщине.

— Что за женщина?

...А в комнате я ее с Аскольдом застал, чуть не в обнимку. Ну, так мне показалось. И я его с дивана на пол швырнул. А сам к ней подошел, стал ее целовать — в шею, в грудь. Она не вырывалась, только хотала и дула мне в лицо. И вдруг меня пучеглазый стал душить. А Вовчик вроде бы разнимать кинулся, но сам же первый и стукнул. В коридор они меня вытащили метелить. Но там-то я вырвался и врезал обоим хорошо по разу, а в третий раз в стенку попал, себе же на убыль. И уж они меня без помехи метелили. Аскольд держал, а Вовчик примеривался и стучал. «Это ему еще мало. Это он еще не запомнит. А вот так — запомнит. И вот так». Покамест Клавка не высочила. «А ну, прекрати-те, звери! Я вас сейчас налажу!» Но их наладишь, когда уж они озверели. Открыли дверь и с лестницы меня — головой вниз...

Баба вдруг подала голос из-за решетки:

— Ты вспомни получше, мальчонка. Милиция — она хорошая, она чужого не берет. Это шалава тебя растрясла.

— Сиди, сиди, Кутузова,— сказал ей старшина,— тебя не спрашивают.

— Есть, гражданин начальник. Мне мальчика жалко.

— Нам тоже жалко. А ты молчи в тряпочку.

Майор Запылаев вздохнул и сказал:

— Так как же, Шалай? Не поможешь мне? Я ведь обязан твои деньги найти.

— Ничего вы не обязаны. Я по крайней мере не прошу.

— Напрасно ты так. Тем, кто это делает, крепко может попасть, а ты покрываешь. Что — и фамилии ее не помнишь?

Фамилию-то я вспомнил. Когда я эти кирпичики стал кидать — ей в окошко, а попал кому-то другому, раза два или три даже, тут целый взвод выбежал меня хватать, и мужик какой-то кричал сверху: «Это у Перевощиковой, у Перевощиковой шпана собирается. Я эту квартиру давно на заметку взял!» А Клавка из подъезда: «Больше тебе делать нечего! Смотришь, кто ко мне ходит? А я женщина свободная. Может, мне тоже жизни хочется». Ну и голосок же был у моей возлюбленной!.. Но я еще и про Нинку вспомнил: бичи-то ведь знают, что я на Абрамыс ездил, милиция до нее докопается, а вдруг у ней деньги в сенях

остались, даже наверняка остались, и Нинку вполне замести могут ни за что ни про что, потом мне ее и самому не выручить. А если и бичей заметут с Клавкой — все равно, какие б они ни были, как бы я против них ни озверел, не стоили эти деньги, чтоб люди из-за них сели в тюрьгу. Я всего двадцать суток на губе сидел, больше не сидел, и все равно я знаю: никакие деньги этого не стоят. Лучше я сам их при встрече возьму за глотку.

— Ты откуда, Шалай? С тралового?

— Сам ты траловый!

— Давай, груби мне. Я все фиксирую.

— Не траловый я, а сельдяной.

— Вот и отвечай по существу. Я на тебя официальный документ заполняю. Где живешь?

— На земле и на море.

— Ладно, спрошу точнее. Прописан где?

— Прописан по кораблю.

— Так... В общежитии, значит. Ну что, две недельки у нас поживешь. За вытрезвление с тебя четыре тридцать, так и быть, не взыщем.

— Спасибо.

— Ныркин, выдай ему постельный комплект, завтра еще допросим.

— Но я уже передумал. Не поживу я у вас, я лучше в общагу пойду.

— Ну, милый, это уж мне знать, где тебе лучше. Нахулиганил — значит, у нас лучше.

— Нельзя мне, майор. Береговые у меня. Я неделю как с моря.

— Что ж делать, Шалай? Мы, что ли, с Ныркиным стекла били, покой нарушали трудящихся?

— И мне завтра по новой в море. Утром отход.

Майор Запылаев бросил свой документ писать, вздохнул.

— Ныркин, завтра какой отходит?

— Кто его знает? В диспетчерскую надо звонить.

— На каком идешь?

— Вот,— говорю,— буду я еще номера запоминать!

— Ну, название.

— А это тем более.

Это он знал, Запылаев, мы свои СРТ больше по номерам различаем.

— Кто там капитан?

Я пожал плечами. Капитана я еще не успел придумать.

— В море,— говорю,— познакомимся.

— Врет,— сказал Ныркин.— А может, и не врет.

— Ну, а кого-нибудь помнишь? Старпома? Дрифмейстера?

— Штурманов? — баба сказала из-за решетки.— Механиков?

— Во! Стармеха помню. Бабилов.

— Сергей Андренич?

— Точно.

Запылаев опять чего-то вздохнул.

— А ведь я могу и проверить. Телефон-то у него наверняка есть.

Это правда, телефон был у «деда», его за три года до этого депутатом выбирали в райсовет. Только не нужно ему было знать про мои похождения.

— Он же спит,— говорю.

— Ничего, разбудим. Твоя вина.

— И все я пошутил. Никакой у меня не отход.

— Врал, значит?

— Ага,— я снова пошел к лавке,— давай мне, старшина, комплект, я спать лягу.

Майор Запылаев все-таки набрал номер. Я так себе и представил, как в длинном-длинном коридоре, где сундуки стоят, корыта, холодильники, а на стенах висят велосипеды, как там звенит, заливается звонок, пока кто-нибудь, нервный, не выскочит, протирая кулаками очи, не нашарит выключатель, потом — в другой конец не зашлепает, к телефону. Потом идут стучать «деду» — тоже подвиг, опять в другой конец беги. Но «деда» нельзя не позвать, его и ругают и уважают. И вот «дед» поднимается, крихтит, накидывает бушлат, сует ноги в теплые галоши, идет, и вся квартира, конечно, пристраивает уши к дверям: кому же он понадобился в столь поздний час? Любопытно, любопытно, «майор Запылаев из милиции», то-то нынче пошатывались, когда пришли. Нет, с «дедом» все в порядке, матросик из его экипажа набедокурил — «в нетрезвом, конечно»,— теперь на него ссылается. Скажите, полторы косяк размотал за ночь, не помнит где. Хорош экипаж! А «деду» он что — сын, племянник? Ах, этот, который все к нему ходил, вроде подкидыша. Хорош подкидыш, с таким подкидышем жить да радоваться. А старый-то за него просит, унижается, было бы из-за кого. Господи, и Марь Васильевна выбежала, бог своих не дал, вот и носятся с прохиндеем великовозрастным, души не чают... Потом идут они двое, между замочных скважин, и молчат. Запираются в своей комнатешке и друг другу ни слова.

Майор Запылаев положил трубку.

— «Скакун» твое судно называется. В восемь отход.

— Спасибо. Теперь буду знать.

Он погладил свой «внутренний заем» и насупил: что же теперь ему с официальным документом делать?

— Оставлю на всякий случай. Жильцы пожалуются. Стекла придется тебе вставить. Договорились?

Я кивнул. Ничего, сквозь землю не провалился, только лицо как будто пятнами пошло.

— Я идти могу?

— Мотай! Хотя подожди, Лунев с Макарычевым тебя отвезут, а то еще где-нибудь попадешься, снова придется Бабилова будить.

Будил-то не я, а он. Но я уж смолчал. Тут как раз и подъехали Лунев с Макарычевым — злые, как бесы. Макарычев платком ссадину зажимал на щеке, а Лунев высыпал Запылаеву на стол гильзы от пистолета, штуки четыре. Оказывается, в международный конфликт им пришлось вмешаться — возле Интерклуба англичане подрались с канадцами.

— Веселая ночка! — сказал майор Запылаев.— А придется еще, Макарычев, съездить, бича в общежитие свезешь.

Лунев поглядел на меня.

— Так и будем, значит, работать: мы задерживаем, а ты выпускаешь?

— Ладно, завтра ему в море. И Бабилов за него поручился.

— Пусть отдохнет Макарычев,— сказал Лунев,— сам отвезу.

По дороге я Лунева попросил подождать, зашел в один знакомый двор и постоял там, задрал голову. Окошко на четвертом этаже погасло. Я вернулся и сел в коляску.

— Порядок? — спросил Лунев.

Я только кивнул. Он меня довез, разбудил вахтершу и на прощанье помахал мне рукой.

— Все ерунда, ты не огорчайся.

Про деньги ему уже сказали.

— Спасибо,— говорю.

— Счастливо тебе в море!

Я пришел, скинул только куртку и тут же повалился на койку — лицом вниз. Заснул без снов, без памяти, как младенец.

10

Вахтерша свое дело знала. Если кому в море идти, она всю обшагу перевернет, но тебя и мертвого поставит на ноги. Постоишь, покачаешься — и оживешь. Но уж соседям, конечно, не улежать. Все мои четверо проснулись, поглядели на черные окна и задыхались в четыре рта. Сочувствовали мне. Шутка сказать — вместе неделю прожили! Тем более в одной компании нам уже не встретиться. Сегодня же на мое место другой придет, как в том анекдоте: «Спи скорей, давай подушку», а меня позабудут.

Они себе покуривали, а я собирался. Чемоданчик еще был крепкий, две пары белья на смену, три сорочки и галстук, и шапка меховая, и золотые часики, а пальто и костюм я на хранение решил оставить — одолжил у соседней иглу и химический карандаш, зашил в мешковину и написал: «Шалай С. А. Ждать меня в апреле. СРТ-815 «Скакун». Вот все, что я нажил. И еще курточка. Ну, с ней ничего не случилось. И кровь хорошо замылась, никаких следов. Да, вот и полпачки осталось «беломора», на сегодня хватит, а завтра можно и в кредит брать, в лавочке у артельного. А если сегодня и вправду отойдем, то и деньги мне ни к чему, сами понимаете. Вот если бы они были, тогда другое дело. Ну, ладно, что теперь говорить.

— Счастливо, негрityа!

— Тебе, дикаренко, счастливо. Уродуйся там по-хорошему.

— Встретимся в море. У Фарер.

Мы посидели, как водится, потом я всем пожал лапы — еще теплые, вьлые со сна.

Сколько же раз я уходил отсюда — дайте припомнить. Ну, не из этой комнаты, все они на один лад: пять коек с тумбочками, стол под газеткой, потрескавшееся зеркало на стене и картина — люди спасаются на обломке мачты, а на них накатывает волнишка баллов так на десять — черта лысого спасешься! На другой стене пограничный дозор в серых скалах вглядывается в серое море, старшина ладошку приставил ко лбу — бинокль у него, наверно, в воду свалился. Да, без воды нам, конечно, не обойтись на берегу. Ладно, пускай висят. А я пошел.

При выходе вахтерша меня остановила:

— погоди, сынок, у тебя за семь дней не уплачено.

Вот этого я не учел. Семь дней — это значит семьдесят копеек. Я вынул свои сорок. Она поглядела на меня поверх очков, вздохнула.

— У соседей не мог одолжить?

— Меньше десятка занимать — несочлидно.

— Ладно, сама за тебя заплачу. Запомнишь?

— Забуду. Вы напомните, пожалуйста.

— Постой, я тебе пропуск выпишу.

Я показал ей, что у меня в чемоданчике, а пропуск порвал и кинул в плевательницу. Кому же его показывать? Той же вахтерше.

— До свиданья, мамаша.

— Ступай, счастливо тебе в море.

Была еще самая ночь, когда я выходил со звездами. Я пошел по тропочке, вышел на набережную. Порт переливался огнями до самых

дальних причалов, вода блестела в ковшах¹, и весь он ворочался, кипел, посапывал, перекликался тифонами и сиренами; и отовсюду к нему спешили — толпами, врассыпную, из переулков, из автобусов.

На углу Милицейской я стал. Четверть десятого было на часах. Она уже там. Она минута в минуту приходит. Не то что я — к отходу. Монеты у меня для автомата не было, но я зато способ знаю.

Подошел там к трубке мужчина.

— Нельзя, — говорит, — она в лаборатории. Мы по личному делу...

— Ах, какая жалость! А то к ней брат приехал...

— Из Волоколамска?

Так и есть, парвался я на очкарика.

— Ну, нельзя — не зовите. Только передайте: тот самый звонил, ему сегодня в море, просил ее прийти на причал. — Я ему сказал, какое судно и как найти причал. — Запомните?

С кем-то он там пошептался и ответил:

— Хорошо, я постараюсь.

— Вы-то не старайтесь. Пусть она постарается.

— Она... по-видимому, придет. Если сможет. Больше ничего?

— Нет, спасибо.

Так мы с нею и пообщались.

Мне еще нужно было в кадры — это рядом, на спуске: избенка в один этаж, стены внутри голубые, облупленные, карандашами исписанные вкось и наискось, увешанные плакатами: «Рыбак! Не выходи на выметку без ножа», «Не смотри растерянно на лоно вод. Действуй уверенно, используй эхолот!», «Первыполним план годового улова трески на трам-тарарам процентов». Пять или шесть окошечек выходят в коридор — в такое окошечко лица не увидишь, только руку просовываешь с документами. И народ здесь толчется с утра до ночи, атакуют эти окошки — кажется, век не пробиться. Но это так кажется.

Я вломился в коридор и заорал с порога:

— Бичи! Пустите добровольца!

Расступились. Девушка даже выглянула на меня из окошечка.

— Это ты добровolec?

— Ага. Выдай мне билетик на пароход. Срочно!

— Выбирай любой. Какой на тебя смотрит?

— Восемьсот пятнадцатый.

— Привет! Ушел уже.

— Не может быть, — говорю. — Отход на восемь назначен. А сейчас только полдесятого. Вон у тебя и роль еще на столе.

— Ой, ну надо же! — захлопотала. — Неужели я еще не отнесла?

Бичи мне дышали в затылок, смотрели, как она меня оформляет.

— Ты гляди! — один говорит другому. — В Норвежское идут под селедку. Ну, юмористы!

— Надеются, значит, — отвечает другой.

— Ты шутишь! Какая же в январе селедка?

— Так это ж не я иду. Это ж они идут.

Девушка мне выбросила направление и закрылась. Бичи повздыхали и ушли перекуривать. А я дальше — крутиться по карусели. И часа не прошло, как выкрутился — со всеми печатями.

На спуске народ уже валом валил по мосткам. Я вклинился и зашагал — как рыбешка в косяке. Снег скрипел под ногами, скрипели доски,

¹К о в ш — часть портовой акватории, углубление, ограниченное с трех сторон причалами.

и с нами облако плыло от нашего дыхания; мы в нем шагали, как в тумане. У проходной разделились на три рукава, потекли мимо милицеевских. Портовые шли налегке, ну, а меня с чемоданчиком остановили.

Спиртного при мне не было. Даже милиция выразила удивление:

— Небось через проволоку передал?

— Святым духом,— говорю,— по воздуху.

— А много? — смеется милиция.

— Да штуки три.

— Это еще не много. Вот сейчас кочегара задержали — восемь поллитров в штанинах нес.

— Анекдот,— говорю.— Конфисковали?

— Ну, так если вываливаются — это ж не дело! Надо, чтоб не вываливалось.

— Правильно,— говорю.

— Счастливо в море!

Народ растекался по причалам, по цехам, по пакгаузам. Знакомые меня приветствовали — машинист с локомотива, доковые слесаря, девчата с коптильни, с рефрижераторов; я им улыбался, помахивал рукой и шел себе, не задерживался, пока не уперся в шестнадцатый причал. Здесь мой «Скакун» стоял первым корпусом — такая уж честь отходящему в нашем гесном порту,— весь в инее, как будто обсахаренный. Грузчики-берегаша набивали трюма порожними бочками. Кран с берега подавал их в контейнере, контейнер зависал над люком и рассыпался, и бочки летели в трюм с грохотом.

У трапа чудак скучал с вахтенной повязкой — две синих полосы, между ними белая,— поглядывал на берегашей и поплевывал в воду. Не нравилась ему такая работа. Я ему подал направление и матросскую книжку. Он приложил их к пачке, а сам на мою курточку загляделся.

— Матросом идешь? — спрашивает.

— Матросом.

— Хорошо.— Не знаю, что тут особенно «хорошо», но так уж всегда говорится.— Я третьим штурманом.

— Тоже хорошо.

— Медкомиссию прошел?

— В этом году не надо.

Ростом третий штурман был меня ниже, а вида ужасно задиристого. Где-то шрам себе заработал через всю щеку. Когда он смеялся, шрам у него белел, и лицо ошеривалось, вся улыбка из-за этого пропадала.

— Отойдем сегодня? — спрашиваю.

— В три часа, наверное. А может, и завтра. Капитана еще нет. А ты почему опаздываешь?

— Оформляли долго.

— Оформляли! Дисциплина должна быть. Курточку не продашь?

— Нет.

— И не надо. Раз опоздал — будешь вахтенным. Повязку надень.

Он мне отдал свою повязку и сразу повеселел.

— В контору сбегаю. Лоции надо взять и аптеку.

— Так и скажу, если спросят.

— Ну, молоток! За берегашами следи. Видишь — как бочки швыряют. Все клепки разойдутся. Ты покричи, чтоб кранец подкладывали.

— Покричу обязательно.

— Надо, знаешь, хоть покричать.

Мы друг друга поняли. Если кранец подкладывать, крышку от грузовика, это нужно каждую бочку кидать отдельно. Так мы и через неделю не отойдем.

— А заскучаешь,— сказал третий,— на камбузе собачка сидит, Волна, поиграешь с ней. Сообразительный песик. А может, махнешь курточку?

— Нет.

Он сбегал по трапу и скрылся. А я пошел устраиваться. Кубрики на СРТ — носовые, под палубой. В каютке дрейфмейстер с боцманом живут; в двух кубриках, на четыре персоны и на восемь, вся палубная команда. Но туда, где четыре, мне и толкаться нечего — там «Рыбкин» поселяется, помощник дрейфмейстера, бондарь и какой-нибудь матрос из «старичков», из ветеранов этого парохода. Ну, а я уж как-то на любом судне молодой, мне — туда, где восемь. Я скинулся по трапу, толкнулся в дверь, а — дым на меня коромыслом, и пар от горячего камелька, и веселый дух от стола, где пятеро сидело с дамами. С верхних коек шестой свешивался и седьмой.

— Здорово, папуасы!

— Будь здоров, дикарь! С нами идешь? Присаживайся, выпей.

— Нельзя мне. На вахте.

— А что на вахте — богу молятся?

Я поглядел — ни одного знакомого. И койки пока все заняты. Две чьими-то шмотками завалены, а в других — сидели по двое, обнявшись намертво, из-за занавесок выглядывало по четыре ноги: две в ботинках, две в туфельках. Так и будут они выглядывать — до самой Тюва-губы. Потому что порт — это еще не отход. Вот Тюва — это отход. Там мы возьмем вооружение: сети, поводцы, кухтыли, возьмем солярку и уголь для камбуза, проверим компас, в последний раз потопчем берег. Потом отойдем на середину залива, и к нам причалит катер. Всех нас соберут в салоне и возьмут наши паспорта. Дело уже будет к ночи, в Тюве прокантуемся сутки, это как пить дать, хотя там делов часа на четыре, не больше. Тут мы в последний раз этих женщин увидим — внизу, под нашим бортом, под прожектором, будем орать им: «Ты там смотри, Верка (или Надька, или Тамарка), гулять будешь — узнаю, слухом земля полнится и море тоже, мигом аттестат закрою и кранты нашей дорогой любви!» А они нам снизу: «Глупый ты, Сенька (или Васька, или Серега), говори да не заговаривайся, люди же слушают, когда же я от тебя гуляла, я себя тоже как-нибудь уважаю!» И катер нырнет в темноту, покачивая топовым, повезет наивернейших наших жен, невест и подружек,— я за них ручаюсь, с кем-нибудь из этих и я вот так же попрощался за занавеской.

Одним словом, койки мне сразу не нашлось, а это худо дело, я вам скажу, потому что койка в море — это твое прибежище, в ней не только спишь, в ней читаешь книжки и пишешь письма, в ней штормуешься — это значит, лучше всего, когда она вдоль киля, а не поперек, и ложишься в нее ногами вперед: в случае чего сначала все-таки ноги, а голова потом. Но такой уже я невезучий, это надолго. Ладно, я закинул чемоданчик в крайнюю верхнюю, у двери, и пошел.

И только я показался в капе, уже меня какой-то верзила кличет, в безрукавке-выворотке, без шапки, в шлепанцах на босу ногу:

— Вахтенный! Флажок почему не поднял?

— Может, он поднят?

— Нет. Мне диспетчер звонит. Надо поднять.

Я взлез на ростры, пробрался между шлюпками и поднял флажок — весь замасленный, линялый, в копоти,— разглядит там его диспетчер в бинокль или нет? Я закрепил фал и спустился. А тот меня ждал внизу, на морозе, приплясывал в своих шлепанцах. Ну, такому ничего не сде-

дается — лицо младенческое, румянец по всей щеке, и в пухлых плечах дремучая, должно быть, силища.

— Новенький, аттестат будешь оформлять?

— Матери в Орел.

— А бичихи — нету?

— Нет.

— И алиментов не платишь? Что ж ты такой?

— Такой уж.

— Ну, и я такой. — Протянул мне ручищу розовую, в крапинах. — Выбери время, зайди. Ножов моя фамилия. Жора. Второй штурман.

— Хорошо.

— Вот так. Свои будем. Стой вахту, не сачкуй.

Зашлепал к себе вприпрыжку. Тут меня с берега позвали:

— Вахтенный!

Стоял на пирсе мужичонка, весь в бороде, поматывал концом шланга.

— Воду будем брать ай нет?

— Обязательно, отец.

— Ну и валай, откупоривай танки-то. Какой я тебе отец? Я еще тебя перемоложе.

Хорошо же я выглядел после вчерашнего!

— Вода у тебя — пигьевая?

Он для чего-то на шланг поглядел.

— Нет, вроде мытьевая.

Я вывинтил пробку над форпиком, приладил шланг, махнул ему рукой. Тот своему напарничку махнул. такому же бородатому. А гот еще кому-то. Так и домахались до водокачки. Потекло, вздулся рукав.

— Вахтенный!

Повар кричал с камбуза. Машина привезла продовольствие. Я к ней подвел лебедку, петлей обвязал коровью ногу и затянул.

— Вирайте!

Поплыла мороженная нога с причала на камбуз — торжественно, как знамя. Потом еще мешки перегружали — с картошкой, сухофруктами, вермишелью, черт его знает с чем. И только успел управиться — опять голос с берега:

— Вахтенный!

Стоит в шляпе, под ней уши мерзлые, дышит себе на руки.

— Кто воду берет?

— Что значит «кто»? Пароход берет.

— Кто персонально? Фамилия? Шалай? Почему, матрос Шалай, питьевую воду в мытьевые танки заливаете? Очистка денег стоит. Народных. Государственных. За границей, например, за это золотом берут. Валютой.

— Мы ж не за границей.

— Тем более. Значит, себя грабим. Кто это приказал?

— Кто шланг давал, сказал — мытьевая.

— Персонально кто? Не помните. Как же так получается?

А черт его знает, как это получается. Все руками махали.

— Что ж теперь, — говорю, — обратно ее качать? Тоже ведь деньги. Народные. Государственные.

Озадачился в шляпе.

— Эт-то верно, — говорит.

— Опять же, чище помоемся. Тоже ведь проблема!

— Да мне-то, собственно... Только если все начнут питьевую... Непорядок! Вот как мы это определим. — Махнул рукой и пошел.

Минуты не прошло, как снова:

— Вахтенный!

Это из рубки старпом — их на отходе вахта. Стоял в окне, как портрет в раме, с фингалом на левом глазу, косил мне на палубу. А там, возле трюма, стоял некто — в барашковой шапке, в пальто с шарфом, в теплых галошах, руки за спиной, наблюдал за берегашами — как они бочки швыряют. Так, думаю, сейчас насчет кранцев будет заливать.

— Ты вахтенный?

Смотрел на меня холодными глазами и морщился. Капитан, конечно. Капитану в море еще много чего придется сказать, ну, а когда он в первый раз ступает на палубу, спешить не надо, а надо сказать такое, чтобы запомнили. Чтоб прониклись.

— Скользко на палубе, вахтенный. Люди упадут и ноги переломают.

Так сразу и переломают. А я думал: он насчет кранцев.

— Сейчас,— говорю,— посыплю.

— Так. А чем будешь посыпать? Солью?

— Нет,— говорю,— это инструкцией запрещено. Песком надо.

— А песок у тебя есть?

— Нет. Но достану.

— Новенький, а знаешь. Ну, действуй.

Сказал он свое капитанское слово и пошел к себе в каюту, легонько так пошатываясь. А я взял лопату, пошел к бочке с солью и стал ее сыпать. Новенький, а знаю. И он тоже знает. Это один гений в газете написал, что от соли настил гниет. И напечатали. Не спросили только — а чем ее, палубу, в море поливает, не солью? Потому что — борец за экономню. Как будто если я ее песком посыплю, это дешевле выйдет. Песок зимой дороже, чем соль. А летом и посыпать не надо.

Ну вот, я и с этим покончил, больше никто меня не звал, и сел на комингс трюма перекурить. Кто-то выполз из кубрика — глаза мутны, нос сиреневый,— пошатался к капе, к трюму, подошел и встал над люком. Стоит, шатается. Я вскочил и отодвинул его на полшага.

— Отодвигаешь меня? Ты главный тут?

— Не главный, но вахтенный. Свалишься — мне отвечать.

Тут одна бочка выпала из контейнера, еще с высоты, и раскололась по всем клепкам. Не знаю отчего, так же и другие падали. Наверное, обруч был с перекалиной.

Он усмехнулся лениво, хмельно и вдруг сгреб меня за куртку, задышал мне в лицо:

— А я за бочки отвечаю, понял? Потому что я бондарь.

— Пусти,— говорю,— порвешь.

Он хотя и косой был в дымину, но мертво держал, сильнее был меня трезвого. И так смотрел на меня из-под серых своих бровей, с такой медвежьей злобой, просто убить хотел.

— Сука ты, а не вахтенный.

Один из берегашей, который внизу был, укладывал бочки в трюме, сказал:

— Что вы, ребята, как не стыдно! Вы ж в море идете, должны быть как братьевья.

— Ты помалкивай там,— сказал ему бондарь. Но все-таки отпустил куртку. Зато поднес кулак к самому лицу.— Убивать таких братьевьев.— И пошел обратно в кубрик.

Берегаши работу оставили, смотрели ему вслед. Тот, в трюме, спросил:

— Слышь, вахтенный. Неужели же он из-за бочки? Ну, стоит она? Может, чего не поделили? Так лучше не ходить вместе.

— Чего нам делить? Первый раз его вижу.

— Вот дела!

Действительно, я подумал, дела. Ведь тут ничего не попишешь, если не понравились двое друг другу на корабле. Не из-за бочки, конечно, а просто рылами не сошлись. В море и те, кто нравится, в конце концов надоедают. А тут мы рейс начинаем врагами и врагами, конечно, разойдемся. Даже не поймем отчего. Может, и правда не ходить с ним?

— Слышь, вахтенный,— сказал мне тот, из трюма,— ты на это плюнь. Ну, спяна сказал человек.

— Да чепуха,— говорю,— есть о чем говорить!

— Ну, правильно. Слышь, пошарь там на камбузе — хлебца не найдется ли? Есть захотелось.

Ох уж эти берегаши. Вечно у моряков чего-нибудь клянчат. Как будто прорва бездонная на траулере.

— Пошарю,— говорю.

— Будь ласков. Может, и мяску найдешь? Или там курку?

На камбузе у кандея пыхла кастрюля на плите, и два помощника чистили картошку. Сам кандей собачку кормил из миски — рыженькая такая, пушистая, глазенки выпуклые, лобик с зачесиком. Она не ела, а чуть отведывала и ушками все прядала и поджимала лапку. Не верила, что так все хорошо.

— Рубай, Волна, веселей,— кандей ее уговаривал.— Скоро на вахту пойдешь.

Всех портовых собак зовут Волна. А если кобель, то Прибой. В Тюва-губе она, конечно, сбежит. Не такие они дураки, портовые песики, с нами в море идти. У них программа четкая — обычно за кем-нибудь увяжутся, чуют судового человека, и по нескольку дней живут на пароходе в тепле и в сытости, только бы уши не оборвали от широты душевной. А в Тюве сбегают на берег и на попутных возвращаются в порт. Я все понять не могу, как они различают, кто в море идет, кто в порт: ведь к одному и тому же причалу подходят. А наверное, по запаху — с моря-то трезвые возвращаются и настроение совсем не то.

Я спросил у кандея, нет ли чего для берегашей. Он поохал, но вынул из кастрюли кус мяса и завернул в газетку с буханкой черного.

— А сам не покушаешь?

Я со вчерашнего не ел, но как-то и не хотелось.

— Ну, компоту хоть порубай.— Дал мне полкастрюли и черпак.— Докончи, все равно мне новый варить.

Сам он лишь папиросу за папиросой курил, худющий, страдальческое лицо в морщинах. Язву, наверное, нажил на камбузах.

Я ел нехотя и поглядывал на его помощничков, как они картошку чистят. Каждый глазок они вырезали. Это у кандея и завтра не будет готово. Они, конечно, старались, но — медленно. А мы не работаем медленно. Мы, черт меня задери, все делаем быстро. Потому что удовольствия мало картошку чистить. Или бочки катать. Вот узлы вязать — это иное дело, это я люблю. Но тут ведь все удовольствие — что делаешь это быстро. А картошка — это, как говорил наш старпом из Волоколамска, «не работа для белого человека».

Один заметил, что я смотрю, смущенно мне улыбнулся, откинул со лба белесую прядь. Он славный был, но дитя еще пухлогубое.

— Что,— спрашиваю,— рука онемела?

— Да нет, чепуха.

Салаги они, я сразу понял. Рыбак старый, конечно, сознался бы. Ничего нет зазорного.

Я кинул черпак в кастрюлю, взял у него нож и показал, как чистить. Чик с одного боку, чирик с другого и — в бак.

— Так же много отходов,— говорит.

— Ну, чисти как знаешь.

Второй, смуглолицый, раскосый, как бурят, посмеялся одними губами.

— Друг мой Алик, всякая наука благо, скажи спасибо.

— Спасибо,— сказал Алик.

Из салона пришел малый в кепчонке, в лыжной замасленной куртке, взял кочергу и сунул в топку. Потом посчитал, сколько нас тут на камбузе.

— Шура! — крикнул туда, в салон.— Четырех учти.

— Я не в счет,— говорю.— На вахте.

— Сиди ты! Вахтенному полуторную.— Не улыбаясь, наморщенный, угрюмый, сунул мне пятерню.— Фирстов Серега. Компоту оставь запить.

Алика отчего-то передернуло. Сказал как-то виновато:

— Меня, пожалуй, тоже... Я этого не пью. Ни разу не пил.

Раскосый опять посмеялся одними губами.

— Ах, он пьет только шампанское.

— Разбирайся с вами, котятками,— сказал Серега,— кто чего не пьет!

Кочерга накалилась, он прикурил от нее и пошел в салон. Мы тоже пошли. А Шура там уже распечатал ящик с «Маками» и сливал из флаконов в чистый котелок. Двадцать четыре флакончика стограммовых — это команде на бритье, но никто еще с ними не брился.

Шура веселыми глазами смотрел: что там творится в котелке? А тем временем кандей вскрывал шлюпочный ящик с галетами.

Рядом с Шурой стояла девка — молоденькая, нахмуренная, держалась за его плечо.

— Шура,— просила его,— когда ж ты со мной поговоришь?

Он только плечом подергивал. А она ничего кругом не замечала, голько его одного и видела. Ну, я бы на ее месте тоже по сторонам не смотрел: такой красивый был парень, глазастый, темнوبرовый, зубы — как жемчуг. Он, наверное, сам своей красоты не знал, а то бы девки за ним по всем причалам пошли толпою. А может быть, и ходили. Но все равно, наши ребята себя не знают. Вот и Серега был бы красив, хотя не сравнить его с Шуркой — черен, как деготь, и синеглаз — это ведь редко встретишь, но уж как рыло свое угрюмое наморщит, лет на десять ему больше дашь.

Шура из котелка разлил по кружкам, и мне почему-то первому поставил.

— Хватани, кореш.

Сам же не брал себе, пока все не расхватали. Смотрел на меня, улыбался мне весело. Вот с ним-то мы поладим. И с Серегой, наверное, тоже. Не знаю, как объяснить вам, отчего я это почувствовал.

— Сам откуда, кореш?

— Орловский.

— Ну, ты даешь! Земляки почти, я из Мценска. Давай, земля, грохнем.

Мы чокнулись с ним. Даже его провожающая поглядела на меня милостиво. Потом мы грохнули, она тоже пригубила из его стакана и сморщилась, замахала рукою у рта. Мы слегка пригорюнились, быстренько запили компотом и потянулись за галетами. Салаги долго не решались, смотрели на нас — не умрем ли? нет, живы,— потом раскосый

глотнул все разом, подобрал живот и выдохнул в подволок. Алик же пил судорожными глоточками и плавился, истекал слезами.

— Ничего.— сказал Шура.— с ходу оморячились!

Алику, однако, стало плохо, хотя он и улыбался геройски. Кандей вскочил и увел его на камбуз. Мне тоже пора было идти.

— Да посиди, земля,— сказал Шура.— не украдут пароход.

Провожающая взглянула на меня исподлобья.

— Ну, раз ему надо идти. Вы потом, в экспедиции, наговоритесь. Я взял сверток и вышел.

Берегаши, конечно, не грузили, ждали меня, и тут же сели закусы-вать.

— Ступайте, ребята, в салон,— говорю.— Там тепло и есть чего выпить.

Берегаши подумали и отказались.

— Да чо там,— сказал один,— нам все равно бесполезно. по холоду выдохнется. А вы уж почувствуйте как следует, вам в море идти, три месяца будете трезвенники.

— Это верно. Три с половиной.

Я ушел на полубак, сел там на бочку, дымил и поглядывал на причал. Я еще не потерял надежды, что она придет. В прошлый раз она тоже опаздывала, успела к самому отплытию. Вот разве очкарик не передал ей, что я звонил. Но какой ему резон — если я уйду? И с кем же он тогда шептался?

До Полярного недолго было и сбегать или позвонить из диспетчерской, но чертова повязка меня связала по рукам, по ногам. Кому ее передашь, у каждого эти минуты последние. Просто сбегать, и все? Никто особенно не хватится, покричат — другого найдут. Но этого я не могу: я с вахты еще не бегал. Не в этом дело, хватятся или нет, а тут у меня определенный свих, я не могу объяснить. Так, наверное, заведено: одним — жить в тепле, другим — стынуть и мокнуть. Вот я родился — стынуть и мокнуть. И не сбегать с вахты. Я сам себе это выбрал, тут никто не виноват.

Уже смеркалось, когда снова позвали:

— Вахтенный!

Было начало четвертого, а к причалу никто не спешил — я бы изда-лека увидел.

II

Позвал меня «дед». Он возился под рубкой, доставал из-за лебедки шланги и футшок — готовился к приемке топлива. Он не знал, кто на вахте, звал любого. И сказал мне, не оборачиваясь:

— Сейчас прилив начнется, швартовы не забудь ослабить.

— Не забывал до сих пор.

«Дед» повернулся, оглядел меня.

— А мне сказали: новенький на вахте. Давай-ка остаток замерим.

Он вывинтил пробку в танке, я туда вставил футшок, упер его в днище и вынул. «Дед» стоял наклонившись и смотрел.

— Сколько там?

Он даже не различал делений. А я их видел с полного роста, да и не темно еще было. Значит, ему и правда на пенсию. Рано или поздно обнаружат, что он слепой. Я встал на корточки и пощупал — где мокро от солярки.

— Тридцать пять вроде...

— Я так и думал. Завинчивай.

— «Дед», а почему ты сам замеряешь? «Мотыля» мог бы послать.

— А я не сам,— сказал «дед». — Ты вот мне помогаешь. Ничего, я их в море возьму за жабры.

Или они тебя, я подумал, ты стар уже, «дед», теперь стармехами в моем возрасте плавают.

— Как довезли тебя, в норме? — спросил «дед».

— Спасибо.

— Мне-то за что? А деньги — ты не тужи об них, деньги наших печалей не стоят. Ну, вперед будь поосторожней.

Я засмеялся. Вот и вся «дедова» нотация. За что я его и любил.

— Зайдешь ко мне? — спросил «дед». — Опохмелиться дам.

— Да я уже.

— Чувствуется. Пахнешь, как балерина.

— Зайду.

«Дед» пошел к себе, а я — в корму и на полубак, ослабить швартовые. Прилив еще не начался, но когда начнется, за ними не уследишь: рваться будут, как нитки. Я скинул по шлагу с кнехтов и пошел к «деду». На СРТ у троих только отдельные каюты: у кепы, стармеха и радиста. Штурмана и те втроем живут. Но «маркони» тут же аппаратуру держит, и народ у него всегда толчется, это не каюта, а рабочее место. А фактически — у двоих, одна против другой. «Дед», как говорят, «вторая держава на судне». И к нему в каюту никто не ходит. Даже к капитану ходят по тем или иным вопросам. А к «деду» один я ходил, и то на меня за это косились. И на него тоже. Но мы на это плевали.

«Дед» к моему приходу разлил коньяк по кружкам и нарезал колбасу на газетке.

— Супруга нам с тобой выставила,— объяснил мне. — Жалела тебя вчера сильно.

— Марь Васильевну я, жалко, не повидал. Проводить не придет?

— Она знает, где прощаться. На причале — одно расстройство. Ну, поплыли?

Я сразу согрелся. Только теперь почувствовал, как намерзся с утра на палубе.

— Кой с кем уже познакомился? — спросил «дед».

— Кеп — что-то не очень.

— Ничего. Я с ним плавал. Это у тебя поверхностное впечатление.

— Да бог с ним, лишь бы ловил хорошо.

— А вообще народ понравился?

Я пожал плечами.

— Не хочется плавать? — спросил «дед». — Тебя только деньги и тянут?

Я не ответил. «Дед» снова налил в кружки и вздохнул.

— Я вот чего решил, Алексеич. Я тебя весь этот рейс на механика буду готовить. Поматросил ты — и довольно. Это для тебя не дело.

Я кивнул. Ладно, думаю, пусть он пометает на старости.

— Ты пойми, Алексеич, правильно. Матрос ты расторопный. Я видел — на палубе ты хорош. Но работу свою не любишь, она тебя не греет. Оттого ты все и качаешься, места себе не находишь. И нельзя ее любить. скоро вас всех одна машина заменит — она и сети будет метать, и рыбу солить, а человеку только и делов будет — подмазывать ее и подналаживать.

— Это здорово! — Я потянулся к кружке, но «дед» ее накрыл ладонью. — Только я ни черта в твоей машине не разберусь.

— У меня разберешься! Да не в том штука, чтоб разобраться. А чтобы — любить. Я тебя жить не научу, но дело свое любить будешь. А это главное. Дальше-то все само приложится. Ты себя другим челове-

ком почувствуешь. Потому что люди обманут, а машина — как природа: сколько ты в нее вложишь, столько она тебе и отдаст, ничего не заначит.

Я улынулся «деду». Под полом чистило гулким, ровным стуком, кружки на столике ездили от вибрации.

— Хорошо стучит.

— Нет, плохо,— сказал «дед».— Ей сейчас тяжело. Разве не чувствуешь, она на грузки просит, это не режим — у стенки трястись.

Света мы не врубили, и не нужно было, в «дедовой» каютке любую вещь достанешь, не вставая со стула,— но я увидел в полутьме его лицо. Тепло ему тут жилось, наверное, когда она день и ночь стучит под полом.

— Что ты! — сказал «дед», как будто услышал, о чем я думаю.— Я как попал в эту карусель... и только и ожил, когда меня к машине поставили.

— А что она делала, эта машина?

«Дед» пододвинул мне кружку и сказал строго:

— Худого она не делала, Алексеич. Асфальтовую дорогу прокладывала через тайгу.

— Зверушек, наверное, поугадили там?

— Каких таких зверушек?

— Да нет, я так.

Просто я вспомнил — мне рассказывал один, как они лес рубили зимой, где-то в Пошехонье, и трелевочными тракторами выгоняли медведей из берлог. Я себе представил этого мишку — как он вылезает из теплой норы, облезлый, худющий, пар от него валит. Одной лапой голову прикрывает от страха, жалуется, плачет, а на трех — улепетывает подалее, искать себе новую берлогу. А лесорубы, здоровые лбы, идут за ним оравой, в руках у них пилы и топоры, и кричат ему: «Вали, вали, Потапыч!..» Я потом спрашивал у этого малца, нашел себе мишка новую берлогу или нет, но откуда же он мог знать...

— Я тебе серьезно,— сказал «дед»,— а ты мне про зверушек. Давай-ка лучше поплывем.

Мы выпили, и мне отчего-то жалко стало «деда». Я и вправду решил к нему пойти на выучку. Может быть, что-нибудь из меня и выйдет.

— «Дед», не обижайся. Я ради тебя чего только не сделаю.

Тут меня снова позвали с палубы.

— Ступай,— сказал «дед».

Когда я уходил, он, сутулый, сидел в темноте за столиком и смотрел в окно. Потом убрал недопитую бутылку и кружки.

— Куда делся, вахтенный? — Старпом стоял в окне рубки, светил своим фингалом. Был он, наверное, из поморов — скуластенький, широконосый, глазки спрятались под белыми бровками. И очень важничал, переживал свою ответственность.— Я тебя час зову, не откликаешься.

Час — это значит, он два раза позвал. Я не стал спорить. Это самое лучшее.

— Не ходи куда, сейчас отчаливать будем. Люди все на месте?

— Кто пришел, тот на месте.

— Отвечаешь не по существу вопроса.

А что ему ответишь? Не пошлет же он меня в город, если кто и опоздал. В Тюва-губе догонят.

Еще два человечка прыгнули с причала, с чемоданчиками в руках, и тут же скрылись в кубрике. Потом показался третий штурман — с белым мешком за спиной. Не с мешком, а с наволочкой. В ней он, наверное, лочки приволок и аптеку: он ведь на СРТ и за доктора. Лекарств у него там до фени, самых дорогих, каких хочешь, но на все случаи жизни — зеленка и пирамидон, больше он не знает. Зеленка — если пора-

нишься, а пирамидон — так, от настроения. А больше мы в море ничем не боеем.

За третьим — женщина прибежала, в пальто с лисой и в шляпе. Как раз у трапа они и начали обниматься. Женщина большая, а штурман — маленький. Он ее за талию обнимал, а она его — за шею. Едва отпустила живым, набрасывалась, как тигрица. Третий прыгнул на палубу и псмахал ей морской отмашкой. Глаза у него блестели растроганно.

— Иди,— сказал ей нежно,— простудишься на морозе.

Она постояла, как статуя, и пошла.

— Хороша? — спросил у меня третий.— За полторы сойдет, верно?

— За двух.

— Сашкой зовут. Вчера познакомились.

Я кивнул.

— Слыхал новости? Отзовут нас с промысла, рейс не доплаваем. Точно, мне в кадрах верный человек сказал.

— Это почему отзовут?

— А не ловится селедка.

— Неделю назад ловилась.

— Неделю! За неделю знаешь, что может произойти? Землетрясение! Черт-те чего! Я те говорю: отзовут.

Новости, конечно, самые верные. Из агентства ОБС и КП. Одна баба слыхала и кореш подтвердил. Всегда перед отходом ползают какие-то таинственные слухи: отзовут, не доплаваем, вернемся суток на двадцать раньше. Иногда и правда отзывают. Один раз на сотню. Но я сколько ни плавал, день в день приходили, на сто шестые сутки.

— Что ж,— говорю,— приятно слышать.

— Вот! Ты со мной не спорь. Как насчет курточки?

— Все так же.

— И зря. Отнеси мешок в штурманскую.

— Не понесу. Это твое дело. А я с палубы не могу уйти.

— Резкий ты парень!

Он поднял воротник на шинели, вскинул наволочку и побежал, полусогнутый.

— Вахтенный! — старпом позвал из рубки.

— Ну?

— Не «ну», а «слушаю». Убрать трап!

С берега мужичонка, в шапке набекрень, подал мне трап и помахал ладошкой. Больше никого на пирсе не было. Над всей гаванью заревело из динамиков:

— Восемьсот пятнадцатый, отходите! Восемьсот пятнадцатый, отдавайте концы!

Старпом в рубке горделиво стоял у штурвала. Рад был ужасно, что кеп ему доверил отчаливать.

— Вахтенный! Отдать кормовой!

Тот же мужичонка подал мне конец, и я вышел под рубку, ждал, когда борт отвалит от стенки.

— Что молчишь? — спросил старпом.— Конец отдал?

— Порядок,— говорю,— можете отчаливать.

— Надо говорить: «Чисто корма!»

— Знаю, как надо говорить.

Чудо, что за пароход. Как будто один я отчаливал. Не считая, конечно, старпома.

Машина встрясла всю палубу дребезгом, и винт за кормой всхрапнул, взбурился черную воду. Борт начал отходить, и я пошел на полубак. Старпом мне крикнул вдогонку:

— Отдать носовой!

Опять мы с тем мужичонкой встретились. Он сделал свое дело, хлопал рукавицами себя по груди, по ляжкам и сказал мне:

— Счастливи в море, парень!

— Ага. Бывай, отец.

Мы уже отошли на метр — в слабом свете плескалась мазутная вода между бортом и стенкой, плавали в ней щепки и мусор,— и я пошел закрепить леер, где раньше был трап.

Вдруг меня оттолкнули: какая-то девка с плачем, охая кинулась с борта на причал. Едва-едва достала до пирса, одними носочками — и испугалась, заплакала чуть не навзрыд. За нею выскочил Шура — в одной рубашке, без шапки. Он ей орал:

— Мне все про тебя скажут, не думай, не утаишь!

— Шура! — Она шла по причалу, прижав руки к груди, платок ей закрывал половину лица. — Как ты так можешь говорить! В гробу я с ним лежала!

— Я тя люблю, поняла, но услышу про твоего Венюшку — гад буду, все тут кончится!

— Шура!

Она отставала, уплывала назад и скрылась за рубкой. Мы разворачивались в ковше, шли к середине гавани. Я закрепил леер. Шура стоял рядом, ругался по-страшному и мотал головой.

— Жена? — я спросил.

— Да только расписались.

— Зря ты с ней так, девка тебя любит.

— Любит!.. А ты чо суешься? Твое дело? — Потом он успокоился, улыбнулся даже. — Ничего, для любви не вредно. Все равно она в Тюву завтра примчится.

— Думаешь?

— А не приедет — тоже неплохо. Громко попрощались. Запомнит.

Причалы уходили вдаль, за корму, надвигались и уходили другие причалы, корпуса пароходов. Вода, черная, как деготь, поблескивала огоньками. Над рубкой у нас три раза взревел тифон. Низко, протяжно. Кто-то издали откликнулся — судоверфь, наверное, и диспетчерская.

— Раньше не так было, помнишь? — сказал Шура. — Весь порт откликался. Аж за сопки провожали.

Он вздрагивал от холода, но не уходил, смотрел на порт.

— А тебя почему не проводили? Времени не нашла?

— Не смогла.

— Убить ее мало. Сходи погрейся, я за тебя постою.

— Не надо.

— Ну и стой, дурак. — Он пошел в кубрик.

Мы шли мимо города, проходили траверз «Арктики», потом траверз Володарской — промелькнула в огнях, стрелой, направленной в борт, и отвернула назад. С другого борта уходил Абрам-мыс, высоко на сопке мелькнуло Нинкино окошко. Потом — пошла Роста.

— Слышь, вахтенный, — позвал старпом. — В Баренцевом, сообщают, шторм восьмibalльный.

— Ничего себе.

— Повезло нам. До промысла лишний день будем шлепать.

— Нам всегда везет. Чем ни хуже, тем больше.

— А ты чего такой злой?

— Я не злой. Это у тебя поверхностное впечатление.

— Ишь ты! Ладно, притремся. Иди спать пока, до Тювы ты не нужен.

Но я не сразу ушел, а покурил еще в корме, на кнехте. Здесь шумела от винта струя, переливалась холодными блестками и отлетала во

тму, и лицо у меня деревенело от ветра. Ветер шел от норда: в Баренцевом и правда, наверно, штормило. Но мы еще не завтра в него выйдем, завтра весь день — Тюва. Если я сильно захочу, можно еще оттуда вернуться.

Мы шлепали заливом, лавировали между темными сопками, покамест одна не закрыла напрочь и порт, и город, и огоньки на Абрам-мысу.

Встречным курсом прошлепал кантовочный буксирчик — сопел от натуги, домой спешил. Кранцы висели у него по бортам, как уши. На нем тоже можно было вернуться, если сильно захотеть.

Прошла его корма, я на ней разглядел матроса — в ушанке и черном ватнике. Он, как и я, сидел там на кнехте, прятал сигарку в рукав от ветра. Увидел меня и помахал рукой:

— Счастливо в море, бичи!

Я бросил окурок за борт и тоже ему помахал. Потом ушел с палубы.

Глава вторая

СЕНЯ ШАЛАЙ

1

Веселое течение — Гольфстрим!..

Только мы выходим из залива и поворачиваем к Нордкапу, оно уже бьет в скулу, и пароход рыскает — никак его, черта, не удержишь на курсе. Но зато до промысла, по расписанию, шлепать нам семеро суток, а Гольфстрим не пускает, тащит назад, и получается восемь — это чтобы нам привыкнуть к морю, очухаться после берега. А когда мы пойдем с промысла домой, Гольфстрим же нас поторопит, поможет машине, еще и ветра подкинет в парус, и выйдет не семь, а шесть: в порту мы на сутки раньше. И плавать в Гольфстриме всегда веселей — в слабую погоду зимой тепло бывает, как в апреле, и синева, какую на Черном море не увидишь, и много всякого морского народу плавает вместе с нами — косатки, акулы, бутылконосы, — птицы садятся к нам на реи, на ванты...

Только вот Баренцево пройти, а в нем зимою почти всегда штормит. Всю ночь волна громыхала бочками в трюме и нас перекатывала в койках. И мы уже до света не спали.

Иллюминатор у нас — в подволоке, там едва брезжило, когда старпом рявкнул в капе:

— Па-дъем!

К соседям в кубрик он постучал кулаком, а к нам зашел, сел в мокром дождевике на лавку.

— С сегодняшнего дня, мальчики, начинаем жить по-морскому.

Мы не пошевелились, слушали, как волна ухает за бортом. Один ему Шурка Чмырев ответил, сонный:

— Живи, кто тебе мешает.

— Работа есть на палубе, понял?

— Какая, только из порта ушли! Чепе какое-нибудь?

— Вставай — узнаешь.

Лицо у старпома таинственное было и важное. С фингалом в придачу это смешно выглядело.

— Не, — сказал Шурка, — ты сперва скажи, чего там. Надо ли еще вставать.

— Чего, чего! Кухтыльник сломало, вот чего.

— Свисти! Сетку, что ли, порвало?

— Не сетку, а стойку.

— Это жердину, значит?

— Ну!

На нижней койке, подо мною, заворочался Васька Буров, артельный. Он самый старый среди нас и с лысиной, мы его с ходу назначили главным бичом — лавочкой заведовать.

— Что ж ты за старпом?— говорит.— Из-за вшивой жердины всю команду перебудил. Одного кого-нибудь не мог поднять?

— Тебя, например?

— Не обязательно меня. Любого. Волосан ты, а не старпом!

Тот озлился, пятнами пошел.

— А мое дело маленькое, сами там разбирайтесь. Мне кеп сказал: найдется работа — всех буди, пускай не задёживаются.

— Я и говорю: волосан. Кеп-то сказал, а работы нету. А ты авралишь.

Старпом поскорей смылся. Но мы тоже не улежали. Покряхтели да вышли. На судне ведь ничего потом не делается, все сразу. Хотя этот кухтыльник и не понадобится нам до промысла.

Горизонта не видно было, сизая мгла. Волна — свинцовая, с белыми гребнями — катилась от норда, ударяла в штевень и взлетала толстым желто-пенным столбом. Рассыпалась медленно, прокатывалась по всей палубе, до рубки, все стекла там залепляла пеной и потом уходила в шпигаты не спеша, с долгим урчанием. Чайки носились косыми кругами с печальным криком и присаживались на воду: в шторм для них самая охота, рыба дуреет, идет к поверхности. И заглатывают они ее, как будто на неделю вперед спешат нажраться: только мелькнул селедкин хвост в клюве — уже на другую кидаются. Смотреть тошно.

Мы потолкались в капе и запрыгали к кухтыльнику. Ничего с ним такого не сделалось, стойку нужно было выпилить метра в полтора, обстругать и продеть в пегли. Работы — одному минут на двадцать, хотя бы и в шторм. Но мы-то вдвоем вышли! Это значит на час, не меньше. Потому что работа — на палубе, а кто ее должен делать? Один не будет, если восемь останутся в кубрике. Он будет орать: «Я за вас вкальваю, а вы ухо давите!» И пошла дискуссия.

В общем, и полутора часов не прошло, как управились, пошли в кубрик сушиться. А кто и сны досыпать; кандей еще на чай не звал. И тут возле капа увидели наших салаг — Алика и Диму, которых с нами не было на работе. Алик, как смерть зеленый, свесился через планшир и травил помалу в море. А Дима его держал одной рукой за плечо, а другой сам держался за вантину¹.

Дрифтер, который всей нашей деятельностью заворачивал, сказал ему, Диме:

— На первый раз прощается. А вперед запомни: когда товарищи выходят, надо товарищам помогать.

Дима повел на него раскосым своим, смешливым взглядом.

— Я вот и помогаю товарищу.

— Травить помогаешь? Работа!

Дима сплюнул только и отвернулся. И правда, говорить тут было не о чем. Но дрифтер чего-то вдруг завелся. Он еще после кухтыльника не остыл:

— Ты не отворачивайся, когда с тобой говорят, понял?

Дима не повернулся.

¹ Вантина, множ. ванты — боковые оттяжки мачты.

— Понял или нет?

— Со мной не говорят, на меня орут,— Дима ему ответил через плечо.— А я в таких случаях не отвечаю. Или отвечаю по-другому... На первый раз прощается.

Дрифтер как вылупил рачьи свои глаза, так и застыл. У него даже шея стала красной. Он, правда, и не орал на салагу, просто у него голос такой, ему по ходу дела много приходится орать на палубе. Но салага все равно был на высоте, а дрифтер уж лучше молчал бы. Вообще он мне понравился, салага. Он мне еще в Тюве понравился, когда сети грузили. Понюхал и сказал Алику: «Лыжной мазью пахнут». Сколько я их перетаскал, а вот не учуял — и в самом деле лыжной мазью.

— Ты сперва руку брось с вантины!— Дрифтер уже и впрямь заорал, встал над ним с кулачищами. У нас еще боцмана бывают добренькие, ну а дрифтеру всю палубную команду нужно в кулаке держать, так что кулаки у него дай бог.— А то еще на трех ногах стоишь на палубе!

— Пожалуйста,— сказал Дима.

Тут из ребят кто-то, Шурка вроде Чмырев или Серега Фирстов, толкнул дрифтера, увел в кап, и мы всем хором скинулись по трапу в кубрик. Сели в карты играть, покамест кандей не позовет. Серега достал засаленную колоду и роздал по шестям. Пришел еще боцман наш, Кеша Страшной,— ну, на самом-то деле он не страшной, а симпатичный, в теле мужичок, с чистым лицом, как с иконы, в довершение еще бородку начал рóstить. До порта побалуется, а там жена все равно потребует сбрить. О чем мы тут заговорили? Да, боцман-то и начал мораль нам читать — на что мы времечко золотое убиваем, карты у нас с утра, лучше бы книжки читали.

— Все поняли,— Шурка ему говорит,— садись теперь с нами, а то у нас игра не заладится.

— Вот кеп вас застукает, он вам наладит игру.

— Хе!— сказал Шурка.— Хотел бы я поглядеть на такого кепы, который к матросам ходит в кубрик.

Боцман взял карты, разобрал их и вздохнул.

— А вообще-то на судне не положено. Это игра семейная.

— А мы что, не семья?— спросил дрифтер.— Мы и есть семья.

Тут как раз и явился Дима, взял полотенце с койки и сказал — так, что мы все услышали:

— Семья! Ничего себе семья.

Мы положили карты лицом вниз, поглядели на него. Он был матовый от злости, на скулах вздулись желваки.

— Ну, как он там?— спросил дрифтер.— Все дразнит тигра?

— Не понимаю шуток,— сказал Дима.— Человеку плохо, а вы зубы скалите. Что за подончество!

Сказать между нами, дрифтер-то спросил из самого милого сочувствия. Он уже забыл начисто, как он орал на палубе. И из-за чего орал. Потому что палуба — одно, а кубрик — совсем другое. Там свои интриги, а в кубрик пришли — все забыто, сели играть, ходи с шестерки. Но салага-то этого не знал.

— Ты озверел? — У дрифтера глаза на лоб полезли.— Чем я тебя обидел?

— Да нет, все в порядке. Это я тебя обидел. Если не повторится, возьму свои слова назад.

Дима кинул полотенце через плечо и пошел. Мы опять взяли карты. Но что-то нам теперь не игралось.

— Берут же инвалидов на флот! — сказал дрифтер.— И мытарься с ними. Еще и рот разевают, дерьма куски.

Я положил карты снова лицом вниз и сказал ему:

— Ты, дрейф, еще не понял, что ты сам кусок? Ты этого на палубе не понял? Так я тебе здесь, в кубрике, могу объяснить.

— Ну, кончили.— Шурка поморщился.— Не заводись.

Но я уже завелся. Меня вот это дико бесит — как мы друг к другу относимся.

— Салага тебе урок дал — другой бы со стыда помер. Но ты не помрешь, не-ет! С таким-то лбом стоеросовым — жить да радоваться.

— Ладно, они тоже не помрут,— сказал боцман.— Злее будут.

— Зачем же злее, боцман?

— Зачем! На СРТ пришли. Тут им не детский сад.

— А ну, валяйте тогда. О чем еще с вами говорить!

— Нет уж, поговорим, Сеня,— сказал дрейфтер. Лицо у него побелело, ноздри раздулись.— Ты же мне объяснить хотел. А не объясняешь. Только ругаешься. Лучше-ка вот я тебе объясню. Ведь мы, Сеня, такие деньги получаем — ты их нигде не заработаешь: ни на заводе, ни в колхозе. Значит, работать надо со всей отдачей. Так мы еще с салагами будем возиться, учить их по палубе ходить? Они-то что думали — придут на траулер и сразу нам будут помощники? Нет, Сеня, они этого не думали. А это, как ты считаешь, по-товарищески? Они моряками станут, когда мы последний груз наберем и в порт пойдем — денежки считать. Вот где от них-то помощь будет! А покамест они нам на шею камень. Они это должны усвоят. И рот не разевать, когда их уму-разуму учат.

— Ты научишь! В ножки тебе поклониться за такое учение.

— Валяй сам тогда учи. Если такой добрый.

Плечи у него выперли тяжело под рубашкой. И все он сверлил меня своими глазками. Устал я с ним говорить.

— С отдачей — это как, дрейф? Доску всем хором приколачивать? А кто не вышел — всем хором на того и кидаться? Не будет у нас этого на пароходе!

Боцман засмеялся, сказал, глядя в карты:

— Откуда ты знаешь, Сеня, как у нас будет на пароходе? Как сложится, так и будет.

Васька Буров на своей койке вздохнул, отвернулся к переборке.

— Охота вам лаяться, бичи, на пустое брюхо. Чаю попьем и лайгесь тогда до обеда. А так-то скучно.

— И правда.— Серега стал собирать карты.— Что-то не шевелится кандей.

В кубрике еще один сидел, Митрохин некто. Совсем унылая личность. Я только заметил за ним — он с открытыми глазами спит. Даже ответить может во сне, такой у человека талант. Но хуже нету, если он тебя на вахте сменяет. Будят его ночью: «Коля, на руль!» — «Ага, иду». Тот, значит, возвращается в рубку, стоит за него минут пятнадцать, потом отдает руль штурману, снова приходит будить: «Коля, ты озверел? Ты ж не спишь, дьявол!» — «Нет, говорит, иду уже». А сам спит дремучим сном.

Так вот он сидел, слушал, морщины собирал на лбу, потом высказался:

— А вообще у нас, ребята, этот рейс не сложится.

Дрейфтер повернулся к нему, его стал сверлить.

— Как это — не сложится?

— А не заладится экспедиция. Все как-то наось пойдет. Или рыбы не будет. Только не возьмем мы план.

— Свистишь безответственно! Ты скажи — какие у тебя предчувствия?

— Не знаю. Не могу точно сказать.

— Не знаешь, а свистишь.

Митрохин опять в свои думы ушел, лоб наморщил. Может, у него и в самом деле предчувствия? Я чокнутым верю. Всем как-то грустно стало.

Я поднялся, вышел из кубрика. Наверху, в гальюне, Алик стоял над умывальником, а Дима, упершись ногой в комингс, держал его за плечо, чтоб его не било о переборки.

— Полегчало?

Алик поднял мокрое лицо, улыбнулся через силу. Он уже не зеленый был, а чуть бледный, скоро и румянец выступит.

— Господи, сколько волнений! Это ведь со всеми бывает?

— Со всеми. С одними раньше, с другими — потом.

— С тобой тоже было?

— И со мной.

Он поглядел в дверь на сизую тяжелую волну и сам потемнел.

— Ты не смотри, — я ему посоветовал. — Вообще приучайся не глядеть на море.

— Это интересно. — Алик опять улыбнулся. — Зачем же тогда плавать?

— Не знаю, зачем ты пошел. Меня бы спросил на берегу — я бы отсоветовал.

— Как-то ты нам не попался, — сказал Дима.

Я пожал плечом. Алик утерся полотенцем и сказал бодро:

— Все нужно пережить. Зато я теперь знаю, как это бывает.

— Да, — говорю, — повезло тебе.

Он и не узнал, как это бывает. Со мной-то не было, но я других видел. Вышли мы как-то на крейсере на учения, и — шторм баллов на девять. Эти-то калоши рыболовецкие вместе с волной ходят, валяет их с борта на борт, а на крейсере из-под тебя палуба уходит — будь здоров, как себя чувствуешь. Одного новобранца как вывернуло — десять суток в койке пластом лежал, языком не шевелил. Хорошо, что уследили за ним: взял карабин, ушел в корму — застрелиться хотел. Или вот тоже — на «Орфее»: пошел с нами один, из милиции. Все похвалялся, что он приемы знает, любого может скрутить. А за Нордкапом его самого скрутило — уполз на ростры, поселился в шлюпке под брезентом, там и пересидел. Я, помню, принес ему с камбуза миску капусты квашеной — говорят, помогает, — да он на нее и смотреть не мог, смотрел на волну, не отрываясь. «Я знаешь чего решил, говорит. На тринадцатый день, если эта боляга не кончится, прыгаю в воду». А в глазах тоска собачья, мне тоже прыгнуть захотелось, с ним за компанью. Мы уже думали — связать его, пускай в кубрике лежит, но на двенадцатый день кончилось, и он сполз оттуда, списался на первой базе. Теперь снова в милиции служит.

Кандей наконец позвал с кормы:

— Чай пить!

В салоне мы все следили за нашими салагами. Диме-то все нипочем, держался, как серый волк по морскому ведомству. Сразу и кружку научился штормовать — меньше половины пролил. Алик же — поморщился, поморщился и тоже стал есть. Но это еще ничего не значит. Вот если закурит человек...

Дрифтер открыл свой портсигар, протянул Алику. Шурка поднес спичку.

— Спасибо, — Алик удивился, — у меня свои есть.

— Вот от них-то и мутит,— сказал дрефтер.— Рекомендую мои. С антиштормином.

Алик поглядел настороженно, ждал какого-нибудь подвоха. Потом все-таки закурил. Тут все и расплылось. На это всегда приятно смотреть — еще одного морская болезнь пощадила, пустила в моряки.

— Теперь посачкуй у меня, салага,— сказал боцман.— Сегодня же на руль пойдешь как миленький.

— Я разве отказывался? — спросил Алик.

Дима все понял и засмеялся. Однако слова свои назад не взял.

2

За Нордкапом погода ослабла, и мы потихоньку начали набирать порядок: из сетевого трюма достали сети, стали их растягивать на палубе, укладывать на левом борту; еще распустили бухту сизальского троса, поводков из него нарезали двадцатиметровых. Обыкновенно это на третий день делается или на четвертый, лишь бы до промысла все было готово. Но если погода хорошая, лучше сразу и начать, потому что она не вечно же будет хорошая, не пришлось бы в плохую маяться.

С утра было солнце и штиль — действительно, хоть брейся,— и мы себе шлепали вдоль Лофотен, так что все шхеры видны были в подробности, чуть присиненные дымкой. И вода была синяя с прозеленью. Чайки на нее не садились — рыба снова ушла на глубину,— иногда лишь альбатросы за нею ныряли. С вышины, дико вскрикнув, кидались белыми тушами и не выныривали подолгу,— думаешь, он уже и не появится, но нет, показался с рыбиной в клюве, только глаза налиты кровью — тяжелый же хлеб у птиц! Обыкновенно, когда работаешь, всего и не видишь, некогда лоб утереть, но порядок набирать — работа спокойная, можно и покурить, и байки потравить, и поглядеть на красивый берег.

Мы как раз и разлеглись в сетях, дымили, когда боцман привел их ко мне — Алика, значит, и Диму.

— Вот,— говорит,— это у нас Сеня. Матрос первого класса. Ученый человек. Он-то вас всему и научит. Слушайте его, как меня самого.

И пошел себе, довольный, оглаживая свою бородку. Ну что ж, я на это сам почти напросился. Моряки, конечно, подняли головы — ждали какой-нибудь потехи. Это уж обязательный номер, да я это и сам люблю. А салаги стоят передо мною, переминаются, как перед каким-нибудь капитан-наставником.

Хорошо, я сел и сказал им — Алику, значит, и Диме:

— Начнем,— говорю,— с теории. Она, как известно, опережает практику.

— Не совсем точно,— Алик улыбнулся,— она ее и подытоживает.

— Кто будет говорить? Я буду говорить или ты будешь говорить?

— Пардон,— сказал Дима.— Валяй, шеф.

— Первый вопрос. Каким должен быть моряк?

Моряки там уже потихоньку давились.

— Ну, тут ведь у каждого свои понятия,— сказал Алик.

— Знаешь или не знаешь?

— Нет,— сказал Дима. Скулы у него сделались каменные.

— Моряк должен быть всегда вежлив, тщательно выбрит и слегка пьян. Второе. Что он должен уметь?

— Мы люди темные,— сказал Дима.— Ты уж нас просвети.

— Вот это я и делаю. Моряк должен уметь подойти — к столу, к женщине и к причалу.

Старые байки, согласен, но с них только все начинается. Салагам же, однако, понравилось. Алик, тот даже просветлел лицом.

— Теперь,— говорю,— практика. Ознакомление с судовыми работами.

— Пardon, шеф,— сказал Дима.— Мы знаем, что на клотике чай не пьют.

Ну, самый, что называется, благодатный материал. Совсем тетерю и неинтересно разыгрывать.

— А я вас на клотик и не посылаю,— говорю.— Я вам дело серьезное даю. Ты, Алик, сходи-ка в корму, погляди там — вода от винта не греется? Пар, в смысле, не идет ли?

— А это бывает?

— Вот и следят, чтоб не было.

Пожал плечами, но пошел. Дима смотрел насупясь — он-то чувствовал розыгрыш, но не знал, с какого боку.

— А ты, Дима, вот чем займешься: возьми-ка там в дрефтерском ящике кувалду. Кнехты надо осадить. Видишь, как выперли.

Тоже пошел. Скучно мне все это было до смерти. Но моряки уже, конечно, лежали. В особенности когда он поплевал на руки и стукнул два раза, тут-то и начался регот.

— Что,— спрашиваю,— не пошли кнехты? Пару надо заказать в машине, пусть немного размякнут.

В это время Алик является с кормы.

— Нет,— говорит,— не греется. Я во всяком случае не заметил.

Моряки уж просто катались по сетям. «Ну, Алик! Ну, хмырь! Не греется?» Алик посмотрел и тоже засмеялся. А Дима взял кувалду наперевес и пошел ко мне. Ну, меня, конечно, догонишь! Я уже на кухтыльнике был, пока он замахивался. И тут он как двинет — по кухтылю. Хорошо, кухтыль был слабо надут, а то бы отскочила да ему же по лбу.

— Э, ты не дури, салага. Ты ее в руках держать не умеешь.

— Как видишь, умею. Загнал тебя на верхотуру.

— Ну, порядок, волоки ее назад, у нас еще работы до черта.

— Какой работы, шеф?

Смотрел на меня, как на врага народа. А черт-те чего, думаю, у этого раскосенького на уме. С ним и не пошутить, идиолом скуластым.

— Мало ли,— говорю,— какой. Палубу вот надо приподнять джильсоном, а то бочки в трюмах не помещаются.

— Нет, шеф, это липа.

— Кухтыли надувать.

— Чем? Грудной клеткой?

— А чем же еще!

— Тоже липа.

А хорош бы он был, если б я его заставил кухтыль надувать заместо компрессора. Но это сразу надо было делать.

— Ладно, повеселились... Поводцы надо клетневать, каболкой обвязывать.

— Ничего не понимаю, но похоже на дело.

Я прыгнул, отобрал у него кувалду. Все-таки он молодец был, моряки его тут же зауважали. А этот, Алик, конечно, лапша, заездят его на пароходе.

— Продолжим практику, шеф?

— Продолжим.— Я наступил ему на ногу, потом Алику. Они, конечно, опять ждали розыгрыша.— Первое дело: скажете боцману, пусть сапоги даст на номер больше. В случае — свалитесь за борт, можно скинуть. Все-таки лишний шанс.

— А вообще между нами, девочками, говоря,— спросил Алик,— таких шансов много?

— Между нами, девочками, договоримся — не падать.

— Справедливо, шеф, — сказал Дима.

— Второе — на палубе чтоб я вас без ножей не видел. Зацепит чем-нибудь — тут распутывать некогда.

— Такой подойдет? — Дима вытащил ножичек из кармана, шелкнул пружинкой, лезвие выскочило, как чертик. — Чик — и готово!

— Спрячь, — говорю, — и не показывай. Это в кино хорошо, а на палубе плохо. . . .

— Почему же, шеф?

— Потому что лишний чик. Шкерочный возьмешь. И наточишь поострей, обе стороны.

Мне еще многому пришлось их учить — и узлы вязать, и поводцы койлать в бухточки, и марку накладывать, чтоб трос на конце не расплеснивался, и сетную дель укладывать. Много тут всякой всячины. Меня самого никто этому не учил. Ну, правда, я с флота на флот попал, но тут и чисто рыбацкой премудрости было с три короба, а этому уже и не учили.

Они ничего соображали, не туго, да тут и недолго сообразить, если кто-нибудь покажет толком. Найти только нужно, кто бы и мог объяснить, и хотел. Я вам скажу, странно себя чувствуешь, когда расстанешься с какими-нибудь секретями. Что-то от тебя убывает, от твоей амбиции. Вот, значит, и все, что ты умеешь и знаешь? Только-то? И все равно же они всю премудрость за один рейс не постигнут. А во второй, пожалуй, и не пойдут.

— А все-таки, ребяташки, — я их спросил, — кой черт вас в море понес? Романтики захотелось?

Дима лишь усмехнулся краем губ. Алик же помялся, как девица.

— За этим ведь тоже ходят, правда?

— И находят, — говорю, — не только что ходят. Матюгов натолкают вам полную шапку, тут вы ее и увидите.

— Ну, шеф, — сказал Дима, — это мы тоже умеем.

— Да, на первое время вам и это — утешение. А если по правде — так деньги поманили?

— Шеф, это тоже не лишнее.

— И вообще интересно же, — сказал Алик, — как ее ловят, эту самую селедочку. Которая так хороша с уксусом и подсолнечным маслом.

И сам же смутился, когда сказал.

— В общем, шеф, мы этот вопрос еще сами не уяснили.

— Так. А на берегу кем работали?

Алик посмотрел на Диму. Тот быстро сказал:

— Шоферами. На грузовых. Если интересуется, можем рассказать при случае. Поговорим, шеф, за карбюратор. За трамблёр.

— Что ты! Мне этого вовек не понять.

Мы потравливали из-под лебедки стояночный трос, смазывали его тавотом от ржавчины. Алика я за ключом послал — «крокодилом», — потом дал его Диме — развить чеку.

— А работа как? — я спросил. — Нравилась?

— Не пыльная, — сказал Дима. — Временами наскучивало.

— А в смысле шишей?

— На беленькую хватало. По большим праздникам.

— И по субботам?

— Почему же нет, шеф?

Я засмеялся.

— Нет, — говорю, — по субботам уже не хватало.

Тут и Дима смутился.

— Пардон, шеф. Не понял.

— Потому что шоферами вы не работали.

— С чего ты взял?

— Просто. Ты гайку отвинчивал — сначала вправо подал, потом уже влево. Шофер так не делает.

— Ну, шеф, это еще не улика.

— Ладно, — сказал я ему, — не закипайся. Не хочешь говорить — не надо, я у тебя не анкету спрашиваю. И что ты все — «шеф» да «шеф»? Заладил тоже! Я те не таксишник.

Я ушел к лебедке смотреть трос. Они думали — я не слышу.

— Действительно, — Алик ему сказал, — чего вилить?

— Ну, скажи ему, скажи, бродяга. Чей ты родом, откуда ты. Свой будешь в доску.

А бог с ними, с дурнями, я подумал, на судне-то разве утаишься? Все про тебя узнают, рано или поздно.

День на четвертый, на пятый они помалу освоились, начали разбираться, что к чему. Еще больше вид делали, что освоились, по глазам было ясно — для них это темный лес: поводцы, подборы, сто концов извивается, не знаешь, за какой взяться. И вот слышу — Дима кричит Алику:

— Брось ты эту веревку, мы одну и ту же койлаем. Вот эту бери, у меня под сапогом.

И берет Алик эту самую «веревку», мотает себе на локоть одной левой. А правая у него в кармане. Я его отозвал и сказал по-тихому:

— Не дай тебе бог, салага, работать одной рукой! Что ты! Заплюют тебя, замордуют, живым не останешься.

— А кому какос дело, — спрашивает, — если я одной могу?

— Тем более и двумя сможешь. Надо, чтобы обе были заняты. И Димке это скажи.

— Это интересно!

— Ну, не знаю. А мой вам совет.

Однако не вняли они. А лишней руке кто же на палубе дела не найдет? Димку, правда, не очень стали гонять, он и послать может куда подалее, а этот — отзывчивый, рад стараться.

— Алик! — ему кричат. — Ты что там стоишь, делать тебе не хрена, сбегай к боцману, иглу принеси и прядины.

Алик не стоит, он ждет, когда ему поводец дадут — закрепить на вантине. Но бежит, приносит иглу и прядины.

— Алик! Иди-ка брезент стащим, я в трюм слазаю.

— Но у меня же...

— Без тебя справятся!

Тащит Алик брезент.

— Алик, куда ты делся? Вот это — что за концы висят?

— Не знаю.

— А тебя и поставили, чтобы знать. Закрепи, а после бегай.

Распугался он с поводцами, лоб вытер. Теперь ему бондарь командует:

— Алик! А ну поди сюда!

— В чем дело?

— В той самой. Обручá осаживать.

Бочек тридцать он задумал, бондарь, для первой выметки приготовить, и мы ему с Шуркой помогали. Справлялись вполне, салага нам был не нужен. Тут уже я не вытерпел.

— Иди назад, — я сказал Алику. — И стой, где стоишь. Всех командиров не слушай.

Бондарь усмехнулся, но смолчал, постукивал себе ручником по обручу. Руки он заголил до локтя — узловатые, как у гориллы, поросшие рыжим волосом. С отхода мы как-то с ним не сталкивались, я уже думал: он меня не запомнил. Но нет, застрял я у него в памяти.

— Ты жив еще, падло?

Улыбнулся мне — медленно и ласково. Глаза водянистые наполовину прикрыты веками.

— На, прими, — я ему откатил готовую бочку.

— И курточка твоя жива?

— В порядке. Мы чего с тобой не поделили?

— И в начальство пробиваешься?

Я засмеялся:

— Олух ты. В какое начальство? Над салагами?

— А приятно, когда щенки слушаются? Ты старайся, в боцмана вылезешь. Меня еще будешь гонять.

— Тебя-то я погонял бы!

А сами все грохаем по обручам. Шурка к нам прислушивался, потом спросил:

— Об чем травите, бичи? Мне непонятно.

— А нам, — я спросил, — думаешь, понятно?

Он поглядел подозрительно на нас обоих и сплюнул в море через борт.

— В таких ситуациях одному списываться надо. Советую.

— Пускай он, — говорю.

Бондарь ухмыльнулся и смолчал.

А салаги — я как-то вышел из капа, они меня не видели за мачтой — стояли одни на палубе, и Дима втолковывал Алику:

— ...Природа, создавая нас двуногими, не учла, что мы еще будем моряками. Но есть один секрет. Шеф тебе не зря сказал: «Не смотреть на море». Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней наклоняются, с ней и выпрямляются. А у тебя устают вестибулярный аппарат. И все время хочется за что-нибудь схватиться.

— Все ясно, — Алик говорит, — и свежее дыхание пассата холодит нам кожу.

Ушли довольные. Только все за что-нибудь да хватались. А я встал на их место — интересно же, как это я хожу. И на что же я при этом смотрю? На палубу или на горизонт? Смотрел и вдруг сам за подстрельник схватился. А ну их в болото, так еще ходить разучишься.

3

— Смысл жизни ищут, — сказал я «деду». — Никак не иначе.

Мы у него в каюте поздним вечером приканчивали ту самую бутылку.

— Так, значит? — сказал «дед». — Ты-то уже бросил его искать?

— Оставил покамест. На период лова.

— И это хорошо. Но что-то не нравишься ты мне. Рассказываешь, а — брюзжишь. Стареешь ты, что ли?

— Может, я и старею, — согласился я с «дедом». — Но дурью зато не пробавляюсь. Что они, своим делом заняты? Книжечек, поди, начитались, ну и пошли...

— Так это же и прекрасно, Алексейч! Начитались и — пошли. Другой и начитается, а не пойдет. Нет, это ты зря про них. Сейчас хорошая молодежь должна появиться, я на нее сильно надеюсь. Мое-то поколе-

ние — страшно подумать, кто голову сложил, кто руку-ногу на поле оставил. Да и кого не тронуло — тоже не всякому позавидуешь. А тут что-то упрямое, все пощупать хотят, ничего на веру. Такой-то дурью пробавляться — лучше, чем с девками по броду шастать.

Я улыбнулся. Мне с ним не хотелось на моральные темы заводитьсь, тут ни я не силен, ни он.

— А чем плохо! Если есть такая возможность. Я бы сейчас пошастал!

«Дед» тоже улыбнулся и чокнулся со мной.

— Хватит тебе. Ну, поплыли.

Мы допили и поглядели в пустые кружки. «Дед» закричал, будто с досады, опустил окно и выкинул бутылку — она промелькнула над планширом, красная от бортового огня, и исчезла в брызгах.

— Теперь у нас по плану трезвость, — сказал «дед». — До апреля.

Он локтем оперся на раму и смотрел в темноту, старые его волосы шевелились от ветра. Погромыхивала неприкрытая дверка на мостике или еще какая-нибудь железяка, и машина стучала под полом, и слышен был винт — то ровно он лопотал в глубине, а то вдруг взборматывал и шлепал. И так я затосковал вдруг — о Лиле. С каждым оборотом все дальше я от нее, уже мы вторую тысячу разменяли. И обиды у меня уже не было на нее. Мало ли отчего не приходят. Может, вдруг заболела, или очкарик не передал ей, что я звонил. И с чего я взял, что она все слышала? С секретаршей он там какой-нибудь шептался.

— А с этой что... не выходит у вас? — вдруг спросил «дед». Я чуть не вздрогнул. — Которую в «Арктике» ждал.

— Почему — «не выходит»?

— Я так спрашиваю. Ты ее, по-моему, и на причале высматривал. Может, мне показалось.

— Ничего я не высматривал.

«Дед» не ответил. Но мне хотелось, чтоб он еще спросил. Зря я его так сразу осек.

— Понимаешь, «дед», она вообще не местная, все законы знать не обязана. Ну, и тем нравится баба, что не похожа на других. Скажешь — нет?

«Дед» слушал меня и морщился от ветра. Потом сказал:

— Тебе женщина нужна, Алексеич. А не баба.

— Есть разница?

— А ты не чувствуешь? Все это чепуха собачья: «обещала — не обещала», «обязана — не обязана». Бабская терминология, ты уж меня прости.

— Постой. Когда тебя твоя ждала — столько-то лет! — ты считал — так и должно быть?

— Нет. Не считал.

— Но все-таки надеялся?

Он помотал головой, глядя все туда же, в темноту.

— Тоже бабская терминология: «надеялся — не надеялся».

Я засмеялся.

— Ты кержак, «дед». Вымерший человек. Но говоришь занятно. Жалко вот, все выпили.

— Потерпи, — сказал «дед». — Я на плавбазе достану. Монахи мы, что ли?

Я вот о чем подумал: хорошо бы нам где-нибудь поселиться рядом. Он вот отплавает свой последний рейс, а я свой, и мы возьмем наших женщин и увезем их. Куда-нибудь в Россию. Где трава и лес. И речка недалеко. Есть одно хорошее место возле Орла. Как раз то, что нужно.

Там бы мы себе отгрохали дом из бревен. Я бы только мать еще забрал из города, сколько же старухе одной вековать! Нам бы так славно жить, кто нам еще нужен! А работа везде найдется. На худой конец, плоты пригонять по Оке: там лесопилка неподалеку. Или на дебаркадере. А совсем бы хорошо — мы бы с «дедом» устроились на речной пароходошкo туристов возить, показывать им всякие церквушки, места боев, братские могилы. «Дед» — и за капитана и у машины, а я концы отдавать, рвать билетки, ухаживать за всем судном. И читать — я столько еще не успел! Хотя я и так всего навидался. «Дед» бы еще увидел моих детей. Будут же они у меня когда-нибудь. И уж я их, сволочей, выучу, как жизнь понимать, они у меня глупостей валять не будут... Почему это все — нельзя? Только ведь захотеть. Энергии у меня до черта лысого. Только вот чего я хочу — я и сам не знаю. Я так все могу придумать, с такими, брат, тонкостями, что самому и расхочется. Вот я хотел уехать с Лилей, начать другую жизнь. Теперь она ее с кем-нибудь другим начнет. И если на то пошло, я как-то не очень и жалею. Иногда вдруг занает, но справиться можно, это еще не такая мура, от которой лезут на переборку.

— «Дед», я пойду, пожалуй.

Он засуетился, достал из шкафика книжку и сунул мне. Потом отобрал, надел на нос очки в железной оправке. Книжка была — «Судовые двигательные установки».

— Мы уж тут говорили, — сказал «дед», отчего-то смущаясь, перелистнул пару страниц. — Первая глава тут заковыристо, а дальше все пойдет. Что не ясно, я тебе на нашем диалекте объясню.

— Добро, — я ее сунул под куртку, — читаем обязательно.

— До порта ты помалу весь курс пройдешь. Сам не заметишь. А на берегу экзамен сдадим, в следующий рейс пойдешь у меня мотористом.

— В следующий! Тебе же — на пенсию.

— Ну, может быть, и нет. Все, знаешь, вилами по воде...

Я вышел, встал под рубкой. Вода блестела, как чешуя, переливалась от носовой струи, и далеко-далеко, за тридевятью морями, мерцали огоньки на Лофотенах. Воздух был дикий, пьяный, как спирт. Ничего мне еще не поздно, я подумал, жалко только, что «дед» этого не дождется. Он и вправду стал дедом, хотя у него внуков не было. И сыновей тоже. Не считать же меня, охламона.

Крайнее окно в рубке было опущено, вахтенный штурман — третий — мурлыкал чего-то и кутался в доху. Смотрел на звезды. А кто на руле — я не узнал, он снизу был освещен, из нактоуза, подбородок и ноздри в огне.

Я вдруг забалал сапожищами — черт знает с какой стати, — запел гнусаво:

Теплоход в дальний рейс уп-плыва-а-ает...

Не уйти никуда от пррра-тя-нут-тых рук!

У люб-бви берегов а не быв-ва-ает,

А у люб-бви н-не быв-ва-ет прраздук!

Штурман зачертыхался, врубил прожектор и жарил меня в спину. пока я не смылся в кап. Вот какая почесть! А все-таки поднял я ему настроение, будет о чем посвистеть с рулевым.

В обоих кубриках не спали еще. У соседей пилила гармошка: «И только одна ты, одна виновата...» Я хотел зайти — да там этот Ребров, бондарь, лучше на его территорию не заходить, — пошел сразу в наш. Тут были дела серьезные — Шурка Чмырев с Серегой Фирстовым сидели у стола за картами. Дрифтер всей тушей ерзал по лавке, заглядывая то к одному, то к другому и хлопал себя по ляжкам. Истомился

от раздвоения личности — игра еще на равных шла, а он всегда за того, кто выигрывает.

Увидел меня — потянул носом.

— Ах! — говорит.— Коньячком запахло. Заходи, Сеня, быстрее и дверь закрой, а то жалко — развеет.

Шурка с Серегой подняли головы, поглядели затуманенным взором и снова в карты.

— «Фокушорчик» там или три звезды? — спросил дрифтер.

— Там уже ни одной.

Он вздохнул горестно.

— Жалко, я с кепом блат не завел. Хорошо бывает к начальству в гости зайти.

Я стал снимать куртку, и тут выпала книжка. Я и забыл, что она под поясом. Он сразу на нее кинулся.

— «Судовые двигательные установки». Ай, Сеня! Переквалифицироваться решил. По пьянке или всерьез?

— Дай сюда.

Но у него отнимешь, он уж ее за спину упрятал. Я скинул курточку, сапоги и полез в койку. Там зажег плафончик и задернул занавеску. Тут же он ее отдернул. Засопел над ухом:

— Сень, подыши на меня. Что ж ты, эгоист такой, от общества укрываешься?

Невозможно на него озлиться. Я дохнул — он замурлыкал, зажмурился.

— Ах, какая жизнь настала! А за чей счет пьете, Сеня? Ты «деду» ставишь или он тебе? Я вот все думаю: какой ему резон бича захмеливать?

— Отлипни! — сказал ему Шурка.— Ты сам крохобор, так тебе за всю биографию никто чекушки не выставит. А ты, земля, чего стесняешься, двинь ему по клыкам.

— Играй,— сказал Сереге.

Дрифтеру стало скучно. Отдал мне книжку.

— Читай, Сеня, грызи науку. Зато уж потом! Галстук нацепил и лежи в каютке, ножки кверху, за тебя машина уродуется.

— Механики, они тоже для чего-то вахту стоят,— сказал Шурка.

— Конечно, не при коммунизме живем, надо ж хоть пальцем пошевелить. Маслица подлить, на манометр поглядеть. Но только это «уход» называется, а не «работа».

— А механиков слушаешь — лучше палубной работы на всем пароходе нету. Палубные чем дышат? Диким воздухом. А механики? Соляркой, маслом горелым...

— Повару хорошо. С «юношей»,— Васька Буров высказался.— Они у плиты греются. В любой час пожрать могут.

— А еще лучше радисту,— сказал Митрохин.— У него каюта отдельная на «голубятнике». Кто его там проверит — работает он или сачкует.

Дрифтер спросил у него:

— Азбуку Морзе надо знать или не надо? Ты ее когда-нибудь выучишь, сразу? Или — в передатчике разобраться. Лучше всего штурманом. Вахту отстоял — и лежи.

— Тогда уж лучше кепу,— сказал Шурка.

— Башка! Кеп за все отвечает. И за улов, и за моральное разложение. И чтоб ты за борт не упал «по собственному желанию». Кеп рыбу ищет. А механики со штурманами — это уж точно, бездельники.

— Голова у тебя! — сказал Шурка.— Не понятно, зачем ты дрифмейстером ходишь? Почему не механиком?

Дрифтер почесал в затылке, вздохнул:

— Так уж мне больше нравится. Я человек трудящийся.

— А я думаю...

— Ты не думай,— сказал Серега.— Ты играй.

Дрифтер опять к ним подсел. А я открыл книжку: «Судовые двигательные установки служат основным или вспомогательным средством... Подразделяются на... Топливом для них являются...»

— Тишина,— дрифтер прошептал.— читает!

Но я уже не читал, а смотрел в подволок — у меня над самым лицом. Потом я ее закрыл аккуратно и положил под подушку. А вынул другую — Ричарда Олдингтона, «Рассказы». Я прочел один, начал второй, но как-то он меня не забрал, этот Ричард Олдингтон. Там все какие-то рассуждения были, а сюжета не было. Сдуру я его взял. В судовой библиотеке у нас книжек восемьдесят, и каждый, конечно, хватает какую потолще. Чтобы уж весь рейс одну читать. Разновесов не любят: все, говорят, в башке перемешивается, кто за кого замуж вышел. Я тоже себе не тоненькую отхватил, но я-то у этого Ричарда Олдингтона читал одну вещь, «Все люди враги», так вот то действительно была вещь. Давно я ее читал, еще на крейсере. Командир правой полубашни мне посоветовал. «Зачти, говорит, эту вещицу. Похабели тут, правда, много, но знаешь — дергает!» Я зачел и не оторвался. Только там конец, по-моему, испорчен. Так хорошо у них все начиналось, у этого парня, главного героя, с этой женщиной; и так тревожно за них: чуть не плачешь, когда война и они расстаются, даже забыли друг про друга. А вот когда они снова встречаются с такими трудами да после всего, что каждый из них пережил, тут и пошла бодяга — все он ей покупает какие-то шмотки; ничего ему, видите ли, для нее не жалко, и в чем-то они все время извиняются друг перед другом. Говорить им, наверно, не о чем. И жить вместе ни к чему. Лучше бы им теперь расстаться по-хорошему. Или, может быть, лучше было этому Ричарду Олдингтону тут и оборвать, где они только-только встретились. Ну, может, я не так все понял. Но неужели они тоже стали врагами?.. Командир правой полубашни со мной не согласился. Но оказалось, он ее не дочитал.

Эти «Рассказы» я тоже отложил. Перевернулся, свесил голову через бортник. Подо мною Васька Буров уткнулся в какой-то талмуд — от туда лишь бороденка его торчала и шевелилась.

— Васька, ты чего читаешь?

— Не знаю. Сень, заглавие оторвано.

— А стоящая литература?

— Что ты! — Он мне улыбнулся блаженно, показал реденькие зубы.— Одна Оксана чего стоит!

Ну вот, думаю, и хорошо, есть, на чем душе успокоиться. Я стал смотреть, чем другие заняты.

Салаги, сбросивши сапоги, уселись на нижнюю, Димкину, койку — разучивали узел. Как я понял — «морскую любовь». Наверное, дрифтер им показал. Чтоб загладить конфликт. Это вяжется шлагов двадцать или тридцать, есть разные варианты, кажется — вовек не распутаешь, но тянешь за оба конца — и он весь отдается. Занятное, я вам скажу, рукоделие.

А чего наш чокнутый делал, Митрохин? Авоську сплетал из серой прядины. Безо всякого там крючка, пальцами. Это он рано еще начал, ближе к порту и другие начнут их плести. Зачем, вы спросите? Не знаю, его ведь учили маты плести, концы сплеснивать, бензеля — куда же это все денется? В порту он ее жене подарит или теще, они ее назавтра же

выкинут и купят в магазине капроновую, цветную. Копеек десять это будет стоить. Или двадцать, я их ни разу не покупал.

Димка и то сказал с усмешкой:

— Столько мороки за гривенник!

Но дрифтер ее взял, разглядел на свет и спросил у Димки:

— Зачем солдаты в окопе ложки кленовые вырезают — знаешь?

— Ну? — спросил Димка. — Зачем?

— А вот и сами не знают. За голенищем алюминиевая лежит, казенная.

А Шурка с Серегой заканчивали кон. Жулили они отчаянно, но не обижались друг на дружку, у нас без этого не играют. Вот уж когда расплата настает, тут без дураков, выдай товар лицом, чтоб нос торчал бушпритом и шелкать было удобно с обеих сторон. Серега в этот раз продул — играет он не хуже, а жулит плохо, нет в нем «свободы совести», как говорил наш старпом из Волоколамска. Потом они посчитались — вышло бить шестью картами одиннадцать раз. Шурка, улыбаясь злорадно, сложил их поплотнее, сел поудобней, а Серега потер нос ладошкой и выставил его — на позор и муки.

Дрифтер в большое удовольствие пришел. Теперь уж он, конечно, Шуркин был, предан ему до гроба.

— Двадцать восемь! — считал громогласно. — Двадцать девять!.. Ты смотри, как бьются!

Посмотреть там было на что. С пятого шелчка у Сереги обе ноздри горели, с восьмого — пламя кверху поползло, к бровям. Все он вытерпел, мученик, только скулы пожестче выступили и глаз пошел блеском. И быстренько стал он сдавать по новой.

— Не торопись, — сказал ему Шурка ласково. — Дай, чтоб остыло.

— Топчи его! — дрифтер орал. — Топчи лежачего!

Шурка, небрежно так, разобрал карты.

— Ну вот, ну что тут с тобой кота тянуть, козырей же навалом, готовь рубильник заранее.

— Играй! — сказал Серега. — Козырей!

Шурка подождал еще, пока он получше озверееет. Везло же ему, красавцу, — и в картах везло, и в любви.

На шум принесло к нам боцмана. Наш кубрик, наверное, самый веселый, никак его не минуешь. С толстенной книгой пришел, пальцем заложенной.

— Так! — вздохнул. — Ну что с вами делать, безнадежные вы мужики. Силком вас книжки заставлять читать?

— Начитались уже, — ответил Серега. — Надо отдых дать извилинам.

— Если б они были у тебя!

— Были, — сказал Серега, — да я их всякой мурой забил. Все одно и то же пишут. Какие все хорошие. Как им всем хорошо.

— Для тебя же, дурака, и стараются. Чтоб ты цель имел в жизни. Было бы тебе, понимаешь, на что равняться. Стремиться к чему.

— К правде, боцман, — сказал Димка. — Токмо к ней единой.

Боцман повернулся к нему:

— Закройся! Правда, ее, знаешь, не всем и говорить можно.

— Да-а? Это что-то новенькое.

— Такому вот скажи — он и будет сидеть в грязи по макушку. Скажет, что так и нужно.

— Товарищ боцман, вы большой ученый.

Боцман посопел и сказал:

— Подмести в кубрике, чтоб я ни одного окурка не видел.

— А кто уборщик? Расписания же нету.

— Вот с тебя и начнется.

Димка сказал, усмехаясь:

— Кроме того, боцман, ты еще, оказывается, волюнтарист.

— Возьми веник, салага. Сказали тебе.

— Есть!

— То-то вот. Безнадежные вы мужики!

Димка, когда он ушел, опять полез в койку. Все же освоился, салага.

Я лежал, слушал, как вода шипит за переборкой, почти у меня над ухом. Меня слегка укачивало от хода, и я летел куда-то над страшной студеной глубиной, только мне было тепло и сухо. И я было занулся, но они заговорили снова.

Восьмым у нас в кубрике Ванька Обод жил. Я вам еще про него не рассказывал. Да я его и не замечал особенно. Весь он — из сапог и шапки, а под шапкой едва его личико разглядишь наморщенное. И всегда он помалкивал и хмурился, а в кубрике сразу же заваливался в койку, только сапоги свешивались через бортик. Вот он лежал, этот Ванька Обод, покачивал сапожищем, а тут вдруг заговорил:

— Цель имел! Я ее вот лично имею. Мне цыганка посулила: «Ты, золотой, в казенном доме умрешь, тридцати семи годочков». Так мне чего беспокоиться?

Шурка привстал с картами, но так, наверное, и не разглядел его за голенищем с раструбом.

— Ванька, ты там чего?

— А ничего. Чего! Чего! Бабу свою решил пришить. Как раз времечко. Я знаю, с кем она там сейчас. А я, дурак, аттестат ей открыл.

— Ну, Ванька,— сказал Шурка, усмехаясь,— ты за морями видишь!

— Ага. За синими и за зелеными. Сам пользовался. Я с одной, прижужней, роман в Нагорном имел. Так мы на его аттестат так славное время проводили. Он вторым штурманом ходил. Что ты! Всю дорогу хмельные были.

— Приятно вспомнить!

— А нет, скажешь? Потом она его на причале встретила: «Ах, Витенька, я без тебя не жила, а прямо таяла». Вот именно, таяла. Ну, я приду — ох, если застану! Топориком это дело решу...

— Эту,— спросил Шурка,— с которой роман имел?

— Свою.

— Да как же застанешь? Она у диспетчера справится, когда у тебя приход.

Ванька там призадумался. Не понять было, травит он или всерьез. Потом опять донеслось из-за голенища:

— А вот и не узнает. Я на всю экспедицию не задержусь, спишусь на первой базе. Или на второй. У меня врачиха есть знакомая. Душевная баба, Софья Давыдовна. Глупая, сил нет. Бюллетень мне выписывала за первый свист: «Радикулит у меня, говорю, наследственный». Она и проверять не стала. «Правильно, голубчик, отдохни, надо разумно к своему здоровью относиться». А топор у меня в снях лежит. С топором и войду.

— Постой,— сказал Шурка,— а если она одна будет?

Ванька опять призадумался ненадолго.

— Одна — значит, не вышло. Да не может быть, чтобы одна.

— Да,— сказал Шурка.— Это ты прав.

Ему уже не игралось, ходил кое-как. А Серега, конечно, пользовался.

Алик вдруг подал голос:

— Почему же «не может быть»? А если она тебя любит?

— А я чего сказал? — спросил Ванька. — Не любит?

— Ну, значит, ждет...

Голенище затряслось — от Ванькиного смеха. Тряслось оно долго, Ванька смеялся с чистым сердцем, хотя голос у него надтреснутый был и хриплый. Потом он сел в койке, и шапка на нем затряслась, уши так и прыгали, он часто и шапку не снимал, когда заваливался в койку. Потом Ванька спросил:

— Ты что, маленький? Или мешком шлепнутый? Не знаешь, кого бабы любят? Они мужика любят, который рядом, понял? А когда его нету, они другого любят. Он теперь с ней рядом. Эх, салага!

— И никаких исключений? — спросил Димка с еле заметной своей усмешкой.

Ванька опять завалился в койку.

— Исключений! Мне кореш про нее написал, еще в прошлом плавании. Верный кореш, не соврет. Он ее с этим хмырем видал, как они на пару из магазина выходили. А магазин какой, знаешь?

— Нет, — сказал Димка. — Какой же магазин?

— Галантерейный. Духи продают. И чулки. И эти... бюстгальтеры. Так что он теперь ее лапает...

Васька Буров бросил свой талмуд, заворочался.

— Бичи, кончайте вы свою дурь. Я с тоски не засну.

— А ты давай, — сказал ему дрефтер, — включайся в беседу. Это не дурь, Вася, а семейная проблема.

— А я уж их все порешал давно. А до ваших мне дела нету.

— Да ты с нами-то поделись. Как они решаются.

— Так и решаются. Потрохов народи и радуйся.

Дрефтер даже подпрыгнул на лавке:

— Вот те на! Радуйся. Да у меня их четверо. Хоть в сенях спи.

Шурка с Серегой зареготали.

— Вот и хорошо, — сказал Васька. — Теперь твою бабу никто не соблазнит. А соблазнят — тоже горя мало. Главное — потрохи. У тебя они пацаны, что ли?

— Четверо военнообязанных.

Васька вздохнул с завистью:

— Я б хоть одного хотел. А то у меня обе — пацанки. Хорошие, но — пацанки.

— Плохой ты задельщик, Вася. К следующему рейсу не справишься — мы тебя артельным не изберем.

— Тебя бы вот попросить.

— Я, Вась, всегда за товарища.

— Конечно. Мозгу-то чуть, на что другое не хватит.

Дрефтер не обиделся, зареготал — со всеми за компанию. Васька повернулся лицом к переборке. Но дрефтер опять к нему пристал:

— Васька, а Васька!

— Ну чо тебе?

— Не чокай, мы те все равно спать не дадим. Ты как их зовешь, пацанок, — Сашка и Машка? Или же — Сонька да Тонька?

— Что я их — для потехи родил?

— А для чего, Вась?

— Дурак ты. Им жить надо. Имена им для жизни дают. Не просто так, корове кличка.

— Ну, дак как же ты, как же ты их, Вася?

— Как же... Одну — Неддочка. Недда.

— Ух ты! Кит тебя проглотит полосатый! А другую, Вась?

— Другую — это... Земфира.

— Ну, проглоти!

Я думал — они до слез нарегочутся.

— Не, Вась, не обидься. Заделал плохо, дак хоть назвал хорошо. Недочка, значит, и Земфира! Ах ты цыган развеселый...

Васька помолчал и вздохнул тяжким вздохом:

— Не, бичи, я вижу — вы так не кончите. Ну-ка я вам сказку расскажу!

Дрифтер запрыгал, заскрипел лавкой.

— Давай, Вася, травани чего-нибудь божественное про волков.

— Жил, значит, король. В древнее время. Молодой и распрекрасный.

— Это где же было? — спросил Шурка.

— А я почему знаю? В Турции.

— Там не король, там султан. С гаремом.

— Не базлай! — заорал дрифтер. — Шесть классов кончил, а все он знает — где король, где султан. Дай сказку слушать.

— Жил, значит, король, и служил у него кандеем один бич, с детства порченый. Горб у него был на спине.

Шурке не понравилось:

— А без горба нельзя?

— Нельзя. Тут все дело в горбе. А условие кандею такое было: каждый день новую похлебку варить. Чтoб без повтoру, иначе секир-башка. Ну, изворачивался бич. И король его за это очень любил. Как придет с охоты — сразу кандея: «Чего сегодня настряпал?» — «Суп с оленем, господин король». — «А вчера разве не с оленем?» — «Никак, господин король, вчера с кабаном». — «А завтра?» — «А с этим, как его, с медведем». — «Ну, валяй. Но если ты мне, швабра, то же самое сварить, чего я уже отведал, я те голову острой шашкой снесу и прикажу моим ближайшим помощникам съесть!» Так ему, бичу-то, жилось. А звали его Маленький Мук. Да, и вот как-то приходят три ведьмы. Мымры ужасные, из-под носа клыки торчком. Идут к этому кандею на кухню...

— Где ж охрана была? — спросил Шурка.

— Где? Вся с королем уехала, на медведя. А ведьмы — они через любую охрану пройдут. Да, и говорят они кандею: «Слышь, кандей, а хочешь — мы тебе горб исправим?» — «Как так?» — «А это наше дело. Исправим, и все. Красив будешь, как принц, и королевская дочка в тебя влюбится без памяти. Двенадцать потрохов тебе нарожает и верность будет блюсти. Ты, например, в море уйдешь, брильянты искать на дальних островах, а она хоть черным хлебушком перебьется, а верность тебе соблюдет». — «А что же я за это должен сделать?» — «А вот чего. Супа ему с оленем навари». — «Дак он уж рубал с оленем». — «Вот еще навари».

— Ать стервы! — Дрифтер опять заерзал.

— «Э,— говорит кандей,— так я не только что горба, так и головы лишусь». — «Ну как хочешь, — ведьмы сказали, — мы тебе самое легкое предлагаем». — «Да вдруг он заметит? На кого мне тогда сваливать?» — «А вот, говорят, в том-то все и дело! Тебе еще гарантию дай. Какое же с твоей стороны будет геройство?» А за королевскую дочку геройство надо было проявить.

— Это понятно, — Шурка кивнул. В карты он уже не глядел.

Ну, кандей почесал горб и думает: «Была не была. Сварю я ему с оленем. Может, он и не заметит». Приезжает король с охоты: «Супчику бы, говорит, навернул сейчас, тарелок бы восемь!» — «А пожалста, господин король, целый бак наварили». Сел король за похлебку. «Это чего, говорит, я отведаваю?» — «А что, не вкусно?» — «Вкусно, говорит,

и даже жалко, что я этого больше в жизни не отведаю». Тут у кандея надежда появилась. Вдруг его король помилует. И потом он все же честный был, кандей, до сих пор не врал ни разу. Бац королю в ножки и лбом трясет. «Ты чего это, верный Мук?» — «Виноват, господин король, вы это уже вчера рубали». Король сразу и ложку бросил. «Ах ты волосан, где моя любимая шашка?» Сразу к нему вся охрана кидается. «Вот, господин король, мою возьмите». — «Нет, уж лучше мою...» Король и на охрану озверел: «Я сказал: мне мою любимую чтоб дали! Я всю жизнь мечтал кому-нибудь этой шашкой башку снести, да все случая не было...» Побежали, значит, за любимой шашкой...

Тут Васька примолк.

— А дальше чего было? — спросил дрефтер. — Э, ты не спи! Доска-зывай. Принесли шашку, а дальше?

— Кто сказал: принесли?

— Побежали, побежали за ней.

— Вот. Побежали. Это дело другое. А шашки-то — нету.

Дрефтер чуть не до слез растрогался.

— Сперли, шалавы! Вот те и ведьмы, а?

— Ага, — сказал Васька. — Ведьмы. — Он уже совсем был сонный.

— А он, значит, не хочет другой, не любимой?

— Не-а, не хочет.

— Васька, не спи. Васька!

Васька только замычал.

— Васька, этак мы сами не заснем. Что дальше-то было?

— А не знаю. Не придумал.

— Что же ты, вражина, непридуманную рассказываешь? Это как называется?

— Завтра придумаю. Доскажу.

Дрефтер до того обиделся — чуть дверь не разнес, когда уходил к себе в каюту. А Васька дрых, конечно. Потом все же успокоились бичи, поздно уже было, улеглись. Одни Шурка с Серегой доигрывали кон, а после сводили счеты:

— Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь...

Как я понял, Серега снова продул. Наконец и он угомонился, вытянулся в койке, а на сон грядущий оглядел перед собою весь подволок и переборку. Он, как поселился, сплошь их обклеил всякими красотками. Из журналов, да и своего производства — Вальками-тузлучницами, Надьками-официантками, Зинками-парикмахершами, — с приветами, без приветов, в кофточках и так, неглиже на лоне природы, где-то он их за сопками снимал, средь серых скал, гусяная кожа чувствовалась. Он даже расписание тревог убрал, чтоб разместить всю коллекцию. Потом и Серега щелкнул плафончиком.

Тьма настала кромешная и тишина, только волна шипела близко, у меня над головой, а где-то далеко, в теплом нутре, урчала, постукивала машина. И я летел один, качался над страшной студеной глубиной. Все сказочки для меня кончились. Они-то, впрочем, давно уже кончились. Я в этом рейсе как будто впервые плавал, заново открылись у меня глаза и уши, я теперь все видел и слышал со стороны, даже себя самого. Странно, кто это со мной сделал? Может быть, эта самая Лиля? Да нет, едва ли, она уже потом появилась, а сначала мне самому вдруг захотелось совсем другой жизни, где ничего этого нет — ни бабьих сплетен, ни глупостей, ни тревоги: что там делается дома, чем будешь завтра жив. Потом она появилась — в Интерклубе мы познакомились, на танцулях. Чествовали тогда не то английских торгашей, не то норвежцев, теперь не помню, а помню, как... Ну, вы представляете — когда полон зал и накурено, хоть топор вешай, и все уже

обалдели, выпили, накричались, обмахались всякими там жетонами и значками, и уже где-то спят в углу на сдвинутых стульях, а у массовички еще регламент не кончился, хотя она уже еле ползает и хрипит, как боцман на аврале,— ей, видите ли, еще хочется, чтоб мы теперь всей капеллой станцевали «международный» танец: «Внимание! — хлопает в ладоши.— Эттэншен плы-ыз! Смотрим все на меня. Делаем, как я. И-и, раз! И-и, два! Беремся все за руки». И вот чья-то рука оказалась в моей, только и всего. Горячая, цепкая. Потом я ее в буфет повел: «Плы-ыз, леди, плы-ыз», раздобыл выпить, и мы посидели за столиком, а рядом сложил голову какой-то мулат. Иногда просыпался, подмигивал нам. Та еще была атмосфера! И я зачем-то слова коверкал «по-иностранному» — по дурости какой-то или отчего-то вдруг оробел,— а она все допытывалась: «Вы англичанин? Инглиш? Нет, вы норвежец!» Пока я ей не брякнул: «Из тутошних мы, не робей». Как она рассмеялась!.. На ней было зеленое платье с вырезом, платочек за рукавом, и волосы — копной. Потом я ее провожал. Я еще ничего не знал про нее, кто она и что она, но вдруг померещилось, что я свое нашел, и теперь я все к чертям перепахую, меня на все хватит. А вот упал — в первой борозде. Из того же я теста, что и все прочие.

Лучше-ка я вам расскажу про «Летучего Голландца» — это совсем другой коленкор. Тоже сказочка, не лучше она и не хуже, чем у Васьки Бурова, который их где-то вычитал, да все перепутал, когда рассказывал своим пацанкам. Но это все-таки не из книжки, он в самом деле приходил к нам на флот, этот парень, лет десять назад или двенадцать. Откуда он взялся — никому не ведомо. Куда потом делся — тоже. Вот он и есть Летучий Голландец — я вам рассказываю северный вариант.

4

Легенда о Летучем Голландце

(Северный вариант)

Так вот, этот парень пришел на флот еще в то время, когда сельдяные экспедиции бывали по полугоду, и залавливали рыбаки по тысяче тонн, по восемьсот в самый худой рейс, а приносили домой по тридцать пять, по сорок тысяч старыми. Может быть, селедки тогда в Атлантике было побольше, а может быть, столько же ее и было, да она еще не научилась мимо сетки ходить. Тогда на всем косогоре от причала до «Арктики» стояло двадцать девять забегаловок, стоячих и сидячих, а тридцатой была сама «Арктика», но до нее, конечно, редкие добирались. Тут-то и «выкристаллизовывалась стойкая когорта», как говорил наш старпом из Волоколамска, и ей, конечно, весь почет доставался и все уважение гвардейцев пищеблока. Шла эта когорта, не сняв роканов, в сапогах полуболотных, в касках-зюйдвестках, чуть только скатывали себя шлангами, а все-таки ей скатерки постилали крахмальные, и «Арктика» не закрывалась до тех пор, покамест последнего посетителя двое предпоследних не уносили на руках. Потому что все понимали — что такое полгода без берега! Этого только Граков не понимал, из отдела добычи, он тогда на всех собраниях призывы кидал: «Рыбаки! Возьмем перед родиной обязательство — год без захода в порт!..» Рыбаки — то есть кепы, старпомы и «деды» — слушали и помалкивали. Родину любили, план уважали, но и с ума тоже не хотелось сходить. Да Граков, наверное, на то и не рассчитывал — было бы слово сказано.

Но я не про Гракова, я про Летучего Голландца. Ладно, его оформили вторым классом, вытолкнули в рейс, а там, как бывает, кого-то

списали из-за «среднего уха» или кто-нибудь опоздал к отходу, и этого салагу переформили в первый. Потому что он сразу притерся и пошел вкалывать, как будто для этого и родился. Правда, когда штормило, ему плохо делалось, он в койке лежал зеленый, а все-таки, когда звали на палубу, выходил первым и держался других не хуже. Но в ту экспедицию шторма были не частые явления, а вот рыба хорошо заловилась, пустыря ни разу не дергали, по триста, по четыреста бочек набирали в день. И вот — полгода прошло, как одна трудовая неделя, от гудка до гудка, и радист получает визу: можно сниматься с промысла. Тогда он, конечно, вылетает из рубки пулей и орет как чокнутый: «Ребята, в порт!», и рулевой, без команды, тут же кладет штурвал круто на борт, делает циркуляцию и держит, собака, восемьдесят три градуса по точке, как никогда не держал. А машина уже врублена на все пять тыщ оборотиков, она чуть не докрасна раскалена, плюется горелым маслом, сейчас развалится... А полгоря, если и развалится, по инерции долетим! И парус, конечно, поднят на фок-мачте, и Гольфстрим подгоняет — лишь бы свой залив сгоряча не проскочили. Вот они уже прошли Лофотены, вот и обогнули Нордкап, вот и Кильдин-остров — кому видится, кому не видится. А встречным курсом идут на промысел другие траулеры и приветствуют счастливицков гудками и флагами.

И вот тут, значит, этот самый Голландец поднимается на «голубятник», подходит к капитану: «Просемафорьте, пожалуйста, встречному — не нужен ли матрос?» Я себе представляю этого кепу — у него, наверное, шары на лоб вылезли. «А тебе-то зачем? Не хочешь ли обратно на промысел?» — «Вот именно, хочу обратно». — «Нет, — кеп говорит, — я тебя слышу или не слышу? Или, может, я сдурел?» Голландец ему улыбнулся вежливо: «Просемафорьте, пожалуйста, а то они пройдут».

Ну что — просемафорили: нужен матрос. Он часто бывает нужен. Кто-нибудь опоздал или море кого-то не приняло. «Прекрасно, — Голландец говорит, — значит, я пересяду. Пускай плотик пришлют». — «Погоди, — говорит кеп, — плотик мы тебе и сами спустить можем. Но ты сначала сходи к кандею, пусть он тебя накормит, а потом покури подольше, а за это время крепко подумай. Они подождут — не в порт же шлепают». — «Зачем же? Я об этом полгода думал. Прикажете, чтоб плотик быстрее смайнали».

Ему тогда спускают плотик, он забирает чемоданчик и прыгивает не мешкая. Вся команда его отговаривала, а он и не возражал, только улыбался. Пароход отошел от него, подошел встречный и принял его на борт. На прощанье он помахал своим бичам и тут же к другим ушел в кубрик. И плавал с ними еще полгода. Тряс сети, бочки катал, укладывал их в трюме, выгружал на плавбазах. Другие к концу рейса уже одуревали, а он всю дорогу оставался таким же спокойным и ясным. При этом, рассказывали еще, кто с ним плавал, что писем он ни разу ниоткуда не получал, и радиogramмы ему не приходили, и сам он никому не писал. А все время после работы лежал в койке и читал газеты да изредка, задержав занавеску, пописывал карандашиком у себя в блокнотике. Однажды подсмотрели, без этого не обходится, так там какая-то цифирь была и ни одного слова. Но вообще-то никакой придури за ним не водилось, и был он всем свой, только всем на удивление — вот ведь плавает человек два рейса, и ему хотя бы хны. Но главное-то, никто себе в голову не забрал, что еще дальше будет. Когда завернули за Нордкап, он опять подошел к капитану: «Просемафорьте, пожалуйста, встречному — не нужен ли матрос?»

И так он это пять раз проделывал. Два с половиною года проплавал, не ступая на берег, только видел его за двадцать две мили — но это ведь и не берег, а мираж. Уже на всех траулерах знали про этого Лету-

чего Голландца, и половина портовых бичей подсчитывала, сколько же он загребет, да всякий раз со счета сбивались. Потому что за каждую новую экспедицию ему набегали какие-то там проценты и сверхпроценты — длительные, прогрессивные, полярные, штормовые и бог еще знает какие, — и на круг выходило раза в полтора больше, чем в предыдущую. В последнем рейсе он уже втрое против кепа имел, а подсчитали, что, если он в шестой пойдет, он половину пая возьмет, это уже тюлькиной конторе невыгодно! Да, но как ему запретишь? Он такой матрос был, что его не спишешь, и он ведь в своем праве — не чужое берет, горбом заколачивает. Уже, я так думаю, самому Гракову икалось — до чего его проповедь бича довела! И как прикажете стоп давать?

Но отыскиались умные головы. Дали радиограмму капитану: «При возвращении в порт — чтоб не было встречных!» А встречные тоже были предупреждены — чтоб двигались мористей. За Нордкапом этот Летучий Голландец все время торчал на палубе — кому-то он вроде бы признался, что хочет в шестой раз пойти, чтоб было три года для ровного счета, — но встречных не было. Все они шли за горизонтом, и дымка не видать. Тогда он сошел в кубрик, достал свою цифирь и подвел черту. Не вышло у него в шестой рейс пойти без перерыва, а с перерывом — ему невыгодно, опять начни со ста процентов. Вот он и подвел черту.

На причал огромная толпища сбежалась — на него посмотреть. Думали, сойдет образина, бородища до самых глаз, а глаза не людские. А он сошел — ясный, спокойный, и улыбался — глядя на землю, на камешки, на шепки там или мазутные пятна, от которых дурешь, когда возвращаешься. И сразу стопы свои направил в кассу. Однако и двух шагов не прошел — свалился, застонал от боли. Вы, наверное, знаете — какие-то мускулы в ногах слабеют, когда долго не ходишь по твердой земле, без качки, — так вот, он первые метров двести едва на карачках не полз, отдыхал у каждого столба. И вся толпища шла за ним и молчала. А когда он дополз, в кассе и денег таких не оказалось, какие он заработал. Представляете — что такое касса сельдяного флота! Так вот, там не оказалось. Пришлось к нему приставить двоих милицейских, они ему наняли такси и отвезли в банк. Милицейские потом рассказывали, что все пачки у него едва поместились в чемодане, и он оттуда выкидывал в урну сорочки, носки, свитера, белье. Моряки, из его экипажа, ожидали при входе — посидеть с ним в «Арктике», отметить прибытие. Он к ним не вышел, сидел в банке до закрытия, с чемоданом под боком. Не знаю — чего он боялся, никто б его и без милиции не тронул. Ведь он же стал легендой, кто ж осмелится испортить легенду! А может, он просто устал до смерти — и куда плавал, и когда шел от причала. Та же милиция купила ему билет на «Полярную стрелу», посадила в вагон. Больше из наших его никто не видел. И не встречался он в других местах. Вдруг как-то обнаружилось, что он ни одному человеку не сказал — откуда он, где живет.

Только слава осталась. И к ней потом все больше прибавлялось легенд. Кто говорит — он четыре года проплавал, кто — пять. Но я вам говорю — два с половиной, а я это знаю от тех, кто был с ним в последнем рейсе. Портовые-то сколько хотите прибавят, а для моряков и год — это слишком много. Вам расскажут: он был горилла, якорь мог выбрать заместо брашпиля, и зубы у него все были стальные, на спор комбинированные тросы — пенька-железо — перегрызал. Но это уже такая тухлята, что и спорить не о чем. А если вы возьмете старую подшивку — там писали о нем, когда он остался на второй рейс, — увидите его фото: самый средний он, слегка кососкулый, с белесым чубчиком, с прозрачными глазами.

Если подумать, ведь он эти деньги все равно что в тюрьме отсидел, а ради чего? Если из-за женщины, кто бы его ждал так долго? А если бы и ждала какая-нибудь, то писала бы ему, а ему никто не писал, ни одна душа. Может, он себе дом хотел отгрохать, со всем хозяйством, — и это можно выколотить, и не такой ценой. Если быть таким, как он. А он, конечно, был из другого теста. Его бы на все хватило. Я вот часто думал о нем и никак его не постигну. Но одно я знаю: мне таким не быть — это точно.

Вот и вся сказочка.

5

Мы лежали в койках одетые и ждали, когда позовут на выметку. Девятый день, с утра мы уже — на промысле. Та же вода, синяя и зеленая, и берега те же, миль за тридцать от нас, как горная гряда под снегом, и маячат норвежские крейсера — на границе запретной зоны. Но простора нет уже, столько скопилось тут всякого промыслового народа: англичане, норвежцы, датчане, французы, фарерцы — все шастают по морю, как шары по бильярду, чертят зигзаги друг у дружки под носом. А суденышки у них ничего, хотя и мельче наших, но ходят прибранные, шлюпки с моторчиками так аккуратно подвешены. И тут влезает наш какой-нибудь — черный, ржавый, все от него чуть не врассыпную. Но и то правда, никто из них больше чем на три недели не ходит, дом под боком, грех не присмотреть за судном, а наши за сто пять суток так обносятся, что в порт идти стыдно.

И ловят они тоже будьте здоровы, особенно норвежцы — они свое море знают. Бросают кошельковый невод, обносят его на моторном ботике и тянут себе кошелек — обязательно полный. А сами телевизор смотрят. Мне рассказывал один — он за борт упал и наши не заметили, а норвежцы спасли, — в салонах у них телевизоров штуки по три, не знаешь, на какой смотреть. В одном ковбой скачут, в другом — мультипликация, живот надорвешь, а в третьем — девки в таком виде танцуют... А роканы у них какие! Черные, лоснящиеся, опушены белым мехом на руках и вокруг лица, в таком рокане спокойно можно по улице ходить — примут за пижона.

Сперва мы только присматривались, как другие ловят, штурмана поглядывали в бинокли, потом и сами начали поиск. Но весь день не везло нам, эхолот одну мелочь писал, реденькие концентрации, до ужина мы так и не выметали. Теперь лежи и жди — хоть до полночи, а то и до двух, — а спать нельзя, да и сам не заснешь.

Всегда мы молчим в такие минуты. Даже салаги отчего-то примолкли, то они все перешептывались. Наше настроение им передалось. А какое у нас настроение перед первой выметкой, этого я вам, наверное, не объясню. Пароход носится зигзагами, переваливает с галса на галс, и вот-вот поднимут нас, как по тревоге. Видели вы спортсменов перед кроссом? Хочется им бежать? А ведь никто не гонит их. Вот так же и мы. Но только все, что было до этого — переход там, порядок набирали, притирались друг к другу, — все это были шуточки, а вот теперь-то главное начинается.

Волна била в скулу, разлеталась и шипела на палубе, переборки тряслись от вибрации. И сразу — утихло. Даже отсюда слышно стало, как ветер свистит в вантах. Потом винт залопотал, взбурлил, и кубрик опять затрясся — дали реверс.

— Зачем-то назад пошли, — сказал Алик.

Ванька Обод ответил ему, из-за голенища, нехотя:

— Не поймешь ты. По инерции шли, а теперь встали. Нашли ее.

— Думаешь, нашли рыбу?

— Чего тут думать? Метать надо, а не думать.

Васька Буров надел шапку, вздохнул долгим вздохом.

— Начинаются дни золотые. Рыбу — стране, деньги — жене, сам — носом к волне.

Тот же час захрипело в динамике. Старпом забубнил:

— Палубная команда, выходи готовиться метать сети.

В боцманской каюте хлопнула дверь, дрефтер загрохотал по трапу. И мы стали подбирать с полу непромокаемые наши роканы и буксы, а под них надели телогрейки и ватные штаны, сунули ноги в полуболотные сапоги с раструбами, головы покрыли зюйдвестками. И потянулись один за другим. Не спеша. Но и не мешкая.

Навстречу Шурка проталкивался, прибежал с руля. Там теперь вахтенный штурман заступил. Кто-то сказал Шурке:

— Ну, Шурка, поглядим, какую ты нам рыбу нашел.

Так уж говорят рулевому: «Посмотрим на твою рыбу», хотя он, конечно, не ищет, делает, что ему велят.

И Шурка ответил, как будто извинялся:

— Эхолот, ребята, верещит — аж бумага дымится. Ну, черти его знают — может, он планктон¹ пишет.

Может быть, и планктон. Это мы завтра узнаем. А пока что — оба прожектора зажглись, вся палуба в свету, а за бортом чернота египетская, брызги оттуда хлещут. Мы разошлись по местам, позевывая, поживаясь, упрятали шеи в воротники. А мое место — у самого капа, надо взять торцовый ключ с воротком, отдраить круглую люковину у вожачьего трюма, в пазы уложить ролик, через него перебросить конец вожака и подать дрефтеру — он его срстит с бухтой, что лежит у его ног, под левым фальшбортом. А другой конец сам уже соединяешь с лебедкой. И стой, поглядывай в трюм, как идет вожак, и покрикивай: «Марка! Срост! Марка!» — это чтобы дрефтеру заранее знать, где ему затягивать узел на вожаке, а где руки побережь от сроста.

В трюме зажглась лампочка, и в первый раз я его увидел — мой вожак: из желтого сизаля, японской выделки. Толщиной в руку. Валютой за него, черта, плачено. Он еще на вид шелковый, не побывал в море, и пахнет от него «лыжной мазью». А завтра придет ко мне серый и пахнуть будет солью, водорослями и рыбой. И сети тоже запахнут морем, зелень на них потемнеет, и порвутся не в одном месте, латать мы их будем и перелатывать.

Дрефтер воткнул нож в палубу, натянул белые нитяные перчатки. Пока они еще белые и пока еще целые. Пар сорок он в клочья сносит, пока мы вернемся в порт.

Кеп уже вышел из рубки на крыло. Но не спешил, ждал свою верную минуту. Наверное, холодно было ему стоять на крыле — не от ветра, а оттого, что все смотрели с палубы. Штурман тоже на него смотрел, грудью привалясь к штурвалу.

— Скородумов! — кеп закричал. Дрефтер приставил ладонь к уху. — Какие поводцы готовили?

— На шидисят метров!

Кеп подумал и махнул рукой. Ладно, мол, пусть на шестьдесят. Это серединка на половинку. Обычно от сорока до восьмидесяти заглубляют сети.

Почему нельзя точно знать, вы спросите, ведь эхолот рыбу нащупал, он до метра указывает глубину? Он-то ее нащупал, да на самом дне, туда не забросишь сети, поэтому мы вперед забежали, и рыба к нам бу-

¹ Планктон — скопление мельчайших плавающих водорослей и рачков.

дет идти всю ночь, а к утру она всегда поднимается к поверхности. И вот насколько она поднимется — этого кеп не может знать. Он предполагает, а рыба располагает.

— Бойман! — опять он крикнул. — Поднять штаговый!

И на фок-мачте, по штагу — к самому клотику — поплыл фонарь с черным шаром. Шар виден днем, а фонарь — ночью. Это значит, мы застолбили косяк, просим других не соваться. Какая б там ни была рыба, где бы ни шла — она теперь наша, мы ее будем брать.

Однако минута еще не настала. А нам зябко, брызги секут лицо, затекают за ворот, пальцы стынут в брезентовых варежках. Но тут ничего не поделаешь, он иначе не может. И стоим, не жалуемся.

А штурвал уже положен круто на борт, и пароход летит с креном, чуть не черпает бортом. Описывает циркуляцию. Секунда, еще секунда, и кеп кричит:

— Поехали!

И тут-то все началось. Ради этого мы и стояли. Дрифтер нагнулся, сграбастал всю бухту разом, швырнул ее через планшир. За нею полетели три концевых кухтыля, шлепнулись, зацепились за воду, запрыгали на черной дегтяной волне и — пропали из глаз. И тут же пополз мой вожак — сначала как неживой, а потом зарычал, заскрежетал роликом. Желтый он, пока еще желтый, и вот выползла первая, черную намазанная, отметка.

— Марка!

Дрифтер уже присел с поводком в руках, обметывал вокруг вожака выбленочный узел. И на марке — раз! одним рывком! — затянул его, а сам руки в сторону. Первые-то марки легко идут, и у него и у меня, я их поначалу различал стоя, а потом они замелькали, вожак уже пошел вразгон, и мне тоже пришлось присесть — различать их при лампешке в трюме. Там этот черт носился кругами, отлипая от бухты, змеился тяжелыми кольцами, бился об горловину и вылетал с рычанием.

— Марка! Еще марка!

Сергея снимал поводцы с вантины, подавал дрифтеру по одному, но это работа нетрудная, у всех у нас работа нетрудная, а вот у дрифтера главное дело в руках. Привяжи их, попробуй, когда вожак уже разогнался. Его теперь всем хором не остановишь. Зацепится — выворотит к чертям горловину, а она литая, чугунная. Не сглазить бы, такое ведь случается.

— Марка! Срост!

Я один из всех палубных имею голос. Даже кеп молчит. Его дело сделано. «Поехали!» — и больше ничего не поправишь. Он постоял и ушел. Ни один кеп не ждет конца выметки. Да и что тут смотреть, завтра посмотрим.

Кухтыли танцевали на волне и пропадали за рубкой. Струились через планшир сети, три километра сетей — все, что мы тут навязали, уложили. Где-то в черной глубине — ее себе и представить холодно — они теперь повиснут на кухтылях, как простыни на веревке, перед носом у косяка, пережует ему путь. Передние подойдут и влезут в ячею — она зеленая, мягкая, — упрутся в нее горбом, чтобы пролезть насквозь, а потом уж осадят, да поздно. Глупая рыба — не сообразит, как все просто: прижать жабры и тогда выберешься легко. Нет, будет их топырить и застрянет намертво. Ну, а другие, которые насаждают, толпятся около, отыскивают свободную ячею, — неужели она их не может предупредить? Да они и сами все видят, а все-таки лезут. Когда-нибудь, наверное, научатся, наберутся ума-разума. Но мы тогда еще что-нибудь придумаем. А пока — все просто...

— Марка! Еще марка!

Сети уходили и уходили, мы их провожали торжественно, как линейные на параде,— как будто бы с ними уходили и все наши глупости, страхи и тревоги. Я-то знаю, что каждый теперь чувствует. Я ведь на всех местах стоял, а теперь стою жожаковым, покрикиваю:

— Марка! Срост!

Я стоял в кухтыльнике, кидал на палубу кухтыли — там теперь Алик. Подавал их, как Димка теперь подает, помощнику дрефтера, а тот их привязывает верхними поводцами к сетям. И, как Васька Буров и Шурка, я расправлял сети, сторожил их, чтоб шли без задева. И на месте Сереги я был. Только вот жожаковым еще не был. Крупные перемены в моей жизни!

Пожалуй, отсюда мне лучше всего всех видно. Они ко мне стоят спиной или боком. Смотрят в ночное море, куда уходят сети. Смотрят не отрываясь. Стоят, расставив ноги, на кренящейся палубе, воткнув в нее ножи. И, облитые светом, мы сами светимся, как зеленые призраки. Нездешние этому морю — орловские, рязанские, калужские, вологодские мужики. Летим к чертям на погибель, в черноту, над бездонной прорвой, только желтые поплавки оставляем за собою.

Однако работа есть работа. Она когда-нибудь кончается. Все меньше сетей на борту, и бухта жожаковая все ниже в трюме. Скоро пайолы покажутся, последние шлагы вылетают.

— Много там? — спросил дрефтер. Совсем он упарился. Почти сотню узлов навязал.

— Сейчас отдохнешь.

И все зашевелились, забормотали, кто о чем. Вот и последняя марка вылетела. И тут уж, кто мог уйти, повалили оравой в кубрик. А мне еще чуть работы — люковину задраить, потом сходить на полубак, посмотреть там, чтобы стояночный трос лежал бы на киповой планке, не терся о планир. Когда я вернулся, Алик и Димка стояли посреди палубы. И бондарь заливал бочки забортной водой из шланга. Все стихло, ветер сразу улегся — мы уже лежали в дрейфе.

— И больше ничего? — спросил Димка.

Для них, наверное, целый час прошел. А прошло, если хотите, минут десять.

(Продолжение следует)



«ИСКУССТВО»

- Н. Берновский.** Литература и театр. Статьи разных лет. 638 стр. Цена 2 р. 40 к.
Марне М. Альбер Марке. Перевод с французского и послесловие А. Н. Замятиной. 136 стр. Цена 1 р. 7 к.
Октябрь и мировое кино. Сборник статей. Вступительная статья А. Караганова. 395 стр. Цена 1 р. 87 к.
Е. Яновлев. Эстетическое сознание, искусство и религия. 175 стр. Цена 70 к.

«НАУКА»

- Ю. Андреев.** Революция и литература. Отображение Октября и гражданской войны в русской советской литературе и становление социалистического реализма (20—30 гг.). 430 стр. Цена 1 р. 72 к.
Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. 511 стр. Цена 2 р. 23 к.
Проблемы типологии русского реализма. 474 стр. Цена 2 р. 2 к.
Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. Перевод с французского («Литературные памятники»). 703 стр. Цена 3 р. 30 к.
XVII век в мировом литературном развитии. Сборник статей. 502 стр. Цена 2 р. 39 к.
Художественная форма в литературе социалистических стран. Очерки. 391 стр. Цена 1 р. 82 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- М. Пришвин.** О творческом поведении. 160 стр. Цена 21 к.
Революция, герой, литература. Сборник критических статей. 384 стр. Цена 1 р. 6 к.
Л. Рогачевский. Добрая услуга. Книга о работниках сферы обслуживания. 80 стр. Цена 12 к.
В. Рыдник. Атомы разговаривают с людьми. 206 стр. Цена 60 к.
А. Твардовский. Поэзия Михаила Исаковского. 96 стр. Цена 12 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Ю. Басин.** Материальная ответственность предприятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств. 88 стр. Цена 16 к.

Гражданскоправовая охрана интересов личности. 256 стр. Цена 95 к.

Н. Полянский. Уголовное право и уголовный суд Англии. 400 стр. Цена 1 р. 51 к.

«ПРОГРЕСС»

К. Кульчар, З. Петери. Критика современной буржуазной теории права. Перевод с венгерского. 286 стр. Цена 1 р. 15 к.

Г. Менде. Мировая литература и философия. Перевод с немецкого. 174 стр. Цена 68 к.

Ж.-П. Шаброль. Бунтари. Роман. Перевод с французского. 367 стр. Цена 1 р. 19 к.

«МИР»

А. Азимов. Вселенная. От плоской Земли до квазаров. Перевод с английского. 349 стр. Цена 1 р. 8 к.

Е. Жулавский. На серебряной планете. Рукопись с Луны. Перевод с польского. 368 стр. Цена 79 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Коношев. Рано перед зорями. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 470 стр. Цена 89 к.

И. Лавров. Зарубки на сердце. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 359 стр. Цена 75 к.

Н. Полянова. Полдень. Стихи. Ленинград. Лениздат. 112 стр. Цена 33 к.

Н. Север. Ярославская Мельпомена. Повести. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 269 стр. Цена 57 к.

Слово о литературе. Сборник статей. Махачкала. Дагкнигоиздат. 121 стр. Цена 18 к.

О. Фомина. Стихи. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 159 стр. Цена 70 к.

Г. Чиновани. Радость одной ночи. Одишские рассказы. Перевод с грузинского. Предисловие В. Солоухина. Тбилиси. «Мерани». 250 стр. Цена 48 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

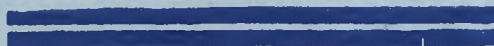
Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/V 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 25/VII—4/VIII 1969 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/8}. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 06079. Заказ 1902. Тираж 125.550 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Н О В Ы Й
М И Р

8



1969

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 8

Август 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Художнику, стихотворения	3
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания, роман. Продолжение	7
АМО САГИЯН — Из лирики, стихи. Перевели с армянского Н. Гребнев, А. Марченко	90
А. ПРОЦКЕВИЧ — Хроника рабочих курсов	92
М. ИСАКОВСКИЙ — На Ельнинской земле. Окончание	124
НАФИ ДЖУСОЙТЫ — Осень, стихи. Перевел с осетинского Яков Козловский	156
В. БЕЛОВ — Бухтины вологодские	158

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ИВАНОВ — Мартовские всходы	185
-----------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Колос Юга	203
---------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КРАМОВ — В поисках сущности	236
--------------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

258

И. Борисова. Дикие побегн.— **Гр. Бернадт.** «Совершенство подлинности».—
И. Верцман. Выдающееся произведение кубинской литературы.

Политика и наука

269

Ф. Цанн. Марксизм — философия современности.— **Н. Рабкина.** Свет «Полярной звезды».— **В. Френкель.** Книга о старших Кюри.

КОРОТКО О КНИГАХ — **Люся Канторович.** Очерки, воспоминания, письма, фотоснимки.— **Андрей Аникин.** Адам Смит.— **Новонайденный автограф Пушкина.**— Вопросы профессиональной педагогики.— Проблемы поэтики.— **Г. Тазиев.** Когда земля дрожит.— Дело Чернышевского.— **Е. Н. Добровольский.** Почерк Капицы. **Анна Ливанова.** Физики о физиках

279

«Новый мир» в 1970 году.

285

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

287



ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ*

Роман

6

И тут стало видно, что и другие все вьметали — англичане, норвежцы, французы, фарерцы, наши галлинцы и калининградцы. Все теперь стояли на порядках, ни один огонь не двигался. Россыпь стоячих огней. И отовсюду музыка, со всех судов.

Я сбегал переоделся в курточку и вышел — «погулять по проспекту», пока там в кубрике не улягутся.

Алик пришел ко мне на полубак, сел рядом на бухту канатов. Там еще были штуки три, принятовленные по-штормовому, однако сел на мою. Тоже погулять вышел. Гуляем и молчим. Вот это самое лучшее.

— Красиво! — он мне говорит.

— Угу.

Оно действительно было красиво — когда прожектора погасли и стало светлее от звезд и топовых огней. Но скучно же говорить про это. Он засмеялся:

— Много лишнего говорится, верно?

— Ой, много.

— Я не об этом, — он кивнул на море и на огни, — я про выметку. Это, правда, красиво. Я сверху смотрел, из кухтыльника. Грандиозно, старик! Все прямо как викинги... Свинство, если завтра пустыря потянем.

Для него ведь и правда это первая была выметка. Я-то их насмотрелся. Но первая всегда волнует.

— Особенно тоже не рассчитывай на завтра, — сказал я ему. — Сейчас не заловится — потом возьмем, к марту. Когда она в фиорды пойдет с икрой. Там только успевай выбирать.

— Зря мы, наверное, ходим зимой? Лучше бы в марте.

— Да. Если только она калянуса не нажрется. Тогда ее придется шкерить. Потрошить.

— А это трудно?

— Все нелегко. Вообще такого вопроса на пароходе не задавай. Ты ее дома-то хоть шкерил?

— Так, штучки по две, к водочке.

— Тонну не пробовал? На холоде, в перчатках без пальчиков. Если сам себе палец не отшкеришь, считай — повезло.

— А что это — калянус?

— Рачок такой. От него внутренности не просаливаются.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. 1.

— А летом она его не жрет?

— Летом она не косякует. Разбегается из фиордов поодиночке.

— Да, это все равно, что выловить Атлантику.— Он вздохнул отчего-то.— Спасибо.

— Это за что?

— Ну, как... Теперь вот я кое-что знаю. Покурим?

Он мне протянул пачку, зажег спичку в ладонях. И, когда я прикуривал, вдруг он сказал:

— Между прочим, старик, вода от винта вскипает.

— Вон как?

— Да. Это называется «кавитация». Вредная штука, разрушает винт. Когда число оборотов превосходит критическое, на засасывающей стороне появляются пузырьки воздуха. Пар, конечно, не идет, но все признаки кипения.

— Знаешь!

Он пожал плечами и опять вздохнул.

— Все мы учились понемногу... Возился с подвесными моторами.

— Зачем же ты пошел?

— В корму? А я не пошел. В галюн забегал. Но я все-таки доставил вам удовольствие?

Я поглядел на него — он красивый был, рослый мальчик; девки его, наверное, любили. Отчего же он с Димкой держался за младшего? Но, правда, было в нем что-то — как это вам объяснить? — всем его хотелось оберечь, приглядеть за ним. Как бы он там подалее был от лебедки, от натянутого троса, не удалился бы незначай «в сторону моря». За Димкой же никто и не думал смотреть.

— Тяжело тебе плавать? — я спросил.

— Что ты! — Он улыбнулся.— Я себя никогда так не чувствовал. Чем тяжелей, тем лучше.

— Вот это здорово!

— Я правду говорю. Рано или поздно, а нужно же себя когда-нибудь сделать. Потому что, если задуматься, судьба у меня страшная.

— Чем же так?

— Не тем, что ты думаешь. Никто у меня в тюрьге не сидел. Все, слава богу, живы. А все так благополучно — десять лет по одной и той же дорожке в школу, два квартала туда, два обратно... Потом — одной и той же дорожкой в институт. Потом в другой... Вот так подохнешь от информации и никогда не увидишь — архипелаг Паумоту... остров Пасхи... или как танцуют тантянки. Только в кино. А сам никогда не будешь сидеть с венком на шее. Который тебе сплели дочери вождя.

— Знаешь, я тоже умру и не увижу.

— А! Не в этом дело! — Он выплюнул окурочек через борт.— Ты живешь. Хоть один день из недели врежется в память. Потому что человек помнит, когда ему было трудно. Как он голодал. Валялся в окопе. Как делили сигарку на троих и ему оставили бычка. А когда он жил в теплой квартире, с ванной и унитазом, это прекрасно, черт дери, а вспомнить нечего...

Хороший мотивчик к нам долетел с какого-то датчанина. Алик его подхватил и стал насвистывать.

— Не надо,-- сказал я ему.-- Рыбу распугаешь.

— Да, прости. Это одно из ваших уважаемых суеверий. В старое время боцман бы мне линька дал? — Он засмеялся. Потом забыл, опять засвистал и бросил.— Привязалось... Давай еще покурим. Рот нужно чем-то занять.

Я спросил:

— Ты потом, после экспедиции, в институт вернешься?

— Конечно. Куда же еще? Мы себе взяли академический отпуск — так это называется... Хороший способ крупно побездельничать. Но все-таки мы кое-что урвали! Хоть поплавали на сейнере.

— Какой сейнер! На СРТ ходишь.

— Ну да, на логгере. Тоже звучит.

— То-то и дело, что на логгере. Там бы ты и моря не увидел. Все равно что в Ялте, на прогулочном катере¹.

Он глядел, улыбаясь, на море и на огни. А я вдруг стал припоминать — где я уже слышал про этот «сейнер»? И не этого ли малого я видел тогда в окне, на Володарской. Не он ли там у Лили сидел на подоконнике, справляя сабантуй, а я стоял посреди двора, задравши голову. Нет, снизу не разглядеть было, и глаза у меня слезились от холода.

— Иди-ка ты спать, — я ему сказал.

Он поглядел удивленно. Может, я и грубо сказал, но мне так тошно с ним стало. Оттого, что она с ним тогда была. Ну, могла быть, я себе представил. Черт знает до чего так можно додуматься! Ну, а почему бы и нет, я себя спросил. Почему бы ей не любить его? Ведь он красивый, рослый мальчик, язык хорошо подвешен. А что судьба у него «страшная» — так ей-то он как раз впору со своей судьбой.

— Завтра к шести подымут, не выспишься.

— Посижу еще. Жалко такую красоту упускать.

Господи, я думал — все слова уже в нем кончились.

— Ну, как знаешь.

Я встал и пошел от него.

7

Я бы сходил к «деду», да у него окно не светило. Наверное, думаю, ушел в машину — сейчас там как раз вахта моториста, а моторист у нас — Юрочка, фрукт изрядный, «дед» ему одному не доверял. Тем более машина сейчас подрабатывала на винт, растягивала порядок.

Я заглянул в шахту — Юрочка, голый до пояса, сидел на верстаке и чего-то там вытачивал на шлифовальном станочке, а «дед» расхаживал по пайолам с масленкой — работал за этого самого Юрочку.

Я скинулся по трапу. Юрочка меня увидел и сделал ручкой:

— Привет курточке!

— Привет культуристам.

— Посвистим, Сеня?

— Посвистим.

— А за что — за бабу или за политику?

— Вчера за политику. Сегодня, значит, за бабу.

— Итак, Сеня, затронем половой вопрос. Поставим его со всей прямоотой. Жить не дает и трудиться творчески.

Это у нас с ним вроде приветствия. На том разговор и кончается. Потому что этот Юрочка глуп, как треска мороженая, и свистеть мне с ним не о чем — ни за бабу, ни за политику. А вытачивал он себе ножничек. Новая, значит, придурь. В прошлую экспедицию он, говорят, штук

¹ Сеня Шалай тут не совсем справедлив к сейнерам, но доля истины в его словах есть. Воспетый в нашей прозе и в стихах сейнер выглядит чуть ли не основной единицей наших промысловых флотов. Между тем это не так, основой является пока СРТ (в дальнейшем, по-видимому, станет БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер), по типу — логгер, судно с кормовой надстройкой и обширной рабочей палубой в середине, что одинаково удобно и при тралении, и при лове дрейфтерными порядками. Сейнера же, имея сравнительно слабые корпуса и малые емкости для рыбы, ведут очень недолгий промысел, зачастую в виду берегов. То обстоятельство, что пные колхозные сейнера уходят за сотни миль от берега, является исключением, лишь подтверждающим правило: ведь и Бомбар переплыл Атлантический океан в надувной лодке.

двадцать зажигалок выточил — корешам в подарок. Сам-то он не курит, здоровье бережет. Отрастил черт-те какие бицепсы, а бездельник, каких поискать.

А «дед» ходил по пайолам, подливал масла в машину. Не знаю, куда он там подливал, мне и за триста лет в ней не разобраться, столько там всяких крантиков и винтиков. Я просто люблю смотреть, как он это делает. Вот Юрочка, он к ней почти не прикасается, а ходит чумазый, беретик у него в масле — хоть выжми. А «дед» — в пиджаке, в сорочке с галстуком, и ни капли масла на нем нет. Он ходил вокруг машины, а она сопела и плевалась, как скаженная, но только не в «деда». Вот в чем все дело: таким, как «дед», мне не быть, а таким, как «мотыль» Юрочка, — охота ли серое вещество тратить?

«Дед» меня заметил, но не подал виду. Ему приятно было, что я смотрю на его машину. Как будто я в ней решил разобраться.

— Алексич! Поди сюда.— Он уже кончил смазывать и обтирал руки концами.— Послушай-ка.

Ничего я особенного не услышал. Стучала она, как три пулемета. Клапана подпрыгивали на пружинках и плевались в меня. «Дед» наклонился ко мне, к самому уху:

— Вот так должен стучать нормальный двигатель.

— А!..

Юрочка глядел на нас, точил свой ножик и усмехался.

«Дед» пошел по пайолам, вдоль всей машины. Он что-то мне про нее рассказывал, но слышно было плохо. Я и не старался услышать. А потом я знаете что сделал? Повернулся и полез наверх по трапу. Я не думал его обидеть. Просто мне жарко стало, душно и шумно. Я и забыл, что больше он к своим винтикам не вернется, с которыми всю жизнь прожил. Теперь и вспомнить стыдно про свою глупость. Но я так и сделал — повернулся и полез по трапу.

В салоне кандей Вася, в колпаке и в халате, играл с «юношей»¹ в шахматы. Третий штурман, только что с вахты, ел компот вилкой и подсказывал им обоим. Да все невпопад. И еще сидел бондарь, читал газеты, которые мы из порта везли. Он все подшивки прочитывает от доски до доски. Все, что хотите, знает — и про Вьетнам и про Лаос. А ходит грязный, как собака, и спит, не раздеваясь. Соседи в кубрике на него жалуются. И злой тоже, как собака, — на всех на свете. А на меня в особенности. Я только зашел — он на меня посмотрел, как будто я у него жену отбил. Или наоборот — сплавил ему свою бывшую. И опять уткнулся в газеты.

Кандей Вася спросил, глядя на доску:

— Компоту покушаешь?

— Не хочу.

— А чего хочешь?

— Ничего не хочу.

Третьему надоело подсказывать, на меня переключился:

— Что ходишь, как лунатик? Курточку напялил и ходит. До преступления так можешь довести.

— Может, я тебе ее продать хочу подороже.

— Свистишь! — Он сразу оживился, оскалился, шрам у него побелел.— Тогда уж до порта не носи, лучше пусть у меня полежит.

А что, думаю, взять, да и отдать ему курточку. Просто так, не за деньги. То-то счастье привалит третьему!

— До порта я еще подумаю. Может, я тебе ее так подарю.

— Катись! Мне так не нужно. Я по-серьезному...

¹ Юнга, помощник повара.

— По-серьезному она мне в полторы тыщи обошлась. Правда. Хочешь, расскажу?

— Катись, катись.

Я вышел опять на палубу. Там хоть музыка играла. «Маркони» через трансляцию запустил какую-то эстраду — датскую или норвежскую. Какой-то Макс объяснялся с какой-то Сибиллой. Грустно это, я вам скажу, — слушать, как музыка льется ночью над морем, даже когда она веселая. А может, в особенности когда она веселая. Она сама по себе, а море само по себе, его все равно слышно, даже вот когда крохотная волнишка чуть подхлупывает у обшивки. И зачем я, дурак, эту курточку напялил — вышел, называется, «погулять по проспекту»! Всем она только глаза мозолит.

Вот что я вспомнил. Есть у «маркони» на пленке одна песенка. Даже и не песенка, а так себе, флейта чего-то тянет, барабан тихонько погромыхивает — как будто невпопад. Называется «Ожидание». Даже в горле пощипывает, когда слушаешь.

«Маркони» у нас живет на самой верхотуре, выше и капитана и «деда», рядом с ходовой рубкой. Повернуться там негде, сплошь аппарата, и качает его сильнее, чем нас под палубой, и вечно народ толчется. Но я б согласился так жить — ночью ты все равно один, видишь чьи-нибудь огни в иллюминаторе, а что там штурман мурлычет на вахте или треплется с рулевым, это можно не слушать, музыкой заглушить.

У «маркони» было темно, а сам он спал на одеяле, вниз лицом. В магнитофоне пленка уже кончалась. Но он, верно, и во сне знал, где она у него кончается, — полез спросонья менять бобину. И наткнулся на меня.

— Это кто?.. Идем куда-нибудь?

— Нет. В дрейфе валяемся. Просто выравниваем порядок.

Он почесал в затылке.

— Ну правильно, выметали. Все забыл начисто. Присаживайся.

Я сел к нему на койку. «Маркони» перевернул бобину и опять залег. Приемник в углу шипел тихонько, подсвечивал зеленым глазком.

— Вызова ждешь?

— Подтверждение дадут. Насчет погоды.

— А много обещали?

— Два балла. От двух до трех.

— Зачем же подтверждение — не штормовая же погода?

— А ни за чем. Кеп придет, спросит. Он пунктуальный — все ему в журнал запиши: сколько обещали, сколько подтвердили. Ты с радиogramмой?

— Нет. Песенку одну хотел поставить.

— Исландскую?

— Не знаю, чья она.

— Ну, я знаю, какая тебе нравится. Тут она будет.

Мы с ним закурили. Лицо у него то красным становилось от затыжки, а то зеленым от рации.

Вдруг он спросил:

— Слушай, мы с тобой плавали или нет?

— Не помню.

— И я не помню.

— Сеня меня зовут, Шалай.

— Я знаю. Я твой аттестат передавал. Меня — Андреем. Линьков.

Я до этого как-то мельком его видел. Такой он — большеголовый, лобастенький, быстро улыбается, быстро хмурится, а морщины все равно не уходят со лба. Уже — где лоб, где гемечко, волосы белые. редки,

зальсины далеко продвинулись — к сорока поближе, чем к тридцати пяти. Нет, мон все «маркони» как будто помоложе были.

Спросил меня:

— С Ватагиным капитаном ты не плавал?

— Одну экспедицию, в Баренцево.

— Н-да,— он вздохнул.— Это нам ничего не дает. С Ватагиным кто же не плавал! Зверь был, а? Зверь, не кеп!

— Зверь в лучшем смысле.

— В самом лучшем! А в какую экспедицию? Это не когда он швартовый на берег завозил и сам чуть не утонул?

— Нет, такого при мне не было.

— Ну, потеха! В Тюву пришли из рейса и — машина застопорилась. Сорока метров до пирса не дошла. Так спешили, что все горячее сожгли. Ну что — на конце подтягивайся к пирсу. А шлюпку спускать — с ней же час промыгаришься. А потом же часа три выгрузки — сети, вожак, то да се, да столько же до порта шлепать. А темнеет уже, к ночи дома не будем. Тут Ватагин раздевается, кителек вешает на подстрельник, мичманку кладет на кнехт, бросательный в зубы и — бултых, поплыл. Ну, пока он бросательный ташил, все ничего, только что холодно в феврале купаться. А когда самый-то швартовый пошел, тут он его и потащил на дно. Ему орут: «Брось к лешему, душу спасай!» Нет, тянет. Ну, ты ж знаешь Ватагина! Пока не догадались — за этот же конец его обратно на пароход вытащили. Из зубов он его не выпускал. Потом все-таки шлюпкой завезли...

— Нет,— говорю,— при мне другое было.

— Ну-к, потрави.

Такого же сорта и я ему выдал историю. Как у нас на выборке тра-ла палубный один свалился за борт. И никто не заметил, он сразу под воду ушел, а когда скинул сапоги и вынырнул, то уже кричать не мог, дыхание зашло. И как его тот же бравый Ватагин заметил случайно с мостика. Никому ни слова, тревоги не поднял — зачем ему потом в журнале писать: «Человек за бортом»? — а сам быстренько разделся до пояса, обвязался железным тросом и прыгнул. С полчаса они там барахтались втихомолку — Ватагин его один хотел вытащить, команда чтоб и не знала. Но пришлось-таки голос подать. Мы их уже полумертвых вытащили. Все-таки он шалавый был, этот Ватагин: если у нас в башке у каждого в среднем по пятьдесят шариков, то у него примерно двух не хватало.

— Не-ет! — сказал «маркони». — Он легендарный человек, Ватагин! Шепнули ему: в соседнем отряде картина имеется, австрийская, «Двенадцать девушек и один мужчина», ну, сильна комедь! Он и про рыбу забыл — какая там рыба! Трое суток мы, как пираты, по всему промыслу шастаем, людей пугаем, и он в «матюгальничек» у каждого встречного спрашивает: «А ну отзовись, не у вас ли «Двенадцать девок»?» Не успокоился, пока не нашли. Дак потом мы ее суток трое крутили без остановок. И все равно он ловил больше всех. Удачливый был, как черт. Или нюх какой-то имел на рыбу. Что ты! Разве теперь такие кепы водятся?

Мы таким манером еще минут пять потравили: какие бывают кепы, и что раньше было за времечко, и люди когда-то ходили по морю — мариманы, золотая когорта, каждому хоть памятник ставь при жизни, и куда ж это все ушло, прямо сквозь пальцы просочилось, — и сошлись мы на том, что и кеп у нас так себе, звезд, наверное, не хватает, и команда какая-то подобралась недружная, и вообще-то вся экспедиция у нас не заладится...

Рация в углу запищала, «маркони» перекинулся на другой край койки, надел наушники, стал записывать. Потом погасил зеленый глазок.

— От одного до двух. Легко вам будет выбирать.

— Теперь тебе спать можно?

— Сиди, потравим еще. Какой спаты! Мне еще радиogramмы передавать, вон ваша братия понаписала, целые повести.— Зажег плафончик над столом. Там ворох лежал тетрадных листочков, исписанных чернильным грифелем.— Хочешь, зачти. Только между нами.

— Не надо.

— Да развлекись! Ну, я те сам зачту.

Ох, эти наши радиogramмы! Васька Буров долго-долго кланялся всем кумовьям, жене наказывал беречь Недочку и Земфирочку, «пусть будут здоровенькие, а папка им с моря-океана гостинчиков привезет и сказочку расскажет про морские чудеса». Шурка Чмырев, тот со своей Валентиной объяснялся сурово: «Ты помни, что я тебе тогда сказал, а если моя ревность и вообще характер тебя не устраивает, то лучше порвать это дело, пока не поздно. А еще я Гарику задолжал десятку, отдашь ему с аттестата и пиши мне чаще. Твой супруг Александр». Митрохин своему братану отбивал на другой пароход: «Здравствуй, брат Петя! Знаю, что ты на промысле. У нас тоже начались трудовые будни. Первая выметка!!! Экипаж у нас хороший. Сообщи, как у вас. Петя, приложи все усилия, а я со своей стороны тоже приложу, чтобы нам встретиться в море...»

— Не знаешь, что и сокращать,— сказал «маркони».— Все вроде существенно. Говори им, не говори, что у меня больше чем двадцать слов в эфир не принимают. Вот третий штурман — сразу видно морского человека: «Дорогая Александр! Я вас недостоин. Черпаков».

— Брось, к богу в рай.

Отложил он эти послания, лег, закинул голые руки за голову. На локтях у него и на груди, где разошлась ковбойка, виднелись наколотые письма, русалки с якорями, мечи, обвитые змеями.

— Как же все-таки, Сеня? Плавали мы с тобой?

— Какая разница? Тем же и я дышу, чем и ты.

— Но неужели же мы не выясним? Э, слушай! А ведь ты Ленку должен был знать. Ленку-«юношу»!..

— Слышал про нее. А плавать с нею — нет. Да при мне уже никаких Ленок на траулерах и в помине не было.

Еще года за три до первого моего рейса рыбацкие жены начали скопом заявления писать в управление флота, чтобы всех женщин, которые плавали югами на СРТ, списали бы начисто: из-за этих женщин у них семейная жизнь разлаживается. И всех их заменили мужиками.

— В помине-то, положим, остались,— «маркони» мне подмигнул.— Ленка, она знаменитая была женщина. Про нее легенды складывали. Как она в кубрик к матросам бегала. А в порт приходили, она свои взносы собирала.

— Тоже потеха,— говорю.— Ты сам это видел?

— Ну, Сень, всего ж не увидишь. Но рассказывали. Больше, наверное, трепу было, чем дела... Однако я тоже кое-чему свидетель. Какая у ней с Ватагиным-то была история — целый роман! При всем пароходе, открыто. Бичи прямо к ней подкатывались, если что. «Ленка, похлопочи там, на мостике, чтоб не метали сегодня. Погода сильная, и отдохнуть охота». Ну, она к бичам с душой относилась. «Ватагин, выходной объявляй, устали бичи». И — не мечут, картины смотрят. Ну баба! Не знаю, потом она куда делась. Прямо как в воду канула.

Я сказал:

— Она и канула.

— Ты шутишь!

— Нет. Я хоть и не плавал с нею, но точно знаю.

— Как же так вышло? Ну-к, потрави.

Я ему рассказал, как мне рассказывали. В одну экспедицию, поздним вечером, эта самая Ленка вышла ведро выплеснуть с кормы и упала. Через полчаса ее только кандей хватился. Ну, пока ход стопорили, пока возвращались по курсу, нашарили ее прожектором, она уже закоченела. Ее только телогрейка держала. Говорили мне — вытащили еще живую, но она и десяти минут не прожила, как ее ни грели и спиртом ни отпаивали. Пошли к базе, там рефрижераторы, надо же до порта ее довести, у нас не хоронят в море, как в старину. А волнение было — свыше семи баллов, и база к себе не подпускала. Две недели этот шторм не кончался, и не могли подчалить, носились по морю, и мертвая Ленка лежала под брезентом в шлюпке. Все они чуть с ума не посходили.

— Слушай-ка,— спросил «маркони». — А с чего это она, не рассказывали?

— С чего за борт сваливаются.

— Нет, Сень, тут не просто. Она же опытная была «юноша», столько рейсов отходила. Вдруг пошла бы ночью с ведром, да в шторм? Она бы как-нибудь кандею это дело передоверила. А может, она в него и правда влюбилась, в этого Ватагина? Это мужик от любви не помрет, а девки, знаешь, с них становится.

— Не знаю. А может, потому что легенды складывали?

— Думаешь? Кто ж от этого умирает, Сеня? Скорей тут все сошлось.

И уж он про эту Ленку совсем по-другому заговорил. Голос такой сочувствующий стал, понимающий.

— Если хочешь знать,— говорит,— как она только на траулер пришла, кандею в помощницы, так уже вся ее судьба была расписана. Ты на судне одна в юбке, а кругом двадцать три мужика с полноценным морским здоровьем, а рейсы же были — по полугоду, ты вспомни. И она же в общем кубрике с механиками и с кандеем жила, ее койка только простынькой задернута, вот и весь девичий стыд. А темных углов сколько, где тебя и облапают, и прижмут, а после все косточки перемоют слюнями. Она и не выдержала. Сначала, наверно, и по рукам давала, и по рылу, а потом сама в загул ударилась, пока ее Ватагин не завлек... Да, Ленка! Сильно ты меня расстроил. Отличная же была девка!

— Не знаю.

— Отличная! Но ты прав — слишком про нее трепали. Корешей же у Ватагина внавал, и каждый, конечно, счастья ему желает. А может, она и была его счастье — кто это может судить? Так просто от жены не загуляешь, чтобы во всем отряде про это знали. Да что в отряде, столько людей на флоте участие принимали, отговаривали его, в семью хотели вернуть... А я тебе скажу — когда уже чужой нос лезет... в твои какие-нибудь трепетные отношения, это добром не кончится, не-ет! У меня то же самое было. Ты где служил, на Севере?

— Здесь.

— Я-то на Дальнем, торпедные катера. Ну что — совсем девчонка, ни хитрости у ней, ничего. Насквозь светится, как божий одуванчик. Однажды в субботу нас не уволили, уволили в воскресенье утром — всю ночь она меня на причале ждала, от росы вымокла. Сторожа ее гоняли, она в каком-то пакагазе пряталась. Это ценить надо, Сеня! Я уже о ней по-серьезному: демобилизуюсь и увезу, а почему нет! И черт же меня

подловил — с корешами посоветоваться. Взяли бутылку, посоветовались. «Ты, Андрюха, нормальный или нет? Что те твоя сахалиночка — тебя в России с подметками оторвут!» Но это все ладно, а тут существенное было выдвинуто: «Это же и подозрительно, чтоб такая верность! У них же так не бывает, Андрюха, это же факт женской природы, литературу надо читать. Ты-то к ней по субботам, а всю неделю она чего делает — знаешь?» — «Ждет, говорю, учится, чего ей еще делать». — «Не знаешь! А ближе к сроку, гляди, она еще к начальству прискачет, с телегой. А потомок от кого — это никто разбираться не будет». И думаешь, я это все не пережил? Пережил, умный сделался, как три черта. Когда демобилизовывался, и попрощаться не зашел. Телеграммку только отбил — срочно, мол, вызвали, больна тетья. А теперь локти кусай.

— А вернуться к ней? — я спросил.

— Вернись! Когда их трое уже. Старший вот в школу пойдет. Я даже так мечтал: вот он подрастет, все ему расскажу. Может, он меня поймет, отпустит к ней. Мужики мы с ним, неужели не поймет?

— Поймет, да она ждать не будет.

— Ты знаешь — ждет! До сих пор я от нее письма имею, в море. Насчет детишек-то я ей не сообщал... А может, и на берег пишет, да жене в руки.

— Напиши, пускай на почтамт переведет.

«Маркони» засмеялся — почти весело:

— Э, Сеня! Когда еще на почтамт ходить!

Мы не заметили — машина кончила подрабатывать, и кто стоял на руле, ушел спать, в рубке стало тихо. Тут началось это самое «Ожидание», а на меня некоторые вещи нехорошо действуют, как первая стопка на запойного. Я так и знал, что все расскажу этому «маркони»: и про Лилю, и как я ездил к Нинке, и про то, как меня ограбили бичи и Клавка, — хотя я впервые с ним говорил и видел, конечно, что он трепло. Но это я потом буду жалеть и ругать себя последними словами, а при случае такую же сделаю глупость.

«Маркони» слушал, ни о чем не спрашивал, только вздыхал и поддакивал.

Потом сказал:

— Да, Сеня... Под этот разговор выпить бы следовало. Но я тебе скажу, как за столиком: мы хорошие люди, Сеня! Если с нами по-хорошему, мы черт-те что сотворить можем. А если бы кто нас научил, с кем найдешь, а с кем потеряешь... Мы б же его озолотили, Сеня!

Ну, и все в том же роде. Потом он спросил:

— Ты после экспедиции куда двинешься?

— Не знаю. В другую экспедицию.

— Я — все, завязываю! Меня кореш в грузовую авиацию соблазняет, в летный состав. Такие же там передатчики. Зарплата, конечно, лимитировать будет. Но думаю — а черт с ней, с зарплатой, потрохов бабке сплавим, а жена пусть поработает какое-то время. Зато ж там рейсы — часы, а не месяцы. Остальное время по земле ходишь. Валяйка со мной на пару?

— Что я там буду делать?

— Пристроишься. А то — радистом натаскаю.

— Можно и радистом...

— Нет. — Он вздохнул. — Если «можно», то лучше не надо. Счастлив не будешь. Тебя вон «дед» на механика тянет, я уж слышал, а ты не идешь. И правильно — душа не лежит. Счастье у человека на чем держится? На трех китах — работа, кореш, женщина. Это мне еще лейтенант на катере втолковывал. Остальное все приложится. Согласен?

— Мне, значит, только трех китов не хватает.

«Маркони» призадумался, почесал лоб.

— Худо дело, Сеня. Отчего мы с тобой моряки? Ленточки нас поманили?

— Меня, пожалуй, ленточки.

— С детства небось мечтал?

— С младых ногтей.

— Но ведь поумнеть-то надо? Нет уж, вот доплаваю рейс, пойду на шофера сдавать.

— Ты ж в авиацию хотел.

Он засмеялся.

— Иди-ка спать, братишка. Завтра вас до света подымут.

В кубрик я пришел как раз вовремя. Когда уже все угомонились. Дверь была прикрыта, а от камелька жаром несло, как от дмны. До чего же мы, северяне, тепло любим. Умираем без него!

Я лежал, не спал — то ли от жары, то ли «маркони» меня расстроил, как и я его.

А меня ведь и правда ленточки поманили. Хоть я и соврал ему насчет младых ногтей. Мальчишкой я ни в каких моряков не играл и даже не думал о море. И где там подумать — течет у нас вшивый Орлик, а по нему до Оки и на дощанике не доберешься, то и дело тащишься через мели. И когда они появились у нас на Сакко-Ванцетти, эти трое с ленточками, в отпуск приехали, я на них, как на чучела, смотрел. Хотя они бравые были ребята — подтянутые, наглаженные, клеш не чересчур широкий. Всегда они ходили втроем, занимали весь тротуар — как три эсминца фронтом — и по сторонам не глазели, а прямо перед собою суровым взглядом, и понемногу вся наша сакко-ванцеттинская шпана их зауважала. А потом и забеспокоилась — когда они себе отхватили по хорошей кадровой девке и стали вшестером ходить, по паре в кильватере. Но я не беспокоился — они же не у меня отбили, да и некогда было об этом думать. У меня в то лето отец, паровозный машинист, погиб в крушении, и я должен был мать кормить и сестренку. Пришлось мне уйти из школы, после седьмого класса, и поступить в ФЗО, там все-таки стипендия, а вечерами я еще в депо подрабатывал — слесарем-башмачником. Ну, попросту тормозные колодки заменял изношенные. Но тоже, если на то пошло, у меня и черная шинель была, и фуражка с козырем, два пальца от брови, и не меньше я прав имел — смотреть перед собою суровым взглядом и никому не уступать дороги.

А вот однажды — они меня удивили. Это на нашей же Сакко-Ванцетти было, в летнее воскресенье. Я вышел погулять с сестренкой и увидел толпу возле трамвая. Ну, вы знаете, как это бывает, когда что-нибудь такое случается — кого-то сшибло там или затянуло под вагон. Как же это всем интересно, и как приятно, что не с тобою случилось, и какие тут начинаются благородные вопли: «Безобразие, судить надо!.. Хоть бы кто-нибудь «скорую» вызвал...» А я с чего начал, когда подошел? На кондукторшу разорался — куда смотрит, тетеря, отправление дает, когда еще люди не сели. Так я ее с песком продраил — она и ответить не могла, сидела на подножке вся белая. Я и вожатому выдал — дорого послушать, на всю жизнь запомнит, как дергать, в зеркальце не поглядыв. Но между прочим, под вагон я не заглянул. Мне как раз перед этим рассказывали в подробности, как моего батю по частям собирали под откосом. Я это не в оправдание говорю, какие тут оправдания, но не можешь — отойди сразу, а языком трепать — это лишь себе облегчение, не вашему ближнему. А тот между тем лежал себе — безгласный и невидный, прямо как выключенный телевизор. И никто даже толком не знал, что там от него осталось.

Тут они подошли, эти трое. Вернее, они шестером прогуливались, но девок оставили на тротуаре — а я там не догадался сестренку оставить — и пошли на толпу «все вдруг», разрезали ее, как три эсминца режут волну на повороте. И сразу они смекнули, в чем дело, и двое скинули шинельки, с ними полезли под вагон, а третий держал толпу локтями, чтоб не застила свет. Там они вашего ближнего положили на шинель, другой прикрыли сверху и выволокли между колес. Ничего с ним такого не случилось, помяло слегка и колесной ребордой отрезало подошву от ботинка вместе с кожей. Правда, кровящи натекло в пыль, но от этого так скоро не умирают, он просто в шоке был, потому и молчал. И пока мы за него стонали и охали, они ему перетянули ногу — девка одна сердобольная пожертвовала косынку, — похлопали по щекам, подули в рот. А третий уже схватил таксишника и сидел у него на радиаторе. Ну, правда, шофер и не артачился, он своего знакомого узнал, с которым вчера выпивали, перекрестился и повез его с диким ветром в поликлинику. Тогда они почистились, надели шинельки и ушли к своим кралям. И вся музыка... Но отчего мы все сделались, как вареные раки, когда поглядели, как они уходят спокойненько по Сакко-Ванцетти, — они за все время не сказали ни слова!

Когда-нибудь пойдем же мы, что самые-то добрые дела на свете делаются молча. И что если мы руками еще можем какое-то добро причинить ближнему, случайно хотя бы, то уж языком — никогда. Но я уже тут проповеди читаю, а мне самому все проповеди и трезвоны давно мозги проели, я уж от них зверею, когда слышу. Почему эти трое и остались для меня самыми лучшими людьми, каких я только знал. Почему же я и на флот напросился, когда мне пришла повестка. Мечтал даже с ними встретиться, думал даже — вот таких людей делает море. Романтический я был юноша!

Ну, потом я поплавал и таких трепачей повстречал, каких свет не видывал. А самые худшие — которые подбрее. Они вам, видите ли, желают счастья — так что язык у них не устанет. А если они к тому же всей капеллой сплуются — лучше сразу бежать куда глаза глядят, кто остался — считай себя покойником. По мне, так этот самый Ватагин, например, такой же покойник, как и Ленка, хотя он-то выжил, не канул. Я с ним плавал в его последнем рейсе — ничего в нем уже не осталось легендарного, одна тревога: что теперь говорят про него, после этой истории. А что могли говорить? Что мне вот этот «маркони» рассказал про Ленку? Хотя бы новую сплетню родил, а то ведь, как попугай, повторял, что рыбацкие жены писали в своих заявлениях — бегают к матросам в кубрик, всем желающим пожалуйста, потом деньги дерут с аванса. И при всем она для него — «отличная девка».

Я думал — ведь она с нами ходила в море, разве это дешево стоит? Ведь какая-нибудь Клавка Перевозишкова не пошла бы, она по-другому устроится. Она тебя встретит, такая Клавка, на причале, повилает бедрами, и ты пойдешь за нею, как бык с кольцом в ноздре. И — не прогадаешь, если не будешь особенно жаться, пошвыряешься заработанными, как душа того просит. Она тебе на все береговые, на пятнадцать там или семнадцать дней, лучшую жизнь обеспечит — тепло и уют, и питье с наилучшей закуской, и телевизор, и верную любовь. В городе водки не будет — она достанет, сбегает к «Полярной стреле». И рыбу она достанет, какой в нашем рыбном городе и не купишь. Все тебе выстирает и выгладит, разобьется для тебя, выложится до доньшка. И только успешь во вкус войти — разбудит однажды утром и скажет: «Проснулся, миленький? На вот поешь и опохмелись, не забыл — сегодня тебе в море...» За Нордкапом очухаешься — ни гроша в кармане, да они и не нужны в море, зато ведь вспомнить дорого! И светлый образ ее маячит над

водами. Месяца три маячит, я по опыту говорю, а в это время она себя другому выкладывает до доньшка. Вернешься—можешь ее снова встретить, а можешь другую, она ничем не хуже. Сколько хотите таких в порту ошивается, капитал сколачивают, а потом уезжают в теплые края, так и не сходявши в море.

А Ленка — ходила. Не знаю, зачем она себе такую карьеру выбрала — но на берегу ей любые подвиги сошли бы, а в море сплетни разносятся без задержки, как круги по воде от камня. Тут ведь мы все — «братишки», какая нам корысть языком чесать, если не к корешу сочувствие. И самые трезвые разума лишаются, а Ватагин-то и без того не слишком был трезвый. Ведь он как будто все про эту Ленку знал, когда с ней сошелся,—и что на самом деле было, и что сверх того натрепали,— что же переменялось? А то, что круги пошли. Что все его хором «выручали», беседы с ним вели — и с ним и с Ленкой. А в это время жену его, с которой он уже разводиться собрался, наускивали писать цидулы в управление... Он и сдался, Ватагин, сам же и вычеркнул Ленку из роли. И уж ей-то, конечно, не преминули о том доложить.

А после, когда это все случилось, те же добренькие себя и показали. Просто удивительно, как быстро они назад отработали! Вчера спасали, а сегодня — руки ему не подавали, требовали собрание провести, обсудить моральный облик «без скидки на производственные успехи», предложить ему с флота уйти. И кто же спас его тогда — Граков! Буквально он его за уши вытащил и все речи оборвал на полуслове. А как он это сделал — снял его с плавсостава и к себе приблизил, чуть не правой рукой назначил в отделе добычи. Так что все ватагинские радетели к нему же попали в подчинение. Ну, а тут, сами понимаете, особенно не повякаешь.

8

С утра, конечно, новости. Старпом наш — отличился ночью, курс через берег проложил. Это уж рулевой принес на хвосте, все новости из рубки — от рулевого. Ночью показалось старпому, что порядок течением сворачивает, и он его решил растянуть. Определился по звездам, да не по тем, и — рулевою: «Держи столько-то». Ну, дикарь и держит, ему что. Хорошо еще, кеп вылез в рубку, сунул глаза в компас, а то бы полчаса — и мы в запретную зону вошли бы, с сетями за бортом. А там уже на них норвежский крейсер зарился. Плакали бы наши сети, он бы их тут же конфисковал. То-то крику из-за этого было в рубке!

Я думал — какой же он теперь придет, старпом, нас будить? Ничего, голосу его не убыло.

— Па-дъем!

Димка с Аликом расшевелились, начали одеваться. Ну, эти пускай, им кажется, если они первыми начали, то первыми и кончат. Черта с два, они на военке не плавали. Наши все старички еще полеживали.

Старпом сел на лавку. Подбадривал нас:

— Веселей, мальчики, веселей. Сегодня рыбы в сетях навалом.

— Не свисти.— Это Шурка ему Чмырев из-за занавески.— Десять селедин там, кошке на завтрак, и тех сглазишь.

Старпом, слышно, повернулся к нему, скрипит дождевиком. Ему, конечно, обидно, когда ему грубят. Шарашит его, но ответить он не смеет. Шурка все-таки старый матрос, а он старпомом первую экспедицию плавает — какой у него, архангельского, авторитет? И про ночные его подвиги нам известно.

— Чего «не свисти»? Поглядел бы, как чайки над порядком кружатся. Они дело знают.

— Они-то знают, — Шурка ему лениво. — Ты не знаешь.

Тут Митрохин решил высказаться:

— А мне, ребята, сон приснился. Глупыш прямо в кубрик залетел. Сел у меня в головах, клюнул плафончик и говорит человеческим голосом: «Бичи!..»

— Прямо так — «бичи»? — Это Васька там Буров со спины на живот перевернулся.

— Ага, говорит, «бичи». С первой выметки бочек двадцать возьмете. А дальше у вас все нанскось пойдет. Опять же — плафончик клюнул. И улетел.

Салаги захмыкали. А мы помолчали. Сон — дело серьезное. Тем более когда чокнутому снится. Потом Шурка спустил ноги с койки — он в верхней спит.

— Отойди, старпом, а то ушибу.

Тот сразу в двери и завопил уже у соседей:

— Мальчики, пад-дзем!

Тут и я полез одеваться. Я-то знаю — Шурка зря не полезет. Он тоже на военке служил. Салаги еще только рубахи успели напялить и в штаны влезали, а Шурка уже по трапу сапогами загрохотал. Долго им еще плавать, пока они нас догонят. Но уж обогнать — нет.

Васька Буров еще долеживал. Он еще больше нашего плавал. Салаги-то все равно последними выйдут, какой же с Васьки после этого спрос? Потому и ленивый, черт. Но такой ленивый, что и другим лень ему за это выговаривать.

Я вам не буду расписывать, какое было море. Хорошее было море. Не штиль, а балла так полтора, в штиль нам тоже не сахар, ветер лица не свежит. А над порядками чайки ходили тучами — доброе знамение.

В салоне за чаем только и говорили — что вот, мол, первая выметка, и не зряшная; пустыря вроде не дернем; авось, мол, и дальше так пойдет; тьфу через левое, чтоб не сглазить.

Но вот стало слышно — шпиль заработал, загудело под полом, и мы потянулись потихоньку на палубу. Уже дрефтер с помощником вирали¹ из моря стояночный трос, и все становились по местам.

Я свое делал — отвинтил люковину, отвалил ее, ролик уложил в пазы, но в трюм не лез еще.

Дрефтер не торопился, и мы не торопились, смотрели на синее, на зеленое, ресницы даже слипались. Стояночный трос уже кончился, за ним выходил из моря вожак, будто из шелка крученный, вода на нем сверкала радужно. Чайки садились на него, ехали к шпилью, но шпиль дергался, и вожак звенел, как мандолина, ни одна птаха усидеть не могла. Дрефтер тянул его не спеша, то есть не он тянул, он только шлагги прижимал к барабану, чтоб не скользили, но так казалось, что это он тянет, дрефтер, весь порядок километра в четыре длину, с куктылями, поводцами, сетями, с рыбой. Ну, рыбу-то мы еще не видели. И наверное, дрефтер не о ней думал — нельзя же только об этом на свете и думать, — а думал, поди-кось, про чаек, которых мы зовем глупышами, черномордиками и солдатами: счастливей они нас или несчастнее. А может быть, и вовсе ни о чем, просто глядел на воду замороженный, млеет от непонятной радости.

Я подошел к нему.

— Погода, Сеня!

— Погода, дреф.

¹ Глаголы эти — «вирать» и «майнять» — происходят от известных команд: «вираль!» — к себе, «майна!» — от себя.

— Так бы все и стоял на палубе, не уходил бы.

— Нипочем, дриф.

— А работать надо, Сеня.

— Спору нет, дриф.

— Потому что -- что?

— Потому что стране нужна рыба.

— Грамотный, Сеня. Ну, коли так, отцепляй стоянку.

Я, слова не говоря, взял «крокодил» в ящике, развинтил чеку и — с первым шлагом — полез в трюм. Прощай, палуба!

Пахло тут черт-те чем — старой рыбной вонью, карболкой и «лыжной мазью» от жоака, пахло чернью, которой метили на нем марки. И гнилыми досками — от бочек, они за тоненькой переборочкой, в носовом трюме, мне их отсюда видно сквозь щели.

Но я покуда осматривался и принюхивался, а жоак уже, как удав, напoлз на меня сверху, навалился пудовыми кольцами, надо бы койлатъ его, да повеселее, пока он меня не задушил.

— Вир-рай!

Это мне дрифтер сверху откуда-то, с синего неба. Я его самого не видел, дрифтера.

А жоаковый трюм — метр с чем-нибудь на восемь, особенно не бегаешь. А надс — бегом. Я этого дела ни разу еще не нюхал, только с палубы видел мельком, как другие делают, как там наш Павел Иванович вкальвает, который после этого лежал в койке часами и глядел в подволоку. Знал я только, что жоак в трюме койлается по солнцу и снаружи внутрь. Почему не против солнца? Не изнутри наружу? А бог его ведает — свиз, наверное, такой, да и не моя забота. Я взял первый шлаг и пошел.

Значит, так: семь шагов вперед, вдоль переборки, поворачиваешь направо, по солнцу, и снова ведешь-ведешь-ведешь по самому плинтусу, утыкаешься в переборку и опять направо по солнцу, опять семь шагов вперед, опять по солнцу, по солнышку ясному, дело ясное, новый шлаг ложится внутрь, поворачиваешь, опять переборка, и снова ведешь-ведешь-ведешь... Видали, как лошади бегают на молотилке?

— Вир-рай!

А жоак этот чертов идет не откуда-нибудь, а из моря. А море — оно мокрое. Оно мне течет потихоньку за ворот, и варежки брезентовые вмиг промокли, и в глазах, конечно, защемило. Я было привстал дух перевести, глаза вытереть, и вдруг темно — ко мне кто-то в трюм заглядывает. Старпом. Всю горловину широким своим носом застил. Кеп его небось прислал -- меня проверить: все-таки я первый день с жоаком.

— Веселей, веселей в трюме! Жоака на палубе навалом...

Дал бы я ему самому побегать, то-то бы взвеселился. Я только сплюнул и дальше побежал. По солнцу, по солнышку ясному. Да не побежал, пошкандыбал на полусогнутых. По пайолам бегать еще куда ни шло, но я уже первый пласт уложил, теперь по жоаку бегать надо, это вам не паркет, тут в два счета ногу подвернешь. А что дальше будет — когда я почти весь его выберу и сам на нем к подволоку поднимусь? Там уж на четвереньках придется. Лучше не думать. Надо второй пласт укладывать.

Это значит — делаешь две петли внахлест, одну вправо, другую влево, на обоих торцах трюма, чтоб верхние шлаги не перенутились с нижними, и — по новой. Семь шагов вдоль переборки, поворачиваешь по солнцу, второй шлаг внутри первого, третий внутри второго, все, все, семь уложил, больше не втиснешь, опять две петли внахлест...

— Вир-рай!

Дрифтер уже не по-служебному орет, а с огнем в голосе. А голоси-на у него — на всех иностранцах, наверное, слышно. Подумают, у нас трансляцию на выборке применили.

А вожака, наверное, и правда много скопилось на палубе — трудно стало тянуть, распутал бы кто.

— Эй там, на палубе! Распутайте кто-нибудь!

Ну да, услышат, у них там сетевыборка поет, сапожищи бацают. Нет, подошел все же кто-то, стал скидывать ногами, да мне от этого не легче, все шлагги на меня валяются, на голову, на плечи...

— Веселей, Сеня!

Ага, это дрифтер мне помог. И голос у него чуть поласковее. Все-таки он человек, дриф. Понимает, каково мне с непривычки. Эх, я плюнул и побежал. Не на полусогнутых, а прямо как безумный. Пусть их, ноги, подворачиваются. Пусть из меня сердце выпрыгнет. Я умру, но я ж его распутаю! Я ж его уложу, гадину, сволочь соленую, мокрую... Вот уж осталось два шлага, ну три, все, можно и отдышаться. Только не дай бог ему снова там скопиться. Опять я его потянул. А он и на сантиметр не поддается. Снова там скопилось, что ли? Кто же это мне будет все время его распутывать? Я прямо повис на нем. А он не поддается, и все тут. Я в него вцепился одной рукой, а другой взялся за пиллерс.

И тут меня так самого рвануло, что я всей грудью на переборку налетел.

— Хрена ты там тянешь? Сетку трясут!

Вон что! Ни черта, значит, не скопилось там. Просто я вожак со шпилья тянул. И это меня на волне рвануло, шлагги по барабану скользнули, он же ведь полированный уже, в него смотреться можно. Но дрифтер-то — мог же предупредить: «Стой, не вирай пока». Да кому до вожакowego дело!

Я встал к переборке отдышаться, поглядел в люк. И вдруг увидел — звезда качается, голубая, прямо над моей головой. Я просто очумел. Потом лишь дошло, что это не она качается, она себе висит на месте, а нас переваливает с борта на борт. И никто ее не видел, только я один — из темного трюма. Где же это я читал, что можно в самый ясный полдень увидеть звезду из колодца? Даже не верилось. А теперь я сам в этом колодце оказался.

Я стоял, смотрел на нее. А все же был настороже, чтоб меня опять не рвануло. Шпиль, я слышал, работает, его на всю выборку не выключают, но дрифтер, поди, там скинул один шлаг с барабана, чтобы про-скальзывало. А когда он снова его накинёт, это я почувствую, он ведь у меня этот шлаг возьмет, из моря ему не вытянуть.

А там уже первую сетку трясли — бац, бац, бац! — сыпалась рыба. По звуку не слышно, чтобы уж слишком много взяли, но все же. Я не утерпел, полез по скобам поглядеть, и вдруг меня чем-то по шее — скользкое, мокрое, бьется. Здоровенная рыбина скользнула по мне, по рокану, плюхнулась на вожак. Билась она страшно, очень сильная была селедига, самец, все норовила под шлагги забиться, они ж еще воду хранят. А когда я ее выудил оттуда, себе в варежки, она даже пискнула жабрами, такая бешеная была — от злости, что ее обманули. И какая же красивая — ведь только что из моря! Она в первую минуту совсем не серая, не оловянная, не ржавая, как в магазине. Она, сволочь, вся синяя, зеленая, малиновая, перламутровая, и все это переливается. каждый миг — уже новый цвет.

За этой еще одна шлепнулась, только безголовая. Оторвали на тряске. И еще одна — с разорванными жабрами, сочилась кровью. Так они и сыпались с палубы — тоже самцы, косяк попался самцовый, — но

все покалеченные. А эта, что я держал, совсем была целенькая, ни жаберки не надорваны, ни плавничок, ни чешуинки не потеряла.

Я ее взял покрепче, поднялся по скобам, высвободил руку над люком и зашвырнул подальше, за планшир. Глупыш один за нею кинулся, но у моей-то рыбины счастливая была судьба — не далась глупышу, не повезло ему, ушла в море.

На палубе, я слышал, заржали. Дрифтер ко мне заглянул.

— Сень, это ты нашу рыбу выбрасываешь? Как же это? Мы ловим, а ты кидаешь.

— Пускай живет.

— А думаешь, она жизнью попользуется? Она сейчас снова в сетку пойдет.

— Не пойдет. Она теперь ученая.

— Так, думаешь? А ежели она, ученая, теперь неученую научит мимо сетки ходить? Ведь это мы, Сень, без коньяка останемся. Жалостный ты, Сень. Гуманист!

Долго они там ржали. А тех, безголовых, безжаберных, я тоже выловил и выкинул на палубу. Хуже нет, если рыба куда-нибудь забьется, потом от вонии умрешь. А на палубе — бац да бац! — и нет-нет да какая-нибудь ко мне залетала. Если покалеченная, я им обратно выкидывал, а целенькая — ту в море. Пускай смеются. Опять же развлечение для палубных.

А про вожак я опять забыл. Не заметил, как дрифтер выбрал у меня шлаг и накинул на барабан. Пополз, родной, а мы-то заждались. Семь шагов вперед, по солнцу, две петли внахлест, еще пласт уложен, а посмотришь в люк — там она все качается, звездочка. Совсем у меня рук не стало, а варежки — хоть выжми, и все тело колет иголками. Это хорошо еще — рыба куда ни шло, а заловилась, сети приходилось трясти и стопорить вожак, а если б они пустые шли и вожак бы все полз да полз, тут бы я как раз богу душу отдал.

Дрифтер опять ко мне заглянул:

— Как, Сень, привыкаешь?

— Да, привыкаю, — говорю. — А придумать чего-нибудь нельзя, чтоб он сам койлался?

— Чего, Сень, придумать?

— А я знаю? Барабан какой-нибудь, с мотором.

— Да как же он в трюме-то поместится? И подешевле, чтоб ты его укладывал.

— Значит, совсем ничего нельзя?

Дрифтер сказал:

— Ты не изобретай, понял? Ты — вирай.

— Ладно.

Но неужели все-таки нельзя? Конечно, придумают. И до чего же мне тогда будет обидно. Как же это я его руками койлал? Я вам скажу, не зазорно галюн драить, на это еще машины нет. А вот сети трясти — зазорно, когда есть уже на некоторых судах сететряски. Плохонькие, всего одного матроса заменяют, но есть. Вот, скажем, в трамвае кондуктор билетки рвет, а потом — бац! — и вместо него ящичек поставили. Обидно же ему потом, что он вместо ящика стоял.

Но я-то, наверно, уже попривык к вожачку, если мог про чего-то думать. Раньше только и мыслей было — как бы с копыт не свалиться, а теперь все как бы само делалось, а голова была на другом свете. Ничего, думаю, переживем. Вот уже и срост подошел, толстый такой, надо его специально укладывать, чтобы он мне порядок не нарушил, — бог ты мой, а ведь это я уже первую бухту скойлал. Там их еще штук шесть

осталось. Или семь? Надо бы у дрифтера спросить. Только минуты нету, чтоб вылезти.

На палубе опять, я слышу, загорлопанили.

— А это,— слышу я,— Сене-вожаковому тащи, он жалостный.

— Сень, а Сень, держи на!

И плюх на меня! — серое с белым, с черным, пушистое, бьется оно, кричит, сразу в угол забилося, только глазенки блестят, как пуговики. Глупыш, кто же это еще. Весь сизый, с беленькой грудкой, концы крыльев черные. Одним крылом он прижался к переборке, а другое выставил вперед, как щит, и трепыхал им по вожаку. Я хотел его взять — он еще пуше затрепыхался, закричал и клюнул меня в варежку. Тогда я снял варежки и просто ладони к нему протянул. И он пошел ко мне. Ну, ко мне-то в руки всякая тварь пойдет. Я его вытащил к свету — одно крыло у него висело, перышки маховые сломаны у корня,— и как дотронешься, он сразу — кричать и клеваться.

Бичи ко мне заглядывали в люк и горлопанили:

— Сень, ты его рыбой откорми, после кандею отдадим зажарить.

А глупыш притих, только сердчишко у него стучало. Пожадничал, бродяга, в сети полез за рыбой, вот и запутался.

Они там погорлопанили и ушли, увел их дрифтер сети трясти. А я начал глупыша устраивать. В углу, за выгородкой, дрифтер свое хозяйство держал — бухты запасные, пеньку, прядины,— сюда я его и посадил, Фомку. Сразу я его Фомкой окрестил, надо же как-нибудь назвать тварюгу, если она с людьми будет жить. Фомка уже сообразил, что я ему не враг, улегся на прядины, как в гнездо, и присмирел. Я ему кинул селедину, он поклевал чуть, но заглатывать не стал, а подтянул к себе и накрыл крылом.

Тут снова пополз вожак, а сети пошли победнее, и вытрясали их быстро. Бичам полегче стало на палубе, а мне тяжелей.

Дрифтер опять заорал:

— Вир-р-рай! Заснул там, вожаковый? Шевели ушами!

Я и забыл про Фомку. Забегал, как бешеный. А шлагги все ползли, ползли — наверное, совсем пустые шли сети. Теперь, конечно, вся злость на вожакового, почему так медленно койлает.

Я чуть было прислонился к переборке — лоб вытереть, чтоб глаза не заливало,— как он, сволочь, пополз кольцами, прямо на мои уложенные шлагги. Чтоб его теперь уложить, надо же все это обратно на палубу выкинуть, иначе запутаешься. Я их откидывал ногами, локтями, головой, а они все ползли, ползли, и я весь опутался этими кольцами.

Дрифтер прибацал ко мне, наклонился над люком.

— Ты будешь вирать или нет?

— А я чего делаю?

— Не знаю, Сень. Не знаю, чего ты там делаешь. А только не вирай. Погляди, сколько вожака на палубе. Хреново, Сенья. Закишемся мы с таким вожаковым.

— Ты лучше умеешь? Ну и валяй, пример покажи.

Дрифтер даже вспотел от моих речей.

— Вылазь!

— Зачем? — Хотя мне, по правде, очень даже хотелось вылезти.

— Вылазь! И свайку захвати.

Я взял у него в хозяйстве свайку и полез. Он стоял, ноги расставив, и глядел, как я лезу. Я высунул голову в люк и зажмурился. Такое светило солнце. Такое море — хоть вешайся от синевы. Я сел прямо на палубу и ноги свесил в люк. А вожака и правда до фени скопилось на палубе. Но мне уже плевать было, сколько его скопилось. Очень мне хотелось смотреть на море.

— Дай сюда,— сказал дрифтер.

— Чего?

— Свайку дай.

— А, свайку. На, отцепись.

Я смотрел на глупышей, как они носятся с криками над сетями. И все же краем глаза видел, как все палубные молча стоят, ждут, что будет.

Он эту свайку с маху всадил в палубу. Наверное, на два пальца вошла, силенки ему не занимать.

— Вот, пускай она тут и торчит.

— Пускай,— говорю.— Мне что?

— А то, что не будешь вирать — я тебе этой свайкой по башке засвечу.

И пошел к своему шпилью. Снизу он мне выше мачты казался. Грабли чуть не до колен. Ну просто медведь в рокане.

Прямо как во сне я эту свайку выдернул и зафингалил ему в спину. Я его не хотел убивать. Мне все равно было. В фальшборт она вонзилась. Да сидя разве размахнешься?

Дрифтер молча к ней подошел и выдернул. Смерил, на сколько пальцев она вошла.

— На полтора, Сеня.

— Мало. Я думал, на два.

— Мало, говоришь? — Пошел ко мне.— А если б воткнулась? А, Сеня?

— Ничего. Лежал бы и не дрыгался.

Он прямо лиловый был. Сел около меня на корточки.

— Что ж мы с нею сделаем, Сеня? В море, что ли, кинуть?

— Зачем? В хозяйстве пригодится.

— Ах ты, гуманист чертов. Ты что думал, я в самом деле засветить хотел? Я ж только так сказал.

— Ну и я только так бросил.

Поцокал языком. Свайку положил возле люковины. Сидел на корточках, глядел на нее.

— Отчего ж мы такие нервные, Сеня? Кто ж нас такими сделал? Ай-яй-яй!.. Но ты вирай все-таки, Сеня. Помаленьку, а вирай.— Тут в нем опять голос прорезался:

— А что стоим, как балды на паперти? А ну, помогите ему!

Сергея с Шуркой кинулись к нам. Я опять полез в трюм. Потихоньку они мне спустили шлаг за шлагом, пока я все не уложил.

Дрифтер спросил с неба:

— Дома, Сеня, за это дело выпьем?

Я не ответил. Он постоял, поцокал языком и ушел к шпилью. Все лицо у меня горело и руки тряслись.

Сетки пошли — то быстро, то не спеша, косяк попался неплотный, так что я и набегаться успевал, и отдышаться. Если что и скапливалось там, на палубе, дрифтер сам подходил помогать. Приговаривал ласково:

— А вот и опять вожачку накопилось. Повираем его, Сеня?

Или там:

— Заснул, поди, вожачковый наш, как бы это разбудить, не осерчает?

Я уж помалкивал. Пласты ложились мне под ноги, и я на них поднимался к подволоку. Сначала шапкой коснулся, потом голову пришлое повернуть. Последняя бухта всего труднее шла — их все-таки восемь оказалось, а не семь. Потом концевой трос пошел — стальной, на нем до черта было калышек, и надо их было разгонять и следить еще, чтобы жилка в ладонь не вонзилась. Когда последний шлаг хлестнул в

воздухе, я уже и не верил, что конец. Подержал его даже в руке. Нет, ничего уж к нему больше не привязано. Конец.

— Все, Сень, вылазь на воздушок.

Дрифтер стоял надо мной, улыбался. Я полез и чуть не свалился обратно в трюм. Дрифтер меня под мышки выволок.

Я пошел в полубак, прислонился там животом к фальшборту, глядел в воду. Теперь-то я понял, почему тот Павел Иванович глядел часами в подволок, когда скойлает все бухты.

Вода чуть плескалась, и в ней кружились чешуинки — сверху и на глубине. Синее и серебристое — это красиво, черт дери. А больше мне ни о чем не думалось.

— Устал? — спросил дрифтер.

Я только вздохнул. Ответить — язык не шевелился.

Чешуинки закружились быстрее, поплыли назад, вода заструилась... Это мы на новый поиск пошли.

— Стоянку обнести надо, — сказал мне дрифтер. — Знаешь?

Я кивнул. «Стоянка» — это стояночный трос. Надо его вытравить из-под лебедки метров сорок и обнести вокруг мачты со всеми ее снастями. Потому что сети мечут с левого борта, а выбирают их на правом. Работа — отдых, если не качает и полубак не забит бочками; только в носу, где штаг крепится, приходится по плану балансировать с крюком на плече — тут и свалиться недолго. В дрейфе еще покричать можно, а на ходу — сразу под форштевень затянет.

Потом я люковину закрывал, завинчивал... Но рано или поздно, а придется к палубным идти, не хочется же «сачка» заработать, да и нечестно.

Вот и дрифтер напомнил:

— Отдышись и давай бичам помогать. Есть еще работа на палубе.

9

Я-то знал, что свайку они мне не забыли. Бондарь по крайней мере. Остальные помалкивали, а он только повода ждал высказаться.

— Кому помогать? — я спросил. Хоть у меня еще руки не отошли за что-нибудь взяться.

— А не надо, Сень, — сказал он мне ласково. Весь раскраснелся от работы. Но больше от злости. — Отдохни, ты сегодня и так намахался. Свайка — она тяжелая.

— Это смотря в кого кидать.

Он ухмыльнулся в усы, запечатал тремя ударами бочку, откатил.

— В меня бы — так ты б уже там, на дне, лежал.

— Не лежал бы. В тебя-то я бы не промахнулся.

Ну вот, обменялись любезностями, больше из бичей никто ничего не добавил. Исчерпали, значит, тему.

Устали они не меньше моего. А вот вымарались побольше. Я-то хоть чистый там бегаю, в трюме, они же — в чешуе по макушку, в слизи, в крови, на сапогах налипло с полпуда.

— Везет тебе, Сень, — Васька Буров мне позавидовал, — благодари судьбу. А холода настанут — тебе еще всех теплей будет.

Я не стал спорить. Хорошо бы, все хоть день в чужой шкуре побыли, никто б никому не завидовал.

Я поглядел — палуба вся в работе. Вертится карусель. Сети уже на левом борту, уложены и придавлены жердиной; последнюю рыбу сгребают, подают сачками на рыбобел; там ее боцман с рыбмастером, в резиновых перчатках с нарукавниками, мешают с солью, ссыпают себе под живот, в бочки.

Салаги взялись палубу водой скатить. Один скатывал, другой ему потравливал шланг. Ну, это и один может. Тут же Алика за плечо завернули. Васька Буров завернул — он, как ястреб, видит, кому поменьше работы досталось.

Дрифтер с помощником возятся у сетевыборки, что-то она сегодня заедала. А заедает она, потому что на берегу придумана, там не качает, сетку из-под храпцов не рвет. Они ее разобрали, посмотрели, да и снова начали собирать. Вроде бы все в порядке. Ну, а завтра снова ее заест — разберут да посмотрят.

А все остальные — конечно, с бочками. Великое дело — бочки! Их надо выбрать из трюма, вышибить донья, обручи осадить и залить забортной водой из шланга, чтоб разбухли к утру. И еще так расставить их, чтоб не мешали ходить и не кренили судно и чтоб не падали бы, не катались по всей палубе. Только они все равно и мешают, и кренят, и катаются, потому что палуба маленькая, а бочек до черта, и неизвестно, сколько их назавтра понадобится. Это рыба скажет. Сегодня вот одиннадцатая понадобилось. Выставляют на всякий случай штук семьдесят, больше все равно не поместится. Если больше заловится — значит, будем маневрировать: штук десять из трюма пустых достанем, на их место — штук десять с рыбой, и так до посинения. А в это время, пока мы с ними возимся, судно идет, его качает, и бочки вырывает из рук, но кеп и минуты не ждет, он завтрашнюю рыбу ищет.

Так что салаге Алику плохо пришлось — отрядил его Васька подкатывать ему полные, с рыбой. Сам-то он на лебедке пристроился, там силы никакой, только храпцы надевай на кромки да помахивай варежкой. Самое муторное — подкатывать. Стоят они между фальшбортом и надстройкой, там узко, бочка не прокатится, надо ее, родную, скантовать в обнимку, после уж повалить и катить к трюму. Кое-как салага ее скантовал и повалил, а дальше она у него сама поехала. Но прежде она его сбила с ног. Едва-едва я успел ее перехватить.

— Ты, — спрашиваю, — из цирка? Или так, жить расхотелось?

Он сидел и только глаза тарашил — отчего ж это она вырвалась. Даже испугаться не успел. Не понял, чем бы это кончилось, если б она к нему вернулась с креном. Вскочил и снова за бочку.

— Подожди, — говорю, — посмотри хоть, как это делается.

— Чего ты с ним нянькаешься? — Шурка Чмырев мне заорал. — Мне кто показывал?

— Потому ты дураком и остался. Гляди, — говорю Алику, — я ее одними пальчиками покачу. Видишь — сама идет. Все понял?

Покивал он, потом сам попробовал — опять она у него вырвалась.

— Алик! — ему Димка крикнул. — Не позорь баскетболистов!

— А черта ли толку, — говорю, — что он баскетболист? Тут думать надо. Вот, смотри. — Я опять ему показал. — Ты на пароходе работаешь, тут все труднее в сто раз. Но можно же эту качку использовать. Ты же не смотришь, катишь ее против хрена, это себе дороже. А я подожду, пока от меня накренится, и вот она сама пошла, только поддерживай с боков. А теперь крен на меня, сейчас назад покатится, а я ее — поперек. И никуда она, сволочь, не денется. Понял теперь? Вот и весь университет.

Понял как будто. Сам попробовал, и получилось. Расцвел от радости.

— Спасибо, — говорит.

— Не за что. Спасибо мне твоего не нужно. Мне б как-нибудь тебя живого домой отпустить.

Вместе мы быстренько все одиннадцать скатали, и он до того разошелся — еще чего-то хотел делать на палубе.

— Неужели все? — спрашивает.

Я удивился — одно дело ему показали, а в другом он опять лопух. Видит же, что трюм не закрыт лючинами, брезент валяется рядом, клинья.

— Так и поплывем, — спрашиваю, — с разинутым трюмом?

Даже уши у него запылали.

Положили все лючины, накрыли брезентом. Тут он сам стал заклинивать.

— Ты, — спрашиваю, — ручник держал когда-нибудь?

— Что это такое — ручник?

— То, что в руке у тебя.

— А! Молоток?

— Дай сюда. И ступай в кубрик.

Жора-штурман крикнул мне из рубки:

— Гони ты его по шлям, сам сделай.

Алик на меня поглядел, и мне нехорошо сделалось. У него чуть не слезы были в глазах. И правда, зачем я его мучил?

— Иди умывайся, без тебя управлюсь.

Он встал, руки в карманах, но не уходил. Смотрел, как я заклиниваю. А рядом другой лежал ручник и клинья — он их не догадался взять.

— Ну, что стоишь над душой, как столб!

— Послушай, — он мне говорит, — я думал, ты хоть чем-то отличишься от всех остальных. Так мне казалось. А ты — такой же. Это жалко, шеф. Побереги хоть нервы.

Я встал тоже.

— Это хорошо, что я кричу. Вот когда ты мне совсем будешь до лампочки, я тебе слова не скажу. Это лучше будет?

— Ты знаешь — пожалуй, лучше.

Он закусил губу и пошел. Честное слово, мне жалко его было до смерти. И ненавидал я его — со вчерашнего вечера. И понять не мог — зачем человек не своим делом занимается?

А все уже в кубрик ушли. Один я остался — из-за салаги. А на палубе не дай бог задержаться.

— Эй, как тебя? Шалай? — Жора-штурман мне кричит. — Кто шланг оставил?

— Кто же оставил? Кто бочки заливал.

— У, салага, мешком трехнудый! Убери-ка его.

Пошел убирать шланг. За это время он мне еще работу нашел.

— Глянь-ка, вон бочка слева стоит, шестая.

— Ну?

— Привяжи-ка ее, от греха подальше, покатится.

Это уж Васька Буров мне удружил, сачок.

— И рыбодел не привязали.

Уж все на обед пронеслись галопом, а я все возился. Вот те и Алик! «Неужели все?» Я взмолился наконец:

— Жора, всей работы на палубе не переделаешь. А мне на руль идти.

Он махнул рукой.

— Иди обедай. Боцмана позови ко мне.

Пока я рокан скидывал, умывался, уже в салоне битком набилось. Это у нас быстро делается — не хочется же по переборочке жаться, за столом только восьмеро помещаются. Да еще обязательно кто-нибудь из штурманов или механиков рассиживает — нет им другого времени пообедать.

В данный момент третий штурман расслаживал. Доедал не спеша компот, а косточки сплевывал на ложечку — в мореходке, поди, научился. Им там, поди, специально лекции читают — как себя в обществе вести. Так он, значит, посиживал, а мы по переборочке жались. И он же нам еще и говорит:

— Вам,—говорит,—обед сегодня не полагается, мало рыбы взяли. Одиннадцать бочек — это разве улов?

— А кто ее искал? — спросил Шурка. — Ты ж на вахте был.

— Эхолот ищет, не я.

Все, конечно, шуточка. Только шутить не надо, когда всем обидно из-за тонны мыкаться.

— Это вот точно,—сказал ему дрефтер,—к эхолоту еще мозги требуются.

Тот застыл с ложечкой, медленно стал бледнеть.

— Не понял. Прошу повторить.

Дрифтер взял, да и повторил, ему что. Да еще прибавил в том смысле, что кое-кто у нас на пароходе чужой хлеб ест.

— Твой, что ли?

— И мой в том числе.

— Прошу — персонально. При свидетелях. Кого имеешь в виду.

Дрифтер смолчал через силу. Его уже и за локти дергали, и на ноги наступали. Бондарь зато высказался:

— Ты б, Сергеич, не шумел бы, видишь — люди с выборки пришли, устали, как собаки, могут чего и лишнего сказать — про кого, и сами не знают. А ты на себя примешь. Это не надо.

Тоже миротворец. В нем такая змея сидит, на всех яду хватит. И как чуть скандалом запахло, он тут, с добродушной такой ухмылочкой. Третий пошел к двери, сказал:

— Я лишнего от себя не прибавлю. А то, что тут было сказано, считаю нужным довести до сведения капитана.

— Валяй, доводи,—дрифтер опять не стерпел,—это ты умеешь.

И только за третьим дверь захлопнулась, Васька Буров поддакнул:

— Да чо с него взять-то, с Шакал Сергеича? С чужим дипломом плавает.

И пошло на эту тему:

— Как так — с чужим?

— А украл он его, наверно.

— Только «фио» проставил.

— Да шельма же, по глазам видно. Бандюга со шрамом.

Димка все эти речи слушал, посмеивался, переглядывался с Аликом, потом сказал:

— Очаровательная вы компания, бичи! Смотрю я на вас — не люблюсь. Непонятно мне, что вас объединяет. А доведись вам сообща против кого-нибудь... сомневаюсь, хватит ли вас.

Я увидел — все на него смотрят злыми глазами. И молчат.

— Будет вам,—кандей Вася вмешался,—передеретесь еще в салоне.

Он притащил целый газ с жареной треской и вывалил на стол, на газетку. Нам в этот день четыре трещины попались, и он их всю выборку за бортом держал, на прядине, только сейчас живыми кинул на сковороду. Потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска, «ее, заразу, нужно есть, когда она в состоянии клинической смерти». И тут, конечно, все споры кончились. А дальше я не знаю, мне на руль было идти.

Сменял я помощника дрифтера, Гешу. А у Геси часы золотые на руке, он их и во время выборки не снимает, и всегда ему кажется — он лишнее на вахте стоит.

— Может, ты б еще через часик пришел? — спрашивает. — А то слишком рано.

— Знаю, что рано, — говорю, — да там кандей трески нажарил, мне жалко стало, что тебе не достанется.

— Семьдесят градусов, руль сдан.

— Порядок. Руль принят.

А встал я минута в минуту, еще Жору-штурмана не сменяли. Как раз вместе со мною третий заступал, а он-то не опаздывает, Жору боится. Жору и капитан боится. Ну, не боится, а прислушивается, потому что на самом деле ему бы старпомом плавать, а не плосконосому.

Пришел третий — нахмуренный, красный лицом, только шрам белел.

— Точны, как бог, Константин Сергееч. — Жора его всегда на вы зовет, хотя тот и младше его годами и чином. — Курс семьдесят, селедка ушла на бал. Увидите акулу — передайте привет. Адье!

Третий походил по рубке, зашел в штурманскую — там что-то эхолот пискнул, — спросил оттуда:

— Сколько держишь?

— Семьдесят.

— Держи семьдесят пять.

— Пожалуйста.

— Не «пожалуйста», а «есть держать семьдесят пять». Учишь вас, учишь, а все деревня. Никакой флотской четкости от вас не дожدهшься.

Вышел опять в ходовую, опустил окно. Внизу как раз прошел дрифтер — руки за поясом, штаны сзади блестят, голенища желтым вывернуты наружу, за голенищем — нож. Рыбацкий шик.

Третий сплюнул на палубу, повернулся ко мне.

— Как ты относишься, что он на тебя замахивался?

— Кто замахивался?

— Ну, чего виляешь? Свайкой он на тебя замахнулся или нет?

— Я тоже на него замахнулся. Даже вроде бы кинул.

— Ты тоже не на высоте. Но он первый начал. Это все видели.

— Ладно, забыто уже.

— Ха! Думаешь, он тебе забыл?

— Почему я знаю. Я ему забыл.

— Ну и дурак. Такие вещи нельзя оставлять без последствий.

— У него работа нервная.

— А у тебя — спокойная?

Мне неохота было лезть в ихнюю склоку. Она у них теперь не кончится. Как у меня с бондарем. Тоже друг друга невзлюбили — значит, нужно на разные пароходы расходиться, а не выяснять.

— Слушай, Сергееч, я жаловаться к кепу не пойду. Предпочитаю своим способом.

— Это, знаешь ли, порочный способ. Так ты только руки ему развязываешь. Устанавливаешь, понял, ненормальный стиль отношений на флоте. Слыхал, как он в салоне распоясался?

Я промолчал. Он так всю вахту проспорит.

— Сколько держишь?

— Восемьдесят.

— А я тебе сколько сказал?

— Семьдесят пять.

— Как же так? Точней на курсе!

— Есть!

Следил, как я одерживаю, выравниваю курс. Не все ему равно — идем на поиск, море прочесываем. Потом надоело следить, охота была высказаться.

— У тебя какое образование?

— Семь классов.

— Видал! А у будки — всего четыре. А он на тебя орет, замахивается.

Я промолчал.

— Какого же хрена ты в матросах кантуешься? Тебе в мореходку надо идти.

Я кивнул. В мореходку так в мореходку.

— Я серьезно говорю. Охота тебе в кубрике с восемью рылами сидеть? Выслушивать от каждого... Что дрейфтер, что боцман... А у тебя же голова светлая!

Я засмеялся. С чего это он взял — насчет моей головы?

— Чего смеешься? Плакать надо. Так и подохнешь в кубрике. Я те точно предсказываю.

— «Дед» мне то же самое предсказывает. Только — под забором. И — в механики зовет.

— Ты «деда» не слушай: «Дед» у тебя, знаешь... Хотя, в общем-то, он прав. Но лучше — в штурмана иди. У тебя дело будет в руках, понял? Знания какие-то. А когда дело в руках — и делать ничего не надо, понял?

— Нет.

— Чего тут не понимать! Вахточку отстоял — и гуляй шестнадцать часов в сутки, плюй на всех с клотика. Купишь себе макен, мичманку наденешь. Есть же у тебя стремление к полноценной жизни, курточку вон какую отхватил. А представь — ты штурман. В макене ходишь, с белым шарфиком, берешь такси, едешь в ресторан, развлекаешься, как человек. Тебе уважение. И не рассусоливай в жизни, не мямли. Надо быть резким человеком, понял?

— Ага.

— Сколько держишь?

— Семьдесят два.

— Точней на курсе! А все эти... Их надо на место ставить. Холодно, резко, понял?

— Понял. Надо быть резким человеком.

— Во! Столько и держи.

Опять запищал эхолот. Третий сбегал туда и вернулся, сплюнул вниз, на палубу. Плевался он длинно, это у него хорошо получалось.

— Ты женатый?

— Нет пока.

— Что ты! Цены тебе нету. Свободный, незатравленный. А я одной стерве двадцать пять процентов от сердца отрываю, от другой отбиваюсь, а там пацан, понял? Такой пацан — закачаешься! «Папка у меня стулман», понял? Характером — весь в меня, даже не платить жалко. Будет резким человеком. Если она его не испортит. Вот я чего боюсь.

Хлопнула дверь — кеп вошел, в шапке, в телогрейке, в тонких сапожках, как у кавказских плясунов. На палубе в таких не ходишь, но капитаны, бывает, неделями на палубу не выходят. В шапке у него решительный был вид, моряцкий, не скажешь, что лысина, как поднос. Первым делом он на эхолот поглядел, потом на компас. Нахмурился.

— Сколько он у тебя держит? Лодочными зигзагами он у тебя ходит¹.

— А ну точнее! — сказал третий. — Ты что, бухой?

Спорить тут бесполезно. Они лучше моего знают, что картушка на месте не стоит ни секунды. Держишь в общем и целом. Но поворчать полагается.

— Не ходи зигзагами, — кеп мне говорит.

— Я не хожу.

— Ты-то не ходишь, пароход ходит.

— Есть не ходить.

Слава богу, эхолот заверещал опять. Оба туда кинулись.

— Можно бы и метнуть, — сказал третий. — Худо-бедно...

— А глубина? Сейчас-то погода слабая, она, видишь, по дну идет. А к ночи — хрен знает, на сколько она поднимется.

Снова вернулись в ходовую.

— Норвежец вон уже на порядке стоит, — третий заметил. — Спросить бы у него, на сколько забрасывали?

— Я те спрошу! Еще чего придумаю.

Норвежец был весь оранжевый. На палубе, у лееров, стояли двое в черных роканах, смотрели, как мы проходим. Почему бы и не спросить у них? Надо только выйти на мостик, показать пальцем вниз, нарисовать вопросительный знак. Жалко им, что ли, ответить?

— Давай-ка сами проверим, — сказал кеп.

— Да неудобно, Николаич.

— Неудобно штаны надевать через голову.

Третий по телеграфу сбавил ход до малого и ушел к эхолоту. Справа по ходу качались на зыбях норвежские кухтыли, красная цепочка длинной с полмили. У них порядки покороче наших, да ведь и суда поменьше.

— Правее держи, — сказал кеп. — Пройдешь между кухтылями?

— Постараюсь.

— Не «постараюсь», а надо не задеть.

Всегда так делают на промысле, если надо пройти через чужой порядок. Но я так думаю, норвежцы-то поняли, что мы их проверим. Для чего же мы курс меняли? Те двое, что стояли на палубе, так весело переглянулись. Даже кеп смутился.

Эхолот пискнул и смолк. Это мы прошли над их сетями.

— Восемьдесят, — сказал третий.

— Ну вот видишь. И спрашивать не надо.

Норвежцы глядели на нас и скалились.

— Давай-ка полный, — сказал кеп.

Третий перевел ручку телеграфа. Но справа кто-то уже нас обгонял, быстренько, как стоячих. По синему борту бежали белые буквы. Третий их читал, шевелил губами.

— «Герл Пегги. Скотланд».

— Шотландец, — сказал кеп. — А ты — «Скотланд». То-то и видно, что диплом у тебя не свой.

Лицо у третьего пошло пятнами.

— А ходко идет, — кеп позавидовал. — И всего-то навсего автоматный движок у него.

— Обводы зато хорошие.

— Обводы — мечта!

Шотландец нас обошел — стройный, гордый, как лебедь. Мы смотрели на его корму с подвешенной шлюпкой — такой же синей, лаковой, как

¹ Капитан, очевидно, имеет в виду «противолодочные» зигзаги, которыми ходит миноносец, забрасывающий глубинными бомбами подводную лодку.

его борт. Из камбуза вышел повар в белом колпаке и фартуке, с ведром. Он на нас посмотрел, чего-то крикнул кому-то в дверь и выплеснул с кормы помон. Это было прямо у нас по курсу.

— Нахалы,— сказал кеп.— Нахалы, больше никто. А ты еще спрашивать у них хотел.

— Я не у них. Я у норвежцев.

— Все хороши. Аристократы вонючие.

Из радиорубки вышел в ходовую «маркони». Чего-то он улыбался хитро, смотрел вслед шотландцу, потом сказал как будто между прочим:

— Николаич, радиogramмку примите.

Кеп на него уставился грозно:

— От этого, что ли? От «Пегги»?

— Ага.

— А зачем принял?

— Случайно.

Кеп ее взял двумя пальцами, как лезвие.

— Детством занимаются. «Иван, селедки нет, собирай комсомольское собрание». Хотя бы новенькое чего придумали.

Скомкал ее, кинул за борт через окно.

— Больше мне таких не подавай. Делать тебе нечего.

— А я чего? — «Маркони» мне подмигнул.— Они на совет капитанов настроились, знают волну.

— Врешь ты все. Сам на них настроился.

— Проверьте.

Кеп поглядел на часы. И правда, пять было, как раз совет капитанов. Он ушел в радиорубку и там, слышно было, забубнил:

— Восемьсот пятнадцатый говорит. Здравствуйте, товарищи. Сегодня первая выборка у нас. Взяли маловато, одиннадцать бочек. Глубина шестьдесят. Сегодня думаю метнуть на восемьдесят. Есть такое предположение...

Вышел мрачный, походил по рубке, снова пошел смотреть эхолот.

— Пишет все, пишет... Мелочь пузатую. Или планктон. Ладно, пойду к себе. А ты позови, когда чего-нибудь дельное напишет. И следи, как полагается, а то ты ему лекции читаешь...

Откуда он наш разговор слышал? Наверно, по трубе из своей каюты. Она хоть и заткнута свистком, но услышать можно, если уши иметь. И желание.

— Ему не я читаю,— сказал третий.— Ему «дед» читает, в механики зовст.

Кеп себя постучал пальцем по лбу — мне видно было краем глаза.

— Чем бы дите ни тешилось... Тоже дите, хоть и старое.

Пошел было, потом опять вернулся, поскреб щеку.

— Между прочим, собрание бы надо провести. Есть кой-какие вопросы.

— Значит, не зря я вам радиogramмку подал? — спросил «маркони».

Кеп рассердился:

— Делом займись, Линьков. Аппаратуру свою изучай, повышая квалификацию. Тоже детством занимаешься...

Я потом спросил:

— Почему это он «деда» не любит?

— Точней на курсе,— сказал третий.— Вправо ушел. Не ходи вправо.

Больше мы не говорили.

Потом я сменился и пошел глупыша проведать. Он уже всю селедку успел слопать и поднагадил, конечно. Я ему все почистил, потом надер-

гал из шпигатов еще несколько селедин. Там они всегда застревают, никакой струей их оттуда не вымыть.

Фомка поглядел на это богатство, одну заглотал сразу, другие накрыл крылом. Он уже меня совсем не боялся, не зарывался головой в перья, когда я руку подносил. Но с крылом у него плохи были дела, я чуть задел случайно, и он закричал, забился. И потом уж смотрел на меня сердито, только и ждал, когда я уйду. Вся дружба наша полетела прахом.

II

Собрание мы в этот же день провели. Не комсомольское, правда, а судовое.

Собираемся мы в салоне. Ну, летом в погожий день можно и на палубе, а так — в салоне, это у нас самое большое помещение. Почти все оно занято столом, с двумя лавками, на одном краю стоит кинопроектор, а против него простыня натянута вместо экрана. В камбузной двери — окошко, оттуда кандей подает «юноше» миски и кружки, и в это же окошко они смотрят фильмы.

Набились плотно, все пришли, кроме вахтенных. Кеп нам сделал доклад: рейс у нас — сто пять суток, за это время мы пять раз должны подойти к базе, сдать пять грузов, а шестой на себе повезем в порт. Всего план у нас — триста тонн, за выполнение — премия двадцать процентов, за каждую тонну сверх плана — еще по два процента, пока их сорок не наберется, а там — шабаш, хоть всю Атлантику вылови, платят только за рыбу — рубль тонна.

— Ну, высказывайтесь, моряки, сколько берем перевыполнения?

Помолчали. Крепко помолчали. Потом Шурка высказался — он у кинопроектора сидел и крутил ролик. С другой стороны ролик крутил Серега.

— Это как заловится, — сказал Шурка.

— Само собой. Но обязательство-то взять нужно.

Опять помолчали. Васька Буров попросил слова и брякнул, как в воду кинулся:

— Триста одну тонну!

Кеп усмехнулся.

— Всего-то одну? Ну, Буров, ты даешь стране рыбы!

— Да по мне хоть четыреста, разве жалко. Только не заловится.

Жора-штурман, которого мы секретарем выбрали, разрешил сомнения:

— Об чем спор? В прошлый раз на триста двадцать взяли обязательство, а выловили триста пять. И — что? Такие же сидим, не похудели.

Так и проголосовали — за триста пять. Кеп не стал спорить, записали это в протокол.

— Только прошу заметить, — сказал кеп. — Если мы, как сегодня, будем брать, это мы в пролове будем как пить.

Дрифтер только того и ждал.

— А это уж не от нас зависит. Мы со своей стороны — все приложим. Но кто ее ищет? Штурмана ищут. А они должны искать по всей современной науке, а не так, как вчера.

Третий заерзал на лавке.

— Сколько нашел, столько и застолбил. Значит, не было больше.

Дрифтер на него не глядел.

— Вопросик у меня в связи с этим.

— Давай свой вопросик, — сказал кеп.

Лицо у дрифтера засияло, залоснилось.

— Вот у нас некоторые штурмана без дипломов ходят. Могу я им доверять, когда они на мостике? И жизнь свою доверять, и рыбу.

— Кого имеешь в виду?

— А пусть он сам выступит, собрание послушает.

Все поглядели на третьего. Он встал, весь красный.

— Кто тебе сказал, пошехонец, что у меня диплома нет? Могу показать.

— Мне чужого не надо, я на твой хочу поглядеть.

— Черпаков,— сказал кеп,— что у тебя с дипломом?

— Да,— сказал дрифтер,— объясни собранию.

— Есть у меня диплом. Только справки нет об экзаменах.

— Где ж ты ее потерял? — спросил дрифтер.

— Не потерял, а в порту оставил.

Дрифтер взревел:

— Попрошу в протокольчик! Справки при себе не оказалось.

— Не гоношись, у меня только два экзамена не сдано.

— Попрошу в протокольчик! Два экзамена не сдано. Как же тебе его выписали, если не сдано?

— Ну, выписали. Обязался попозже сдать. В рейс надо было идти, вот и выписали.

— Сколько ж поставил? Банку? Или две?

— Не твое дело, пошехонец.

— Черпаков,— сказал кеп.— Чтоб ты мне оба экзамена сдал срочно.

Какие у тебя не сданы?

— Сочинение по литературе. И морская практика. В порт придем — тут же дам.

Дрифтер опять вылез:

— Нет, не в порт. До порта я еще с тобой плавать должен, жизнь свою доверять. А экзамены ты можешь на базе сдать, там тоже преподаватели имеются.

— Нужно ж еще подготовиться.

— Вот и готовься. Вахточку отстоял — и готовься. А нечего ухо давить и фильмы смотреть. Откажись от кое-каких соблазнов, а сдай, всей команде на радость.

Кеп сказал:

— Придется, Черпаков. Какой первый сдашь?

— Какой потрудней. Сочинение.

— Попрошу в протокольчик! На первой базе он сочинение сдает, а на второй — практику.

Занесли и это. Третий сел как побитый, сказал дрифтеру:

— Добился, пошехонец.

— А я не для себя стараюсь. Для всей команды.

— Добро,— сказал кеп.— Какой там следующий? Быт на судне? Вот, с бытом... Прямо скажем, хреново у нас с этим бытом. Сегодня в салон вхожу — Чмырев какую-то историю рассказывает Бурову и матерком перекладывает, как извозчик дореволюционный. Салон у нас или сапожная мастерская?

— А чо? — спросил Шурка.— С выражением!

— Так вот — без этих выражений. А то мы без женщин плаваем, так сами себя уже не контролируем.

Опять помолчали крепко.

— Николаич,— сказал дрифтер.— Вы ж сами иногда... на мостике.

— И меня за руку хватайте.

— Есть предложение,— Васька Буров руку поднял.— Записать в протокол: для оздоровления быта — не ругаться в нерабочее время.

Кеп махнул рукой.

— В протокол этого записывать не будем. В протокол запишем — совсем отказаться. Но языки все же попридержим.

Проголосовали за это.

— Теперь насчет стенгазетки, — сказал Жора. — Хоть пару разиков, а надо б выпустить.

Сергея сказал угрюмо, не переставая ролик крутить:

— Это салагам поручить. Они у нас хорошо грамотные.

— А что? — сказал кеп. — Это разумно. Только не салаги они, а молодые матросы. Как они, согласны?

— Сляпаем, — сказал Димка. — Алик у нас лозунги хорошо пишет.

— Вот, шапочку покрасивей. Только название надо хорошее придумать, звучное.

— Есть, — сказал Шурка. — «За улов!».

Кеп поморщился.

— А пооригинальней чего-нибудь нельзя? «За улов!», «За рыбу!». А что-нибудь этакое?..

— «За улов!», — Шурка настаивал. — За ради чего мы тогда в море ходим?

Проголосовали — «За улов!». На том и разошлись мирно.

12

Среди ночи я проснулся — от какого-то стука.

Ребята в койках постанывали — должно быть, плохое снилось. — и я понял, что качает нас. Меня самого переваливало с боку на бок, и никак я позы не мог найти, и все тело ныло от жоака. А на палубе что-то каталось, стучало. Я не выдержал, полез из койки.

Луна пропала, и вокруг не видно было огней. Наш топовый и на штаге едва светились. И море как будто всхрапывало в темноте. А перекатывалась пустая бочка, олух какой-то не закрепил. Я ее поймал, привязал поводком.

В окне рубки кто-то маячил — темный, чуть подсвеченный из нактоуза. Я так и не понял, кто на вахте и который час. Он врубил прожектор, окликнул:

— Кто на палубе?

— Тебе не все равно?

— Что ходишь, как привидение?

— Бочку закрепляю.

— Во, правильно. А то по нервам стучит.

По голосу — как будто Жора. Его вахта с полуночи до четырех. Вот это и было мне интересно — сколько еще спать осталось.

Раскачивало все сильнее, но никто не проснулся. Я себе под бортик положил свернутую телогрейку, и тоже стал задремывать и все кого-то просил, чтоб мне никаких кошмаров не снилось.

Утром нас не будили долго — оказывается, старпом там с кепом совещались, выбирать ли сегодня. Потом старпом пришел все-таки.

— Штормит, мальчики, а выбирать надо.

Еще из капа видно было, как штормит, — брызги даже сюда залетали, хотя дверь смотрит в корму. Стучало по брезенту, которым трюма накрыты, и долетало до стекол рубки, залепляло их пеной.

Одевались в роканы молча и не спеша, и никто нас не подгонял — все равно выйдем, никуда не денемся. Только Алик спросил, когда выйдил:

— Неужели и в такую погоду выбирают?

Никто ему не ответил.

Горизонт затянуло струями, как кисеей, и мы стояли по местам, как солдатки, в зеленом, и роканы вмиг заблестели. Не разглядеть под зойдвестками, кто где стоит. Все одинаковые, и у всех на лице одно — жить не хочется.

У меня работа в этот раз была легкая, потому что рыбы в сетях было много и вытрясали ее подолгу, вожак шел медленно. Я и Ваську Бурова вспомнил: «Тебе там всех теплее будет, в трюме». Разве что с вожака лилось за шиворот. Но уже на второй сетке дрефтер ко мне заглянул:

— Вылазь, Сеня, помоги на тряске.

Это справедливо — когда работаешь на палубе, нет хуже, если кто-то сидит и перекуривает. Хоть он свое дело сделал, все равно — звереешь от одного его вида. А тем более тут еще на подвахту вышли — «марконни», старпом и механики. Не много от них помощи — сгребают рыбу гребком, подают сачками на рыбодел, а на тряску никто из них не становится. А самое трудное — тряска.

Я встал у сетевыборки — сеть шла из моря широкой полосой, вся в рыбе, вся серебряная, вся шевелилась. Серега и дрефтеров помощник с двух сторон цепляли ее под храпцы барабанов — за подбору, которой она окантована, а посередине тащило ее рифленным ролом, и сеть переваливалась через рол, рыбьими головами к небу, прямо к нам в руки.

Берешь сеть за подбору или за край, где свободно от рыбы, обеими горстями и — вверх, выше головы, все тело напрягается, поет от ее тяжести, а ветер несет в лицо чешую и слизь и в глазах щиплет; потом — вниз, рывком — и рыба плюхается тебе под ноги, рвешь ей жабры, головы, брызжет на тебя ее кровь. Всю ее сразу не вытрясти, но это уже не твоя забота, твоих только два рывка, а третьего не успеваешь сделать, сеть идет дальше, пропускаешь с полметра и снова берешь обеими горстями, и вверх ее, выше, выше, и — рывком вниз. Сначала только плечи перестаешь чувствовать, и спина горит, как сожженная, и ты даже воде рад, что льется за шиворот. Потом начинают руки отниматься. А рыбы уже по колено, не успевают ее отгрести, и как успеешь — мотает ее с волной от фальшборта до трюмного комингса, и нас мотает с нею, ударяет об сетевыборку, друг об друга, и ногу не отставишь, стоишь, как в трясине. А если еще икра — скользишь по ней, как по мылу, а держаться не за что, только за сеть.

Мы уже до бровей — в чешуе, роканы — не зеленые, а серовато-розовые, сапожищи посеребрились и окровавились. И самое удивительное — мы еще покуривать успеваем в рукавчик, по одной, по две затяжки, потом «беломорину» кидаешь в варежку и так передаешь другому, иначе ее залепит, — и потравить успеваем кто о чем. Вон я слышу — Васька Буров сказку рассказывает: «Жил на свеге принц распрекрасный и любил он одну красивую бичиху...» Боцман какой-то анекдот погибает, который я вам тут не перескажу, дрефтеров помощничек Геша долго в соль вникает и ржет, когда уже все оторжались, и все уже над ним ржут.

Потом меня оттолкнули — дальше, на подтряску. Это кажется просто раем, такая работа после тряски, — сеть идет уже легкая, пять-шесть седелок невытрясенных на метр, и кое-где еще головы оторванные застряли, это чепуха вытрясти, можно и рукой выбрать, времени хватает. Потом она идет на подстрельник, переливается и ложится складками на левом борту. Там ее трое укладывают — один посередине, себе под ноги, двое по краям, за подборы. Но это уже просто отдых, а не работа; и тем, кто поводы отвязывает и крепит их на вантине, тоже отдых — можно и посидеть на сетях, пока следующую подтягивают. Туда посылают, когда дойдешь на тряске. Всех, кроме вожакowego. Ему — опять в трюм.

До обеда мы только двадцать сеток выбрали. А их девяносто шесть. Или девяносто восемь. Никогда нечетного числа не бывает. Не знаю почему. Говорят, «рыба чет любит, а от нечета убегает». Суеверие какое-то. Много у нас суеверий. И сотню она не любит, нужно сто две тогда, сто четыре.

А уже все забито бочками. Сколько же мы возьмем сегодня — триста, четыреста? Мы уже и счет потеряли, только знай трясли до одурения, мотались по колону в рыбе, пока нам кандей не покричал с камбуза:

— Команде обедать!

Еще минут пять мы трясли, сгребали рыбу, откатывали бочки, пока это до нас дошло. Тогда враз остановились. И поплелись в кап — снимать роканы.

— Полундра, ребята, — дрефтер нас завернул, — роканá не снимать. Обедать в смену будем, в корме. А то и до ночи не разгребемся.

Да, уж если до подвахты дошло — не разгребемся. Четверо пошли обедать, а мы еще остались — солить, запечатывать бочки, в трюм их грузить. Ни рук уже не чувствовали, ни ног, и злы были на весь белый свет — до того, что уже и молчали. Раз мне только бондарь сказал, когда я ему бочкой на сапог наехал:

— Когда ты уже умрешь?

Спросил равнодушно, как будто и без злости. Только я ведь знаю — когда так спрашивают, тут самое страшное и случается. Я ему только ответил:

— На второй день после твоих похорон.

И отошел подальше.

Потом эти четверо вернулись и нас сменили. Мы не утерлись даже, не вымыли ни рук, ни сапог, полезли по бочкам в корму. Сели на кнехты — Ванька Обод, салаги и я. Здесь не каплет, не брызжет, только сиди покрепче, чтоб не свалиться. Кандей нам вынес борща в мисках, и мы их поставили себе на колени.

В волнах носилась косатка, переваливалась серым брюхом под самой кормой, шумно выдыхала из черного своего дыхала. Кандей ей кинул буханку черного — улестить, чтоб к нашей селедке не подбиралась. А то, не дай бог, в сетях еще запутается — она ведь не успокоится, пока не освободится, все сети может изодрать.

Потом кандей нам в те же миски насыпал каши с солонной, принес по кружке компота. И все, нужно снова на палубу.

Салаги хотели было перекурить, Алик сказал:

— Передохнем хоть.

— У мамы отдохнешь, — Ванька ему ответил.

— Какая же работа без перекура? Это ж святое дело.

— Есть такая работа, — я ему сказал. — Это наша, рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет. Запомни это, салага. Чем скорей ты это усвоишь, тем легче жить.

Димка сказал:

— Пошли, Алик, пошли. Есть все-таки святое. Это слова нашего дорогого шефа.

Этот как будто понял. Можно, конечно, и выгадать время. Но только потом в сто раз труднее будет, из темпа выбьешься. Лучше уж сразу себя загнать до полусмерти, а потом повалиться в койку и выспаться, чем разбивать себя перекурами.

Рыбу уже всю сгребли и палубу расчистили, ждали голько нас.

— Давай по местам, — сказал дрефтер. — Начнем по новой вирать. А когда он сам успел пообедать, никто не заметил.

После обеда Жора-штурман сменился, на вахту вышел третий. И тут у них с дрефтером начался раздрай.

Началось с акул. Пришли к нам, родименькие, штук пять или шесть. Почуяли, что тут рыбы навалом. А они ее не просто из сетей выжирают, а вместе с делью¹ — никак ее потом не залатаешь. Сельдяная акула длиной чуть побольше метра, но прожорливые же они, никакого сладу с ними нет.

Одна все-таки запуталась в сетях, бичи ее ко мне в трюм кинули:
— Поиграй с нею, Сеня, развлекись!

Она, сволочь, тут же перестала трепыхаться, распласталась на вожаке, только глаза зеленые светились в темноте. Красивая, ничего не скажешь. Как торпеда. Я с ней и вправду «поиграл» — погладил варежкой, подергал за плавники, за хвост. Лежала, как мертвая. Я подумал: может, и вправду померла уже, — и сдуру ей варежку сунул в рот, толстую, брезентовую. Чуть заметно она двинула челюстями и полварежки отрезала, как бритвой. Я ее выкинул на палубу:

— Наигрался.

Серега ее взял за хвост, треснул головой об планшир и выкинул в море. С полминуты она полежала брюхом вверх, потом перевернулась и пошла к сетям. И снова попалась. Тогда к ней бондарь подошел с ножом и ошкерил ее, вывернул внутренности. И только чуть подольше она полежала брюхом вверх — теперь уж раскroенным, кровавым, — а потом снова перевернулась и поплыла — выжирать селедку. Я уж не мог на это смотреть, полез в трюм. Но и тут было слышно, как эти твари плещутся, точно суп кипит, и лязгают челюстями.

Третий вышел на мостик и стал в них сажать из ракетницы. Одной прямо в пасть шарахнул — вспыхнуло между зубами. А та хоть бы глазом моргнула — захлопнула пасть, погрузилась и снова вынырнула. Живая и здоровая.

Так вот он, значит, стрелял акул без всякого толку, а дрифтер смотрел на это дело и накалялся. Потом спросил:

— Стрелять будем или подработаем?

А подработать и правда не мешало — растянуть порядок, потому что волна и ветер его складывают, это еще похуже, чем акулы, будешь потом век расцеплять сети, распутывать.

Но третий отчего-то заупрямился.

— Кто вахтенный штурман? Я или ты?

— Я говорю — подработать надо назад.

— А я считаю — не в свою компетенцию суешься.

Дрифтер вышел на середину, против рубки.

— Тебя по-хорошему просят — подработай!

Но орал он уже не по-хорошему, пасть разинул, как у той же самой акулы; я думал — тот ему как раз туда ракетой пальнет.

— А я тебе по-хорошему отвечаю — мелко плаваешь, понял?

— Ты будешь работать или нет? — Дрифтер совсем уже бешено орал. — Сейчас всю команду распускаю к такой матери!

— Ты на кого орешь, пошехонец! Видали таких!

Третий уже стоял в рубке и орал из окна. Бледный, как известь, а шрам еще белее.

— Нет, — сказал дрифтер, — таких я еще не видал кретинов.

— Ты с кем это при команде так разговариваешь? Ты со штурманом, твою мать, разговариваешь!

— А я штурмана не вижу. Я лодыря вижу и кретина. Один шрам тебе сделали, другой сделаем для равновесия.

— Ну, ты у меня запоешь!

¹ Делья — сетное полотно.

— А я и пою!

— Ты при капитане запоешь!

— И при капитане запою!

Мы стояли, работу бросив, смотрели, как они лаются на ветру. Брызги их обдавали, мотало штормом, но дело еще только разгоралось. А нам, палубным, передышка. Мы тем временем закурили, из каждого рукава дымок поплыл.

— Пошехонец!

— Лодырь!

— Мешком тебя из-за угла пыльным...

— Диплом украл...

И так бы они еще долго обменивались, а мы б себе перекуривали, но тут кеп вышел в рубку. И оба враз замолчали, тишь и гладь на пароходе. Дрифтер пошел к своему шпилью, а третий, конечно, подрабатывать начал. И мы разошлись по местам.

Дрифтер сказал хрипло:

— Придется до чаю работать, ребята. Рыбы на борту, что грязь.

И чай пили тоже по сменам, на кнехте, и выбирали потом до ужина, а она все шла и шла, сетка за сеткой, сплошная серебряная шуба. Темень наступила, и врубили прожектора, и мы, уж за полночь, трясли, подгребали, откатывали бочки, доставали порожные, и все не кончалась она, треклятая...

А кончилась — как-то вдруг, никто и не ждал. Вожак кончился, последняя сетка, бочка последняя ушла в трюм.

Сколько ночи прошло, пока задраили трюма, не знаю. Я заклинивал брезент и попал себе ручником по пальцам, а боли не услышал, как будто и боль во мне вся кончилась.

Потом еще, помню, когда шел в кап, меня прихватило волной, и я встал на одну ногу, взялся рукой за дверную задрайку и выливал воду из сапога. Ведро, наверно, вылил. Потом из другого. А первый у меня подхватило волной, и я за ним бежал босиком. Догнал и швырнул оба сапога в кап. Уже не думал, что в кого-нибудь попаду.

В кубрике спали уже, только роканы скинули на пол, а Димка еще мучился с Аликом, стаскивал с него, спящего, буксы и сапоги. Я стал помогать Димке, но уж не помню, стащили мы эти буксы или нет. Не помню, как доез я до койки и что успел подумать перед тем, как заснуть...

...А через час подняли нас снова — на выметку.

Так она шла четыре дня, подлая рыба. По триста пятьдесят, по четыреста бочек за дрейф. И каждый день штормило, и мотало нас в койках, и снилось плохое. А потом сразу кончилось — не пустыря дернули, но и не заловились она, как в эти четыре дня. Эхолот ее нащупывал, большие под килем проходили сигары, но в сети как-то не шла.

Часам к двум я уложил последнюю бухту и вылез. Палуба была вся мокрая, серая и вдруг зажелтела от солнца. Облака плыли перистые, к ветру, к перемене погоды, и волна шла себе мелким бесом, сине-зеленая, с белыми барашками. Это уже можно пережить.

И вожак тоже можно пережить. Не привык я к нему, нельзя к нему привыкнуть, а просто разобрался что к чему — когда нужно «шевелить ушами», а когда и побережься, что он тебя рванет со шпилья, когда попридержат, услышать вовремя, что сетку подводят, а когда можно и на палубу вылезти, покурить у всех на виду, и никто слова не скажет.

— Ну как, Сень? — спросил дрифтер. — Освоил вожачка?

— Помаленьку.

— Вот как скайлаешь его от прсымысла до порта, тогда и домой пойдем.

И правда, я посчитал — как раз за рейс и выберу эти две тысячи миль.

Я сплюнул и пошел к бочкам.

13

В этот же день к нам почта пришла и картины. Один СРТ доставил, «Медуза», из нашего же отряда. Позже нас он на неделю вышел на промысел.

Бондарь приготовил пустую бочку, Серега достал багор с полатей. Как-то уж само собой вышло, что он и за киномеханика, и вот, если надо, с багром — то почту тащить, то чей-то кухтель потерянный подобрать. А кеп уже стоял с «матюгальничком» на крыле рубки.

«Медуза» встала от нас метрах в пятнадцати, и кепы начали переговоры:

— Как самочувствие? — Это с «Медузы».

— Спасибо, и вам такого же. — Это наш.

— Что имеете?

— Имеем две про шпионов и эту... как ее...

Дрифтер сложил ладони рупором:

— «Берегись трамвая»!

Там пошло совещание. Потом с «Медузы» ответили:

— Товар берем.

— А вы что имеете?

— Заграничную, про карнавал. С песнями.

Кеп поглядел на нас. Я ее как будто видел в порту.

— Ничего, — говорю, — веселенькая.

Кеп опять приложился к мегафону:

— Махнемся!

Они запечатали бочку и кинули за борт, а сами отошли. Мы подошли, подцепили багром, бросили свою. А пока вот так маневрировали, каждый во что горазд перекрикивался с парохода на пароход:

— Васька! А Васька! Жеку Татаринова не встречал, часом?

— Как там Верочка? Жива-здоровая?

— На сто семнадцатом Жека, они в Северное ушли.

— По скольку на сетку берете?

— В порядке Верочка. Физика себе оторвала, с «Липси».

Серега из бочки вытаскивал коробки с фильмами, газеты за прошлую неделю. И тошенькую пачку писем — еще не расписались там, на берегу.

Бондарь около меня говорил Сереге:

— Хороший пароход, я на нем ходил. Вон тот самолетик я же и делал.

— Кеп ничего там?

— Такой же.

— А дрифтер?

— То ж самое.

— А боцман?

— Разницы нету.

Я взглянул — и правда: пароход, как и наш, мы в нем отражались, как в зеркале. Такой же стоял на крыле кеп — в шапке и телогрейке, такой же дрифтер горластый, боцман — с бородкой по-северному, бичи — в зеленом, как лягушки. Такой же я сам там стоял, держался за стойку кухтыльника, высматривал знакомых. Вот, значит, как мы выглядим со стороны...

Кто-то меня толкнул под локоть. Бондарь. Глаза — как будто драгья со мной хотел. А на самом деле — письма мне протягивал.

— Держи, нерусский.

А я ни от кого писем не ждал. Мать еще не знала, на каком я ушел. Но тут и от нее было, переслали из общаги. Всего три письма.

— Почему же это я нерусский?

— Фамилия у тебя нерусская.

— Какая же?

— Чучмек ты какой-то. И одеваешься не по-русски.

Вот, значит, из-за чего не поладили. Курточка виновата.

— Надо,— говорит,— сапоги русские носить, пинжак. А так тебя только шалавы будут любить, Лилечки всякие.

Ага, он уже и посмотрел от кого. Второе было от Лили. И еще от какого-то кореша, фамилии я не вспомнил.

«Медуза» дала три гудка, мы ей ответили — и разошлись. Она — дальше, к Оркнейским, ей еще больше суток было ходу. А мы — на поиск.

Я ушел на полубак, сел на свою бухту. Первым хотелось мне от Лили прочесть, но я его отложил. А распечатал — от матери.

«Сенечка золотой мой, что же ты не приехал под новый год, как обещал? Мы со Светой так тебя ждали, наготовили всего, а ты не приехал. С тех пор как я министру писала, чтоб тебе службу скостили, сколько прошло, а ты все равно на море остался, и к нам заезжал всего-навсего два раза, и то все проездом, проездом. Ну, приезжай хоть в эту весну да побудь подольше.

Света большая стала, невеста уже, и парни ее провожают из школы. Тебя каждый день вспоминает, забыл, говорит, нас Сенечка. И пишешь ты нам редко и все невпопад: сначала я за декабрь от тебя получила, а после уж за ноябрь. Огорчаешь ты своего очкарика. В рождество я на отцову могилу сходила, поплакала и стежку протоптала. Золотой мой, купили еще дров на 20 рублей и, наверно, будут стеллажи под книги, ты ж читать любишь, так напиши, как их оставить — просто тесовые, не морить и не крыть лаком, может, это будет поабстрактней?

Встретила я днями Люсю. Она все незамужем и такая ж красивая, тебя помнит, приветы передает. И Тамара тебя помнит, хотя она с животом ходит, не знаю от кого, тоже незамужем. Она напротив нас раньше жила, вы в школу вместе ходили.

В Дворце культуры артисты выступали из Москвы, ой какие талантливые, очень красиво все преподнесли, я так восхищалась. Сидела я на 40 ряду и все было слышно и видно.

Золотой мой, беспокоит меня, что ты деньгам счету не знаешь, а ведь получаешь хорошо. Я как посмотрела на тебя в последний приезд, неужели больше себе ничего не купил, только костюм и пальто. Ты бы мне все присылал, я лишнего на себя не потрачу, и деньги твои целей будут. Золотой мой, напиши, как живешь, как нервы и настроение. Очень хочу, чтоб ты был спокоен, не нервничал и был здоров, только этого хочу.

Твоя мама Алевтина Шалай.

Сама я здорова вроде, ничего, иногда душит горло, но потом проходит.

А. Ш.»

Хорошо такие письма в море читать. Тут я себе сто клятв даю, что на все лето заверну в Орел. И самому не верится, что, когда вернемся, совсем другие будут планы.

Как же все получилось? Сошел я с крейсера — на год раньше других отпустили как единственного кормильца — и дал себе зарок, что больше я в море и пассажиром не выйду. А вышел — через неделю, на траулере. Надо же было, чтоб я на вокзале объявление прочел — тюлькиной конторы. Большой набор тогда шел, и деньги предвиделись немалые. Вот я и решил одну экспедицию сплавать. А потом у меня эти деньги увели. И я «деда» встретил. И решил еще разик сходить. Только один разик...

А Люсю эту я помнил. Не такая уж она красивая, но я с ней первой целовался и, кажется, любовь была; хотя, когда я из школы ушел, мы все реже и реже встречались. И все же она провожать пришла, когда меня призвали, ждаль обещала — четыре года. А вот, оказывается, и до сих пор ждет. А может быть, и не ждет, просто судьба у ней не сложилась. И Тамару я помнил, только мы не вместе в школу ходили, а по разным сторонам улицы, как незнакомые. А потом она ко мне в депо пришла и сказала: «Теперь ты для Люськи ничто, понял? А для меня — все». Может быть, и здесь любовь была, она тоже на вокзал примчалась провожать, хотя я не звал ее, и смотрела издали, как я Люсю целую, — такими злыми глазами, в упор.

Все это — детство, к нему уже не вернуться. Я стал читать от Лили:

«Милый Сеня! Пишу на этот раз коротко. Не обижайся, что я не пришла. Я, должно быть, нарушила одну очень важную традицию, не помахала платочком с пирса, и по этому поводу усиленно угрызаюсь совестью. Но ты меня простишь, я знаю. Тем более что есть надежда увидеться очень скоро. И притом — в море. Вижу твои удивленные глаза. Правда, правда. Потому что есть такой решительный мужчина, товарищ Граков, начальник отдела добычи, который очень ратует за сближение науки с производством. Говорит, что мы ни черта не стоим, пока не увидим воочию, как она лозится — та самая селедочка, которая так хороша с луком и подсолнечным маслом. Это, правда, уже не он говорит, это я порю отсебятину, вкладываю свои слова в уста высокого начальства. А он решил взять с собою нескольких молодых специалистов. Представляешь, не на «Персее», а на самой настоящей плавбазе. Там мы проживем недели две и, конечно, сблизимся с производством на все сто и пять процентов. Не знаю еще, на какой именно плавбазе, но там же все это рядом, так что ты сможешь меня разыскать. Если, конечно, захочешь. Послезавтра отходим, а у меня еще ничего не готово. Надо написать уйму всяких писем и как минимум сделать прическу. Посему закругляюсь. Крепко жму твою мужественную руку, добывающую для страны неисчислимыя рыбныя богатства. До встречи в море!

Лилия».

Число она не проставила, но я так прикинул: «Медуза» шлепала семь суток, а письмо она бросила накануне — письма в море сразу же передают, с первым отходящим, — а база-то шла быстрее, уже она там. Только какая база? Их на промысле бывает и по две, вопрос еще, к какой мы подойдем? «Там же все это рядом... Если захочешь».

Ладно, я его отложил отдельно, сунул под рокан, в телогрейку. Стал читать третью:

«Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас!

Сеня, а мы про тебя вспомнили!

Не знаю, где ты сейчас, Сеня, где тебя море качает. Может, Северное качает, может, Норвежское, может, Баренцево. Но на Жорж-Бан-

ке тебя нету, Сеня. А мы как раз там. То есть не там, а тут. Хека серебристого берем и камбалу. Поэтому пишу тебе на общагу, чтоб переслала, где ты кантуешься.

Сеня, слух такой долетел до наших берегов, что на Черном море, в Сочи, влажность большая, а это вредно, как врачи установили, и за вредность решили платить рыбакам вроде нашей полярки. Говорят, что совсем разницы нету в оплате, так лучше же в Сочи ловить, чем на Жорж-Банке. Влажность мы как-нибудь переборем, Сеня! Хоть она и вредная.

Сеня, вот я к тебе и обращаюсь. Ты же у нас первопроходец. Ты же все разведает, как и что. И мне напишешь. Обязательно? Сеня, я на тебя в мертвую полагаюсь...

Сеня, а помнишь, как мы с тобой в «Арктике» гуляли и немножко посудки побили, когда у нас арктические девчат наших захотели отбить. Хорошо мы им врезали, Сеня. А потом ты меня под носом у милиции провел и в общагу притащил на себе. Есть что вспомнить, Сеня! И в память об этом я тебе посылаю фотографию меня и товарищей по экипажу. Остаюсь кореш твой задушевный

Толик».

Что-то никак я не мог этого Толика вспомнить. Вообще-то у меня их четыре было, и с каждым что-нибудь такое примерно случилось. На фотографии, на обороте, написано было: «Сеня!

Если встретиться нам не придется,
если так уж сурова судьба,
пусть на память тебе остается
неподвижная личность моя».

А пониже: «Сеня, узнаешь меня? Я на этом фото третий».

А какой третий — справа или слева? Там их шестеро было, «неподвижных личностей», и все в роканах, под зюйдвестками. Кто-то их против солнца снимал да отпечатал — хуже нельзя: как сквозь мутную воду они на меня смотрели.

Нет. Сколько я ни копался в памяти, но так я этого Толика и не вспомнил.

14

Лилю письмо я в курточку переложил, в потайной карман. Потом стоял на руле и все думал про него. Вечером, когда все в ящики попадают, я его еще раз прочту, на сон грядущий. И может быть, вычитаю еще что-нибудь между строк, чего сразу и не заметил.

Третий мне что-то всю вахту втолковывал — впрочем, то же самое: у тебя, Шалай, голова светлая, иди в мореходку, зачем тебе в кубрике с семью рылами жить, купишь себе макен, надо быть резким человеком. Спрашивал, сколько предметов должно быть в шлюпке. Это он к экзамену готовился, по морской практике. Оказалось, девяносто шесть предметов. Едва я дождался, пока сменили.

В салоне я как чокнутый сидел. Потом услышал — смеются. Я не сразу и понял, что надо мною, пока бондарь не сказал:

— Вожаковый-то наш — помешался на Лилечке.

Я поднял голову — он чуть ухмылялся в усы. С интересом следил — что же я теперь сделаю? И я почувствовал — сейчас это придется с ним решить. Встать, перегнуться через стол... Пусть он еще хоть слово о ней скажет.

Шурка сказал:

— Поди, хороша Лилечка?

— Хороша ли, не знаю. Да только она у них одна на троих. У него да у салага. Та же самая Щетинина всем троим пишет.

Я поглядел на Алика и на Димку, они на меня. Но ни слова мы не сказали. Я встал и ушел из салона.

Я не читал его в этот вечер на сон грядущий.

На другой день мы управились к полудню, и я пошел обносить «стоянку».

— Не надо, — сказал дрифтер. — Метать сегодня не будем.

— Это почему?

— А груз набрали. Сейчас к базе пойдем, кеп «добро» запрашивает.

Ну, верно, я все забыл. Вчера же еще последние бочки запихивали под самый бимс.

— А к какой базе, не знаешь?

— Одна сейчас в Норвежском на промысле, «Федор».

— «Достоевский»?

— Ну!

Часам к пяти дали «добро», и мы зашлепали. Последняя рыба, тонны две, так и осталась на палубе. Потом один СРТ из нашего отряда сжалился, покидал нам в воду бочек двадцать. А мы ему за это два шланга подали — солярки отлили и пресной воды, все на базе пополним. И еще они нам передали письма.

Уже вечерело, когда мы все дела закончили. Те, кто оставался на промысле, провожали нас гудками, и мы отвечали им. Хоть мы и не в порт уходили, но все же прощание. Может быть, нас от плавбазы в Северное завернут, к Шетландским и Оркнейским, а может быть, и на Джорджес-Банку. Это как где заловится.

У нас еще оставалось пресной воды, и старпом объявил баню и постирушки. Все-таки надо к плавбазе чистыми прийти, а у нас все пропотело, рыбой пропиталось.

Нижевой я постирал, когда мылся, но это одно мучение, а не стирка, — кабинка, как душегубка, елозишь там по доске вместе с шайкой и не знаешь, за что раньше хвататься, чтоб тебя самого, голого, о ржавую переборку не било или шайку бы не выплеснуло с постиранным. Так что я с верхним не стал мытариться — со штанами и рубой-малестинкой, а решил постирать старым морским способом. Штертом обвязал рукав и штанину и кинул с борта. Когда судно хорошо идет, все выстирывается начисто, за ночь ни пятнышка не остается. А мы полным шли, узлов до двенадцати, к базе всегда спешат почти так же, как в порт.

В это время они и подошли ко мне, Алик и Димка. Взялись за леер, смотрели, как я кидаю рубу в волну.

— Чудно, — сказал Алик. — И выстирывается?

— Завтра увидишь.

— Тогда уж лучше с кормы бросать?

— Лучше. Но можно и на винт намотать.

Я чувствовал — они о чем-то другом хотят спросить. Алик постоял и отошел, а Димка все наблюдал, как моя роба волочится в струе и штерт похлестывает по обшивке.

— Шеф, ты с ней давно знаком?

— С кем?

— Шеф, зачем делать вид, что не понимаешь?

— Не будем делать вид. Тебе зачем знать?

— Слушай. — Он взял меня за локоть, я отодвинулся. — Ты не дичись, пожалуйста. Дело в том, что я ее чуть не с детства знаю. Мы в школе вместе учились.

Ну что ж, в общем-то, правильно я догадался. Интересно только, из-за кого она тогда не пришла — Алик у нее или Димка?

Он спросил:

— У тебя с ней что-нибудь было? Мне просто хочется знать, далеко ли у вас зашло.

Я пожал плечами. Вот уж о чем не хотелось бы.

— Не было,— сказал Димка.— И скажи спасибо. И ничего не будет.

Я ничего не сказал, отвернулся.

Димка вздохнул.

— Шеф, речь же идет не об переспать. С таким парнем ей это даже будет интересно. Ты не подумай, что здесь мужичья солидарность, я к ней такие же чувства питаю, как и к тебе. Но я знаю — роман у вас все равно не склеится, только для нее это пройдет бесследно, а для тебя — нет. Я на тебя посмотрел в салоне и понял, что нет.

— Чья она? Твоя или его?

— Ничья, шеф. Отношения чисто товарищеские. Такая застарелая платоника, что уже неинтересно по-другому. Шеф... Ты извини, старик, что я тебя так зову. Ну, привязалось.

— Да хоть горшком.

— Так вот, шеф. Мне жаль тебя огорчать. Ты славный парень. И мне не хочется твоего разочарования.

— Она, ты хочешь сказать, стерва?

Он засмеялся.

— О, нет! Это было бы даже прелестно!

— Ну, может, она какая-нибудь...

— Шеф, она никакая!

Мне смешно стало.

— Ну, это уж я не верю. Какая-нибудь да есть. Просто ты ее не знаешь.

— Почему я думаю, что я ее все-таки знаю, шеф. Потому что сам такой же. Я и о себе говорю, и об Алике, и о чудных наших приятелях, которые остались в Питере, считаются нам компанией. Все милые, порядочные люди. Не гадят в своем кругу. Не делают карьеры один за счет другого. А это уже доблесть, шеф.

— Так все-таки — насчет Лили?

— Шеф, вот за что я тебя уважаю. Ты последователен. Дитя природы. Ты все-таки хочешь знать, хорошая она или плохая. Понимаешь, в русском языке есть слово «да» и есть слово «нет». А вот слово «данет» катастрофически отсутствует. Один мой приятель, Вадик Сосницкий, считает, что его просто необходимо ввести, с каждым десятилетием человечество будет все больше и больше в нем нуждаться. Мы с ним затевали такую игру: «Вадик, любишь ты свою Алку?» — «Данет». — «Хочешь на ней жениться?» — «Данет». — «Хочешь, чтоб она ушла и не появлялась?» — «Данет». Иной раз спросишь его, уже для смеха: «Но кирнуть с нами хочешь?» И что думаешь — Вадик себе и тут верен: «Данет!»

— Делать вам больше не хрена!

— Теперь, шеф, я скажу тебе о Лиле. Насколько я понял, это ты ее приглашал в «Арктику». Так вот, она весь вечер говорила об этом. Что она должна, должна, должна пойти. Что ее мучит совесть, совесть, совесть. Нам с Аликом это уже просто надоело, мы ее уже в шею гнали. А она — каялась и продолжала с нами трепаться. Не знаю, как ты, а по мне — так лучше, если тебя отшивают сразу и посылают подальше, чем вот такие вшивые угрызения. Нравиться ты ей? Данет. Она такая же

данетистка, как и Вадик Сосницкий. Ну вот, шеф. Если ты хоть что-нибудь понял — я счастлив. Озадачил я тебя сильно?

— Ничего, переживем.

— Тогда я могу спокойно заснуть. Сном праведника. Чао!

Он ушел. А я залез повыше, на ростры, сел там под шлюпкой. Там было ветрено, и трансляция редела джазами над самым ухом, и сажа летела из трубы, но хоть тут можно было одному побыть и кое о чем подумать. Одно я понял — не нужно мне читать ее письма, ничего я там не найду между строк. А нужно встретиться с ней и посмотреть на нее — пристально, как я никогда, наверно, к ней не приглядывался.

Черные облака несли ветром в корму, и уходили назад корабельные огни — топовые, ходовые, гакабортные и лампочки на вантах. Какой-то праздник был у англичан, и все мачты оконтурились огнями.

Глава третья

СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД...

1

Утром первое, что я увидел — базу.

Я вышел поглядеть, как там моя роба, и сразу в глаза бросилось — огромный серо-зеленый борт, белые надстройки, желтые мачты и стрелы. Она от нас стояла к весту в четверти мили примерно, а за нею плавали в дымке Фареры — белые скалы, как пирамиды, с лиловыми извилинами, с оранжевыми вершинами. Подножья их не было видно, и так казалось — база стоит, а они плывут в воздухе.

Перед нами еще штук восемь было траулеров, и все, конечно, друг друга стерегли, чтоб никто не сунулся без очереди. И тихо было вокруг, временами лишь вахтенный штурман с плавбазы покрикивал в мегафон:

— Восемьсот двенадцатый, подходите к моему третьему причалу!

Или там:

— Отходите, отдать шпринговый, отдать продольный!

Я вытянул свою робу, штаны, стал развешивать на подстрельнике. В рубке опустилось стекло — там кеп стоял и старпом.

— Что там в кубрике? — кеп спросил. — Спят?

— Просыпаются.

— Пошевели. Сейчас нам причал дадут, надо бочки выставить.

Бочки — это чтоб крен убрать с того борта, которым швартуются. А отчего крен бывает, это вещь таинственная; на таких калошиках, как наш пароход, он всегда отчего-нибудь да есть. Но я посчитал всю очередь — так и есть, мы девятые, раньше чем через пару часов причала нам не видать.

В рубке, слышно было, посвистели в переговорную трубу. Кеп подошел, послушал.

— Чо? — спросил старпом.

— «Дед» напоминает. Чтоб левым не швартовались. Носится со своей заплатой.

— Это уж как дадут!

— Ладно, — сказал кеп. — Попросимся правым.

Бичи вылезали понемножку — на базу поглядеть. Там у каждого почти кореш или зазноба. Много там женщин плавает — буфетчицы, медички, рыбообработчицы, прачки. У меня там Нинка плавала. Да и угро было хороше — как не вылезешь. Тихое, штилевое, волна лоснилась, как масляная, небо чистое, чуть видные перышки неслись по ветру. Цена-

долго, конечно, такая погода — колдунчик на бакштаге показывал норд-вест, ближе к полудню, пожалуй, зыбь разведет.

По случаю базы кандей Вася пирог сделал с кремом — в базовые дни какая-то чувствуется торжественность, хотя, если честно говорить, торжественного мало, а работы много — и самой хребтовой, суток на двое без передышек, без сна. Поэтому чай пили молча и даже за пирог кандея не похвалили, хотя он все время у нас над душой стоял, напращивая на комплимент.

Потом услышали:

— Восемьсот пятнадцатый, ваш второй причал! Подходите!

Кеп попросил в мегафон:

— Нам бы правым, если возможно!

— А что вы такие кособокие?

— Такие уж!

Там подумали.

— Тогда к седьмому, убогие!

— Спасибо вам!

Непонятно было, за что он благодарит — за причал или за «убогих».

Машина заработала веселее, и боцман сунул голову в дверь, выкликнул швартовных — по четыре на полубак и в корму. И тут уже было не до пирога, уже в иллюминаторе показался борт плавбазы, высоченный, вполнеба. Он придвигался и закрыл все небо, и мы пошли, не допив.

В корме я оказался с Ванькой Ободом и с салагами. Очистили кнехты — там стояла кадушка с капустой и мешки с углем. Борт плавбазы проплевывал над нами — с ржавыми потеками, патрубками, в них что-то сипело, текли помой и старый тузлук. Наконец вахтенный к нам подплыл — в синей телогрейке, в шапке с торчащими ушами, со швартовым в руке.

— На «Федоре»! — спросил Ванька. — Медицина на месте?

Вахтенный не расслышал, приставил варежку к уху.

— Глухари тут, — Ванька махнул рукой.

Но уже было не до разговоров, пошли команды — и с плавбазы, и с нашего мостика, — и вахтенный нам подал конец.

Потом его снова пришлось отдать, плохо подошли, никак нос не подваливал.

— Пошли чай допивать, — сказал Ванька.

Салаги удивились:

— Сейчас же опять зайдем.

— Щас же! Учи вас, учи. Когда зайдем, уж пить некогда будет.

Они все же остались у кнехтов, а мы с Ванькой пошли в салон.

— На самом деле списываешься? — я спросил.

Он какой-то осовелый был, будто неспросавшийся.

— Что задумал, то сделаю, понял? Только симптомчик надо придумать. Симптом должен быть. Погляди — ухо у меня хорошо дергается?

Приподнял шапку. Ухо у него не дергалось, но двигалось. Ваньку это не устроило.

— Плохо мы психику знаем. Ладно, чего-нибудь потравлю. С ходу оно лучше получается. У меня тогда глаз как-то идет.

— Я думал, ты все шутишь — насчет топорика.

— Хороши шутки! Я уже вот так дошел. — Ладонью провел по горлу. — Рыбу только сдам. Святой морской закон.

Мы успели выпить по кружке чаю и по куску пирога съесть, пока нас опять позвали. На этот раз как будто чисто подошли.

— На «Федоре»! — Ванька опять начал. — Врачиха у вас когда принимает?

— Зубная?

— Нервная!

Вахтенный себя похлопал варежкой по лбу.

— Тут чего-нибудь?

— Есть малость. Сплю плохо. Совсем даже не сплю. Грудь давит. Коленки дрожат. И воду все пью, никак не могу напиться. Вот уже не хочется, а пью.

— Это у меня тоже бывает,— сказал вахтенный.— Только с водярой. Ну, хошь — запишу тебя на прием.

— Будь ласков. Обод моя фамилия.

— Обод. Ладно. Только там не врачаха, а мужик. Он строгий.

— Володька, что ли?

— Ну!

— Какой же он строгий, когда он святой? Запросто бюллетенчик выпишет.

Вахтенный нам подал конец. Салаги все совались нам помочь, да только мешали.

— Сгиньте! — Ванька им сказал.— Бойся тут за вас. Защиमित кому-нибудь хвост, а нам переживание. И так у нас полно переживаний.

Конец провисал, мы его потихоньку подтягивали.

— Почему святой? — я спросил.— Фамилия?

— Что ты! Фамилия у него, знаешь, какая... Не знаю какая. А это кличка. Про него ж песенку сочинили.— Пропел дурным голосом, без мотива:

А было так — тогда на нашем судне
Служил Володька, лекарь судовой.
Он баб любил и в праздники и в будни
И заработал прозвище — Святой.

Вахтенный посмеялся:

— А и правда чокнутый. Есть малость.

— Как раз сколько нужно.

Мы пошли с кормы.

С базы уже завели стрелу, под ней качалась сетка. Это еще не грузовой строп, а для людей, хоть он такой же, из стального троса, только поновее — в него руками цепляешься, так чтоб не пораниться жилкой. В сетку как раз вцеплялись пятеро базовских.

Старпом спросил меня:

— Как там конец — работает?

Он в рубке с кепом стоял, ужасно ему хотелось озабоченность проявить.

— А ты пощупай.

— Как отвечаешь? — Весь побурел от обиды.

— Лапонька, ты же из рубки видишь — кранец зажат, как в тисках. Зачем же лишнее спрашивать?

Промолчал. Кеп тоже помалкивал, усмехался чуть заметно. Он-то старпому не забыл, как тот курс проложил через берег.

— Прими людей, Шалай,— сказал кеп.

Сетка с базовскими летела прямо в открытый трюм. Я перехватил ее, отвел к фальшборту. В таких же они роканах, базовские, в таких же зюйдвестках. Но только они ни секунды не медлили, тут же кинулись к бочкам. Им почасовые платят, они свое время ценят.

— Сколько с докладкой? — бондарь у них спросил.

Старший подумал, пожевал губами.

— Пятьдесят, а там поглядим.

Вот вам еще арифметика. С докладкой — это значит бочки распечатывают и из других докладывают рыбу доверху. За три дня она тузлук

пустила и успела осесть, иной раз на четверть, а ведь у нас ее принимают не по весу, а бочками. Так вот, они хотят знать, на сколько доложенная бочка тяжелее обычной. Давно уже установлено, что без докладки на тонну их идет одиннадцать, с докладкой же — восемь. Но мы ведь еще и сжулить могли при засолке, накладывали не доверху, так что проверить нас не мешает, и они всегда требуют, чтобы им бочки представили из разных углов трюма.

А сетка между тем все качалась вниз, и к ней понемногу очередь собиралась. Каждому, конечно, найдется на базе дело. Радисту — фильмы поменять или аппаратуру сдать в ремонт, рыбмастеру — следить, чтоб не обидели нас, когда рыбу считают, дрейфтеру — сети новые получить, механикам — какие-нибудь запчасти, кандею — продукты, боцману — сдать чего-нибудь в утиль. Одним дикарям палубным на базе делать нечего, их в последний черед отпускают, когда выходит какая-нибудь задержка с разгрузкой. А она редко случается, вон сколько траулеров очереди ждут, и еще новые подходят. Никогда не знаешь, попадешь ты на эту базу или нет.

Пятеро вцеплялись в сетку, продевали ноги в ячею. Старпом из рубки кричал третьему:

— Ты там не задерживайся. Сдашь и сразу майнайсь, мне тоже охота.

— Смотря как сдам. Если на пятерочку, тут же вернусь. А двоечку — еще переживать буду.

— Договорились же!

— Ладно, не скули, я за тебя на промысле две вахточки отстою.

— Что там на промысле!

— Не скули.

Сетка понеслась, взлетела над базовским бортом, там ее ухман¹ перехватил. Третий еще выглянул.

— Смотри не шляпь, я тебе доверил.

— Доверил!..

Со второй сеткой еще пятеро вознеслись. Потом ее снова спустили, и в нее только четверо вцепились. И тут Васька Буров к ней кинулся.

— Куда? — Серега ему заорал. — Тебе там чего делать, сачок!

— Бичи, я ж артельный, мне в лавочку — яблоки получить, мандаринчики, «беломорчик».

— Кандей получить!

Серега его догнал, но сетка пошла уже, он только за сапог Васькин схватился.

— Артельный же я, за что ж я десятку лишнюю получаю?

— За то, чтоб на палубе веселей работал.

Сапог так и остался у Сереги в руках. Васька летел кверху и дрыгал ногой, портянка у него размоталась. Потом он из-за планшира выглянул, стал канючить:

— Бичи, ну отдайте же сапог! Я ногу застужу.

— Майнайсь книзу — получишь.

— Вы ж меня потом не пустите. Как же вы главного бича на базу без сапога отпустили, позор же для всего парохода.

— Ладно, — сказал Серега, — подай штертик.

Васька там куда-то сбегал, потом стравил штертик. Серега концом обвязал сапог.

— Мотай, сачок.

¹ У х м а н (от слова «ухать») — руководит действиями крановщика, когда тому не виден груз.

— Вот спасибо, бичи. Зато уж я вам самых лучших яблочков отберу, мандаринчиков...

С базы крикнули:

— Строп идет!

На шкентеле, за один угол зацепленный, спускался строп — стальной, квадратный. Мы его расстелили и пошли катать к нему бочки. Друг за дружкой, каждый другому накатывает на пятку, остановиться нельзя. Бочку валишь, катишь по палубе, вкатываешь на строп и рывком ее — на стакан. И она должна стать точно, как шар в лузу, ни на дюйм левее или правее, потому что их должно стать девять; считают нам теперь рыбу не бочками, а стропами; будет восемь — ухман заметит, заставит перегружать, лишняя работа. А нам и не лишняя тяжела.

Ну, вот их уже и девять, по три в ряд, стоят, пузатенькие, стоят, родные, кровные. Двое забегают, заносят углы, цепляют петли на гак — и теперь рассыпайсь, кто куда успеет, потому что ухман не ждет, ему тоже свое время дорого, у него там работа на два борта, с той стороны такой же траулер разгружается. Он махнул vareжкой — и нет его, а строп с нашими пузатенькими полетел к небу, мотается между мачтами. Беда, если хоть одна петля как следует не накинута, тогда он весь рассыпается, бочки летят и лопаются, как арбузы...

Но ничего, прошел первый, сгинул за бортом, и пока его там разгружают, мы вылетаем, кидаемся к трюмам — готовить новые девять. А успеваем — так и в запас, пока не крикнут сверху:

— Строп идет!

Потом вышел маленький отдых — сетку спустили для базовских. Надоело им докладывать.

— Что ж только двадцать? — спросил Серега. — Проверяйте еще!

— Ладно, ребята. — Старший уже руками и ногами в сетке. — У вас все по-честному.

— А ты раньше не знал, да? — Шурка ему орал. — Думал, мы на халтурку?

Молча они вознеслись, а мы за это время хоть спины разогнули и даже курнули по одной. И снова:

— Строп идет!

Через час у нас в спинах хорошо заломило, то и дело кто-нибудь остановится, трет себе поясницу — прямо как радикулитные. Первым Алик начал сдавать. Бочку накатывал долго, ставил кое-как, потом еще кантовал ее, а все его ждали наклонившись — на палубе лежащую бочку нельзя выпускать из рук, она покатится.

Скоро он и вовсе сдох, не мог поставить на стакан, хоть и рвал изо всей силы. Ну, правда, на стропе это потрудней, тут еще сапогами в трюсах путаешься, в стальных калышках. Мне пришлось сначала свою поставить, а потом уж я подошел и за него поставил.

— Слабак! — на него орали. — Инвалид!

— Тебя еще здоровей. Леня ему мослы таскать.

Вообще-то не слабей он был хоть Ваньки Обода. Просто сноровка в нем кончилась от усталости. И маленькой хитрости он не заметил — что нужно ее серединой по тросу катить, как по ролику, а потом наклонить в одну сторону, взять разгон, тогда она сама взлетает, как ванька-встанька. Я ему это показывал, а бондарь кричал:

— Что, так и будет за тебя вожак-вожак ставить? Ты только подкатываешь, а ставит он?

— Угомонись, — я ему сказал, — уж меня-то тебе чего жалеть.

Алик весь красный сделался. Следующую бочку он так рванул, что она чуть не завертелась. И опять зря, тут силы совсем не надо тратить. Димка подошел, отнял у него бочку.

— Отдохни, Алик. Пропусти свой черед.

— Да я не устал.

— А я говорю — отдохни. И посмотри внимательно.

Шурка, конечно, тут же стал орать:

— А мне тоже отдохнуть можно?

— Можно.

— Тогда ты и за меня поработай, а я посижу.

— И помолчи также, — сказал Димка. — А то я кой-кому могу и отвесить.

Шурке это до того понравилось, что он даже не ответил. Сел на свою бочку и закурил.

Димка несколько раз показал Алику, сам весь строп нагрузил, а тот лишь кивал.

Шурка опять не стерпел:

— Что ж только один? Теперь за меня нагрузи.

— Я обещал кой-кому отвесить, — сказал Димка.

А в общем-то, все заметили, что он не одному Алику дал передохнуть, но и нам тоже. И маленький урок он нам дал..

Не заметили мы, как и погода переменялась, палуба уже не желтой была от солнца, а серой, и по волне пошли гребешки. А мы еще только один стакан выгрузили, верхний. А их в обоих трюмах по четыре.

Не замечали мы, что вокруг делается — кто еще там подходит к базе, кто отчаливает. Раз только, я помню, вышла какая-то задержка, и я разогнулся, поглядел на море. Там, среди зеленых гребней, шел куда-то баркастик с подвесным мотором — красенький борт и белая рубочка, а в корме сидели двое, молодые, с рыжими бородами, и глядели на нас. Куда они шли? А бог весть куда, в открытое море. И не знал я, на сколько у них горючего хватит для этого моторчика и был ли у них еще парус с собой, но их-то это не пугало, и я подумал — да уж, наверно, дойдут, куда хотят. Главное — не бояться, идти, куда хочется. Может, и мне вот так — пойти, куда хочется? Смотреться сейчас на базу и на ней вернуться в порт, а оттуда в этот же вечер на поезде в Россию, хотя бы в Орел к себе сначала, а там опять — куда вздумается. Что меня держит — неужели вот эта бочка?

Тут же мне про нее напомнили, толкнули в спину.

— Кати, чего встал!

И я покатил, поставил на строп и забыл про этот баркастик.

Небо темнело понемногу, и ветер свежел. В этих местах погода меняется быстро, в полчаса штиль кончается и разводит мертвую зыбь.

Со следующим стропом какая-то задержка вышла. Урман нас отпустил:

— Отдохните, ребятки. Я покричу.

Шурка с Серогой в самый кубрик сошли, сели за свою игру. Остальные на трапе устроились, кто повыше, кто пониже. А я — на самой верхней ступеньке, следить, когда урман появится.

— Не разгрузимся сегодня, — сказал Ванька Обод. — А я к врачу не попаду до вечера.

— Так вали сейчас, — сказал Алик.

— Вали! А кто мне тогда груз засчитает? Вдруг он мне с сегодняшнего дня бюллетенчик выпишет.

— Разгрузились бы, — сказал Димка, — если б с «голубятника» на подвахту вышли.

— А кому это надо? — Ванька спросил со злостью. — Им трое суток погулять охота на базе. А сразу разгрузишься — тебя и погонят на промысел.

— Но можно же и по-другому,— сказал Алик.— Всем дружно поработать день, а потом всем гулять двое суток. Это было бы справедливо. Ванька даже закашлялся от смеха.

— Вот ты человека ограбишь, а тебя засудят, а ты тоже скажешь — несправедливо?

Алик удивился:

— Что за логика?

— Не понимаешь, салага? Вот ты на СРТ подался? Почему на плавбазу не пошел, там тоже матросы нужны? Или — в берегаши? Потому что дикари вчетверо больше получают. Значит, за рублем погнался? Так чего ж тут несправедливого?

Алик примолк, только усмехался про себя.

Ванька спросил:

— Понял теперь, салага, как она ловится, селедочка?

— Приблизительно.

— Если б все знали, как она ловится, она б у них колом в горле стала!

— Лучше пусть не знают,— сказал Алик.

Ванька согласился.

— Это верно. А то ее и покупать не станут.

С базы позвали:

— Эй, на «Скакуне»!

Я выглянул. Там стоял Жора-штурман.

— Шалай, позови там салагу.

— У нас их двое.

— Любого.

Димка полез.

— Ну, как там Шакал Сергеич? Горит синим пламенем?

— Голубеньким пока. Тут он мне пидулечку выкинул в иллюминатор. На свободную тему решил писать. Вот... «Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики».

— Прелестная темочка! Пускай насчет вдохновения подзальет, насчет творчества.

— Это он подзальет. Он вот спрашивает — «вдохновение» через «а» пишется или через «о»?

— Вдох! Второе тоже «о».

— Ясно-ясно.

Жора ушел. Через минуту опять крикнули с базы:

— Строп идет!

Ванька постоял в капе, поежился.

— Шторм, ребятки, будет.

— Ну и пускай,— сказал Алик,— отдохнем хоть.

— Ага, это тебе не промысел... Там — пускай, лежи себе в койке. А тут тебя каждый час будут к причалу гнать. Чуть просвет — подходи выгружайся. Ни сна тебе, ни работы.

Еще мы нагрузили стропов десять и опять вернулись в кап. Там уже наши бочки не успевали укладывать, много их на борту скопилось. В обычные дни это не страшно, а теперь и базу качало.

Ванька сидел мрачный, все чего-то считал на пальцах.

— И завтра не разгрузимся. И послезавтра.

— Тебе-то куда спешить? — я спросил.— Все равно в порт уйдешь.

— Вот и не все равно. Эта база только три дня простоит. А там следующей жди.

Откуда он это выведал? Но уж, наверно, выведал, если заранее задумал. А мне все баркастик мой не давал покоя. И то, что я Лилю так и не увижу.

— Неужели три дня? — я спросил — Да, не успеть нам.

Ванька ко мне придвинулся.

— Может, на пару спишемся? Чего ты тут не видал?

Я поглядел — все сидят на трапе, привалясь к переборке. Митрохин — в самом низу — спит на комингсе. Из кубрика щелчки по носу доносятся: «сто сорок восемь... сто сорок девять». И правда, чего я тут не видел?

— А это каждому можно списаться? — спросил Алик.

— Ты сиди, — сказал Ванька. — Каждому, да не всем. А то подумают — команда разбегается, чепе. Ты на следующей спишешься, никто тебя не держит.

— Я и не думаю.

— Не думаешь, так не спрашивай. Так как? — Ванька меня спросил.

Я не успел ответить. С базы опять крикнули:

— Строп идет!

Я катал бочки, нагружал стропа, а голова была другим занята. Вообще-то я ни разу не списывался, хотя это можно, никто не держит. Только полагается кепа за неделю предупредить, чтобы из порта прислали замену. Но и на базе ее можно найти, найдутся любители поразвлечься — побродить неделку-другую дикарем на СРТ. К тому же деньги я кое-какие заработал, вот за этот груз. И все же хотелось бы мне сначала ее увидеть. Тогда б я наверняка решился.

Но мы опять входили в раж, в какой-то запал. ничего не видели вокруг. Только бочки перед глазами и прутья стропов и как они нагруженные уходят в небо.

Тут-то я снова с бондарем сцепился.

С базы какой-то чужак попросил:

— Ребята, не подкинете селедочки? Штучки три.

Ну что, жалко, что ли? На траулере рыбки попросить — все равно что снега зимой. Так вот, этот кошмар вытащил их из шпигата и стал ему кидать. Я думал — тот их обратно швырнет ему в рожу. Потому что эта селедка валялась в шпигате черт-те с какой выборки, может быть, с прошлой недели. А тот еще благодарить стал:

— Спасибо, ребятки. Ах, хороша селедочка!

Я тут совсем сбесился.

— Выкинь сейчас же! Выкинь эту падаль!

— Да зачем же добро выкидывать?

Я схватил ручник и кинулся к бочке, выбил донышко, захватил в варежки верхних три и по одной ему закинул, как гранаты. Бондарь смотрел на меня и ухмылялся.

— Чего это с ним? — тот спросил.

— Спортом занимается.

Тот покачал головой, ушел.

— Крохобор ты! — я сказал. — Человеку рыбы пожалел.

Он расцеплял хrapцы и смотрел на меня — маленькими своими глазками. Брови у него какие-то серые, как будто золой посыпанные. Смотрел в упор и мотал железной цепью с хrapцами.

— Лезь в трюм, — сказал.

— Это почему?

— Так. Снизу будешь подавать.

Я подумал — всегда можно сделать, чтоб хrapцы случайно расцепились. Как раз у меня над головой.

— Я и так каждый день в трюме работаю. А у базы хочу — на палубе.

— Не полезешь?

— Нет.

— А я тебе приказываю.

— А я не слушаю. Ты мне не начальство.

Он чуть прикрыл глаза и спросил:

— Тебе отвесить?

— Оставь при себе.

Он пошел ко мне. Я стиснул ручник — прямо до боли. Он остановился и сказал мне устало:

— Ладно, запечатавай. И становись на место.

Никто даже не успел к нам кинуться.

Мы выгрузили второй стакан, начали третий, и тут ухман нам сказал:

— Ребятки, обедать. Перерыв.

В салоне я против бондаря сидел. Он на меня не глядел и жрал, как лошадь, за ушами у него что-то двигалось. Мне сначала противно было глядеть, а потом как-то жалко его стало. Он старше всех нас, даже Васьки Бурова старше. И мне рассказывали — никто его на берегу трезвым не видит. Сыну его почти восемь, и он только «папа-мама» выговаривает. Может, он из-за этого так пьет? Что же дальше будет? Вот так сопьется, ослабеет, в рейсы его перестанут брать.

Таким-то образом я думал, когда пришел Митрохин и задал нам работу для ума.

— Ребята, отпустите на базу. С того борта братан мой ошвартовался. Хоть часик с ним повидаться, я его полгода не видел.

Мы прикидывали молча. Это не на час, конечно, только так говорится. А у нас еще Васька Буров сбежал. Когда одного не хватает на палубе, и то заметно.

Он стоял, ждал нашего приговора. И правда, этого ему никто не мог позволить, только мы.

Первым бондарь сказал:

— Я своего братана год не видал. Он на военке служит.

— Нельзя, значит? — Митрохин вздохнул. — Он же тут, рядом. Я, может, еще год его не увижу. Мы все в разное время в порт приходим.

— А я своего, — сказал бондарь, — еще, может, три года не увижу.

Митрохин все ждал. Пока ведь только один высказался. Жалко было на него смотреть, на Митрохина. У него чуть слезы не выступили.

Я сказал:

— Ступай, о чем говорить. Как-нибудь заменим.

Шурка тоже разрешил:

— Валяй. Привет передавай братану.

Потом Серега и салаги. И Ванька Обод — с большой натугой.

— Спасибо, ребята.

Митрохин весь засиял, помчался сетку просить. Потом все вышли, и мы одни остались с бондарем. Он на меня не смотрел. А я закурил и спокойно его разглядывал.

Однажды я за него на руле отстоял. Он себе палец поранил ржавым обручем, и загноилось, вся кисть начала опухать. И он на штурвал отказывался идти, а все на него орать начали, что у нас не детский сад. Дрифтеров помощничек Геша даже потребовал, чтоб он повязку размотал и всем показал, что у него с рукой. Вот это меня взбесило. А может, просто любопытно стало — как же он отнесется, если я за него вызовусь. И что думаете — он еще больше меня возненавидел. Если только можно больше.

Я спросил у него — спокойно, с улыбкой:

— Феликс! За что ты меня ненавидишь, сволочь?

Он ответил сразу:

— А добрый ты, умненький. Вот за что. Я б таких добрячков безответственных на мачте подвешивал. По вторничкам.

— За шею?

— За ноги. Пусть повисят, посохнут. А то у них все в башке перевернуто. Не видят, на чем земля стоит.

— Интересно, на чем же она стоит?

— На том, что все суки.

— И этот, который рыбки попросил? Что ты про него знаешь?

— То же самое. Он и хотел, чтоб ты свою бочку распечатал. Ему свою на базе лень распечатывать. Он бы эту падаль все равно бы выкинул, а пошел бы на другой траулер клянуть.

— Понятно. А салаг ты все же не так ненавидишь, как меня.

— Салаги — мне что? Отплавали да уехали. А ты свой. Все время перед глазами будешь.

— Не буду. Рейс только докнчим. Ну, приятного аппетита.

— Уматывай.

Стропа все не было, мы сели на бочки перекурить. Ванька Обод подсел ко мне и зашептал:

— Я чего придумал. Я сразу две справки попрошу. Скажу — у тебя примерно то же самое. Выпишет, если попросить хорошо.

— Кто?

— Да Володька же Святой. Ты на голову когда-нибудь жаловался?

— Нет.

— А не мешает иногда пожаловаться. Ушиб какой-нибудь был?

— Что-то не помню.

— Дурак, а кто это проверит. Говори — был, с тех пор не сплю нормально, трудоспособность понизилась. Не хочу быть для товарищей обузой.

Честно говоря, не хотелось мне в эти хитрости пускаться. Списываться, так по одной причине — «не ваше собачье дело». Зачем мне это вранье, если я уже не вернусь? Он-то вернется, я знаю, поколобродит и вернется, больше-то он делать ни черта не умеет, только рыбу ловить. А я уж спишусь, так навсегда. Поначалу хоть в депо свое устроюсь. Мне надо по-серьезному решаться, а не так, с панталыку.

— Ну, как? Рвем на пару?

— Нет.

— Ты ж договаривался!

— Когда?

Он на меня поглядел с презрением.

— Э, на дураках в рай ездят. Я тебе как умному советовал.

— Да списывайся ты один, для других не старайся.

— И спишусь. Думаешь, у меня духу не хватит?

— Да ничего не думаю.

— Вот и видно. Думал бы, так...

Он не договорил, пошел от меня. Совесть его, что ли, мучила, что он нас покидает?

С базы крикнул ухман:

— Эй, бичи, провизию примите!

Кандей Вася вывалил за борт на штертике мешок и коровью ногу. Он уже был хорошо веселый, наш кандей. Рядом с ним дрефтер появился и «маркони». У всех того же цвета рожки.

Дрефтер взревел:

— Полундра, сети кидаю!

Штук восемь зеленых покидал, из сизаля, и две белых, капроновых.

— Эти ко мне в каюту несите.

Ясное дело, в порядок он их не поставит. Он их как-нибудь поприж-

мет до порта, выгадает на штопке, на перештопке, а эти дружкам подарит для переметов. Да и не к чему их в порядок ставить — капроновые долго не рвутся, но зато рыбу режут до крови, и другая рыба боится лезть в ячею.

Кандей Вася свой груз смайнал и предупредил:

— Сухофруктов хоть полмешка оставьте, больше не дадут.

— А нам и не надо больше.— Шурка уже туда руки по локти запустил.— Ты за нас выпил, мы хоть за тебя закусим.

«Маркони», с фильмами, сам пожелал спуститься. Еле за сетку держался, одна нога у него все вываливалась из ячеи.

Я помог ему дотащить коробки до салона. Вдруг он остановился, хлопнул себя по лбу:

— Сень! Совсем выпало. Тебя ж там одна девка спрашивала. Пстой... Лиля ее зовут? Ну да, Лиля. Их там трое при Гракове молодых специалистов. Хочешь — свидание устрой?

Я укладывал коробки в рундук, читал названия и молчал.

— Слушай! — сказал «маркони». — Я ж передатчик аварийный в ремонт сдал. Мне ж его одному не стащить, ты поможешь.

— А кто на палубе останется?

— Такой ты незаменимый, Сеня?

— Это не знаю, а шорох поднимется. У нас уже двое сбежали.

— Что ж делать? Надо чего-нибудь придумать.

Я его посадил в сетку.

— Может, чего передать?

— Привет. Больше ничего.

— Так мало, Сеня? Нет, я все-таки придумаю.

Он ехал вверх и держался одной рукой, а другой мне помахивал. Ухман его выматерил и втащил за пояс.

Качало уже чувствительно, и строп мотался от мачты до мачты. Мы ждали, что прекратят разгрузку, велят отойти. Но успели все-таки выгрузить один трюм. Половина работы. Шурка подмел там веничком и вылез.

— Стоп, ребятки, — сказал ухман. — Отдохните пока. Сейчас решают — может, вам отойти.

Ну, пока они там решат, мы в кубрик кинулись. Попадали в ящики, кто даже в сапогах, свесив их через бортник.

Я задремал было, но услышал — меня зовут с палубы.

2

Палуба опять желтела под солнцем, но зыбь от норда шла сильная и все время меняла цвет — то темно-зеленый, то сизый, то глинистый, с рыжиной, — и на гребнях закипали барашки.

— Сень! — «маркони» кричал сверху. — Принимай гостей!

Он качался на сетке еще с двумя какими-то, не бичами, одеты они были слишком пестро, и сетка шла прямо в трюм. Кто-то из них двоих завязжал, как резаный, — тут я и понял, что за гости пожаловали. Я принял сетку, отвел, и они соскочили.

Лиля была в кожанке и в синих брюках, набекрень — ушанка с белым мехом. А в чем ее подружка, я сразу не разглядел — в таком ярком, что в глазах рябило.

— Вот ты какой!

Лиля смотрела на мои доспехи и улыбалась. Протянула мне руку. Я для чего-то снял шапку, потом пожал ее руку — твердую и сухую. Моя-то была посырее. Она это перенесла, даже не заметила.

— Познакомься. Это Галя.

«Маркони» тоже подтвердил, что Галя. Была она в красной шапочке с помпоном, беленькая, крашеная, с кудряшками. Все озиралась, поглядывала на борт плавбазы и ужасалась — неужели это она оттуда съехала на сетке.

— Ну, как ты тут живешь? — спросила Лиля.

Я что-то замаялся, но Галя меня выручила:

— Ой, как тут интересно! А нам все-все покажут?

— Прошу! — «Маркони» ей подал руку кренделем. Он обращение знает, на торпедных катерах служил.

Из рубки старпом выглянул в сильной задумчивости. Вообще-то самовольство — дамы на корабле, можно и осерчать по такому поводу. Но можно и схлопотать в ответ при этих дамах. Он предпочел в тень уйти.

— Боже, как тут симпатично! — Голос у Лили был чуть хриплый, осевший на ветру. И мне как-то неприятно было, что она с этим голосом под свою Галю поддeldывается. — А это что, лебедка?

— Да,— говорю,— она самая.

— А это трюмы?

— А это трюма.

— Учти, мать,— говорит она Гале,— тут все произносится с ударением на «а». Боцманá, штурманá. А где же у вас кубрик?

Вот не хватало только, чтоб я ее в кубрик повел, где бичи храпят в ящиках, свесив сапоги через борттик.

— Да что там, в кубрике? Эка невидаль.

Я уж спиной чувствовал: кто-то из капа выглядывает на такое диво. Так и есть, Шурка выполз, оповещает тех, кто внизу:

— Бичи, каких лошадей привели! Майнайсь на палубу!

— Ого! — сказала Лиля.— Какие тут красавцы плавают! Вот кого нужно в кино снимать.

— Правда, у вас лошади есть? — спросила Галя.

Мы с «маркони» чуть не упали.

— Мать, не срами меня. Лошади — это мы. Чувствуешь, какая галантность?

Галя вся вспыхнула, стала, как ее шапочка.

— Бичи,— объяснил «маркони»,— это у нас гости. Из этого... из судкома. Попрошу, товарищи моряки.

— А чего ж только двое? — спросил Шурка.— Надо бы весь судком. Кто-то еще пропел кошачьим тенорчком:

У ней — такая ма-аленькая гру-удь,
А губы — губы алые, как маки.
Уходит капитан в далекий путь,
Целуя девушку из Нагасаки.

«Маркони» объяснил гостям:

— Это у нас традиционное приветствие, когда на борту появляются дамы.

— Мы так и поняли,— сказала Лиля.

Мы их быстренько повели в салон, по дороге — через люк — показали машинную шахту. Там полуголый Юрочка сидел на верстаке и чего-то напевал — хорошо, что слов было не слышно. «Маркони», однако, не задерживался:

— А сейчас мы вам покажем «голубятник». Всякое судно, с вашего разрешения, начинается с «голубятника».

Поднялись в ходовую. Старпом от нас отскочил как ошпаренный, удрал в штурманскую. Молодой еще он был, архангелогородец наш. «Маркони» его все-таки вытащил за руку:

— Прошу познакомиться. Старший помощник нашего капитана. Мастер лова и навигации, мой лучший друг и боевой товарищ.

Старпом упирался, как будто его на казнь вели, мычал чего-то насчет вахты. Гости с ним поздоровались за ручку. Он сразу взмок, как мышь. «Маркони» его отпустил с богом.

Бичи стояли в капе, смотрели на нас, пересмеивались. Гале вдруг захотелось перед ними пококетничать.

— А это штурвал? А можно покрутить?

Штурвал положен был влево и застопорен петлей.

— Нельзя, нельзя,— старпом закричал из штурманской.

— Почему нельзя, товарищ старший помощник? — спросил «маркони». Старпом не ответил, шелестел какими-то бумагами, как будто он что-то там вычисляет. Ни черта он, конечно, не вычислял.— Можно, девочки, можно.

Откинул петлю, Галя стала к штурвалу, а он ее сзади облапил.

— О, какие ручки!..

— Это не ручки, а шпаги.

— Шпаги? Ой, как интересно! Те, которые у мушкетеров?

— Совершенно те же самые. А крутят их вот так, Галочка.

Крутил он ее в основном — у бичей на виду. В общем, дела у них с «маркони» были в самом разгаре.

— Получил мое письмо? — спросила Лиля.

— Да.

Мы отошли в угол рубки. В дверное окно видно было открытое море, зыбь с белыми гребнями шла на нас, как полки на штурм, и птицы носились косыми кругами.

— Сердишься, что я тогда не пришла?

— Нет. Почему?

— Что-то разговор у нас — «да», «нет»...

А какой он еще мог быть? Я — в рокане, на нем чешуя налипла и ржавчина с бочек. Старпом бы меня вполне мог выставить из ходовой, и пришлось бы послушаться.

— Я понимаю,— она улыбнулась,— ты тут не на своей территории.

— Вроде этого.

— А вот это картушка,— «маркони» там объяснял. Чтобы поглядеть на эту картушку, Гале надо было перегнуться через штурвал, а ему — прижаться к ее щеке.— Есть такое слово, оно очень необходимо рулевому. В нем есть буква «б» и буква «л». Понимаете — «бэ», «лэ». Это значит, когда Б-ольше градусов, чем нужно, одерживать надо Л-ево. Вот во мне сейчас больше градусов, чем нужно. Значит, куда надо?

— А какое же это слово?

— Не могу полностью.

Она даже лобик наморщила — так ей интересно стало. Лиля сказала ей:

— Мать, я тебе потом объясню. Ты все равно не догадаешься.

Галя его шлепнула по рукам.

— Вот так ты, значит, и живешь? — Лиля меня спросила.— На берегу я как-то все иначе себе представляла... В общем, я кое-что про тебя поняла. Кроме одного: как же получилось — ты с флота хотел уйти, а пошел в море?

— Это долго объяснять. Как-нибудь потом.

— Ну, зачем... Механизм твоих решений мне приблизительно ясен. Я даже, когда ты мне все это говорил, почему-то подумала, что будет как

раз наоборот.— Говорила она со мной как-то свысока, мне что-то уныло сделалось.— Странный ты все-таки парень. Неглупый. «С мечтой», как говорят. Почему все это тебя устраивает?

— Деньги добываю.

— Неправда, я знаю, как ты к ним относишься. Мы с тобой, кажется, три раза были в «Арктике»? Ты их тратил — не как обычно мужчина перед женщиной, когда хочет показать широкую натуру. А как будто они тебе карман жгут и ты от них хочешь скорее освободиться.

— Может, мне просто интересно. Хочу что-то узнать о людях.

— Ты еще не все про эту жизнь знаешь?

— Про себя — и то не знаю.

— Скажи мне, ведь ты мог бы в торговый перейти? Если ты так любишь плавать. Там же все-таки лучше. Рейсы — короткие, заходы в иностранные порты. Увидел бы, может быть, весь мир.

— Шмоток бы повез...

— И это неплохо. Но главное — мир повидать.

— Да я ходил с ними один рейс, до Рейкьявика. С боцманом поругался. Больше они меня не взяли.

— Из-за чего же вы поругались?

— Не помню. Характерами не сошлись. Взглядами на жизнь.

— Но ты же мог на другое судно попроситься. Где боцман получше характером.

— Он-то получше, да штурман какой-нибудь похуже. Или еще кто-нибудь.

Она улыбнулась, посмотрела искоса.

— Нужно сдерживать свои чувства.

Галя объявила:

— Ну, хватит. Мне уже надоело, мы все крутим и крутим. Покажите нам еще что-нибудь.

— Мы крутим только пять минут. А вот он,— «маркони» на меня показал,— по два часа его крутит на вахте, как штык. И не надоест.

— Ему тоже надоест,— сказала Лиля,— только он не сознается. Он у нас такой мужественный, никогда не жалуется.

— Кто, Сеня? Мой лучший друг!

— А там что? — спросила Галя. Показала на дверь в радиорубку.

— Мое хозяйство, дом родной.

Галя потребовала:

— Хочу посмотреть на твой дом.

«Маркони» быстренько свою койку застелил. Простыни у него были серые, наволочка тоже не крахмал. Галя отвернулась, потрогала пальчиком магнитофон, передатчик.

— Можем завести музыку. Желаете?

— Твист? Ой, здорово!

Он кинулся заправлять бобину и тут же ленту порвал. Пальцы его что-то не слушались.

— Не надо,— сказала Лиля.— Мы же тут мимоходом.

«Маркони» все заправлял ленту и рвал.

— А это что? — Галя уже на часы показывала, над передатчиком.

— Это? Обыкновенные судовые часы.

— А вот это что за полосочки?

— Какие полосочки?

— Вот эти, красненькие.

— Не полосочки, а сектора. По три минуты. В это время «SOS» прослушивается. Все радисты слушают море.

— И музыку?

— Ни боже мой! Никакой музыки. Исключительно сигналы бедствия.

— Ну, ты у меня совсем оскандалишься,— сказала Лиля.— Надо знать святые морские законы. Вот сейчас как раз без шестнадцати, где-то, наверное, пищат. Кто-то терпит бедствие.

— Да-а? — сказала Галя.— А почему же мы не слышим?

— У базы стоим,— объяснил «маркони».— Ихний радист слушает. А у нас и антенна сейчас снята.

Прилипли они к этим часам крепко. «Маркони» мне подмигнул, чтобы с ним вышел из рубки. Затворил дверь.

— Ключик не требуется?

— Какой ключик?

— От каюты, какой. Я сейчас с Галкой на базу поднимусь, у ней там отдельная. Старпом не сунется, я скажу.

— Иди ты!..

Я засмеялся, открыл дверь. Обе стояли в рубке как неприкаянные. Слышать они, конечно, не могли, качало, и кранец бился о борт, но Лиля на меня посмотрела и усмехнулась.

— О чем это вы там? — спросила Галя.

— О том, что нам пора уже, загостились.

«Маркони» их выпустил и — за спиной у них — помахал ладошкой около уха.

— Главное, мать,— сказала Лиля,— не загоститься, уйти вовремя.

С базы что-то кричали нам. Старпом выскочил из штурманской, опустил стекло.

— Восемьсот пятнадцатый! Готовьтесь отдать концы!

Мы сошли с «голубятника». Бичи уже за это время успели уйти. Палуба снова была серая, по ней ходили брызги от кормовой волны. База, наверно, поворачивалась на якорях, чтоб лагом не стоять к зыби, и мы поворачивались вместе с нею.

— Шалай! — старпом крикнул.— Зови там швартовых, трансляцию не слышат, черти.

Я пошел звать. Они там и правда заспались, долго не отвечали. Потом кто-то вякнул из темноты:

— Выходим, не ори.

Когда я вернулся, сетку еще не подали, и лица у обеих были тревожные — спустят ли ее вообще, не пришлось бы на траулере задержать-ся. Я их успокоил — пока их не подыдем, концов не отдадим.

— Раз Сеня говорит,— сказала Лиля,— значит, так и будет.

Я смолчал. Сетка уже пошла. «Маркони» поймал ее и отвел от трюма.

— Ой, я боюсь,— сказала Галя. Она улыбалась, но как-то бледно.

— Мать,— сказала Лиля,— спускаться же страшнее. Ты смотри вверх.

Но рука у нее у самой подрагивала, когда она мне пожала локоть — слава богу, молча.

«Маркони» тоже с ними вцепился.

— Ты-то куда? — я стал его отрывать. Совсем он сомлел и еще геройствовал перед девками, держался одной рукой.

— Аппаратура, Сеня. Чес-слово, у меня там аппаратура, не веришь?

— Восемьсот пятнадцатый! — в «матюгальничек» сказали с приложением.— Что у вас там с сеткой?

Я его отпустил, «маркони». Черт с ним, никто еще из моряков не сваливался. Девки бы не свалились. Сетка раскачивалась сильно, я боялся — грохнется об базу. Но обошлось, ухман ее попридержал на середи-

не, а потом разом вздернул над бортом. Лиля еще выглянула, чуть бледная, махнула мне ладошкой и сразу исчезла. Урман их там отогнал.

Волна ударила нам в корму, и пароход пронесло вперед, кранец заскрежетал между бортами.

— Восемьсот пятнадцатый! — крикнули с базы. — Срочно отдавайте концы!

Старпом высунулся из рубки.

— У нас еще люди на базе!

— Отходите, вам сказано!..

Он куда-то метнулся от окна, я подумал — трансляцию врубить. Но вдруг взбурлил винт, и нас медленно потащило назад, а бортом навалило на базу. Мостик ударился об ее верхний кранец — крышку от грузовика — и зазвенел.

— Куда? — с базы орал. — Куда обрабатываете? Глаза у вас на затылке?

Старпом опять появился в окпе.

— Отдать кормовой! — чуть не взвизгнул.

И еще его крик не затих, как нас качнуло с кормы. Корма задралась, потом пошла вниз — сначала медленно и все быстрее, быстрее, и опустилась с ударом.

Я не устоял на ногах. А когда поднимался, услышал с базы:

— Отходите немедленно! Мало вам этого?

И увидел старпома — он ко мне бежал бледный, с трясущимися губами. Я не понял, когда он успел из рубки выскочить. И зачем выскочил.

— Хватай топор! — он мне кричал. — Руби кормовой!

Я метнулся к дрейфтерному ящику, потом — с топором — в корму. Конец натянулся и не звенел уже, а пел. Но рубить его не пришлось, он вдруг ослаб, и я успел несколько шлагов сбросить. А когда он опять стал натягиваться, корма уже отвалила и было неопасно. Я подождал, когда он снова послабее, скинул последние шлаги, и конец выхлестнуло из клюза.

— Чисто корма!

Никто меня, конечно, не слышал. Но конец волочился по воде, его видно было с мостика.

Борт плавбазы отодвигался, на ржавых цепях высоко подпрыгивали кранцы — толстенные черные сарделины. И тут я увидел нос того траулера, который стоял за нами и тоже теперь отходил. Фальшборт на нем смялся, оборванный штаг болтался в воздухе, а носовая обшивка погнулась внутрь. Я сразу и не заметил всего, занят был концом, теперь только и понял, как все вышло, когда этот олух отработал назад. Корма у нас поднялась на волне, а его нос опустился, а потом они пошли навстречу... Чистый «поцелуй». Но что же там с нашей-то задницей? Я перегнулся через планшир — огромная вмятина, с трещиной, возле баллера¹ руля. Но сам-то руль не заклинило, он работал, я слышал, как гремят штурцепи.

База уже едва виднелась за сестью дождя. Когда он пошел, я тоже не заметил. Но так быстро все скрылось в сизой пелене. Только донеслось, как сквозь вату:

— Восемьсот пятнадцатый, идите в Фугле-фиорд!..

Я пошел на палубу. Волна катилась по ней и шипела, а трюма были открыты настежь, и только один кто-то, в рокане, мокрый, блестящий, возился с лючинами. Я ему стал помогать.

— Ты где шлялся? — повернул ко мне мокрое лицо. С рыжих усов капало. Бондарь.

¹ Баллер — ось руля.

- Не шлялся. Кормовой отдавал.
- Хорошо ты его отдавал!
- Отдал, когда приказали. И не ори, сволочь.
- Удрали, никому дела нет, что потонем.
- Не тонем еще, успокойся.

Мы уложили все лучины, стали накрывать брезентом.

— С Лилечкой там ласкался? Жаль, я вас вдвоем не застал. Убил бы на месте.

— Ну, меня — ладно, ее-то за что?

— А не ходи на траулер... Все от них и происходит.

Брезент мы натянули, теперь заклинивали. Он стучал ручником и матерился по-страшному. И когда он о ней прошелся, тут я озверел. Я встал над ним с ручником и сказал ему, что еще слово — и я ему разможжу сейчас башку и выкину его за борт, и никто того знать не будет. Я и забыл, что мы из рубки-то были как на ладони. Мы были одни на палубе, одни на всем море, и дождь нас хлестал, и делали мы одно дело, а злее, чем мы, врагов не было.

Он на все это посмеялся в усы, но притих. Все-таки я единственный ему помогал.

— Ладно, не трать энергии, нам еще второй задраивать.

Второй задраили молча и пошли в кап. Там скинули роканы в гальюне.

— Вот и все дела, жожаковский, — он мне сказал. — Больше не предвидится. В порт отзовут.

— Думаешь?

— Ты пробойну-то видал?

— Снаружи.

— Пойди изнутри посмотри.

Мы сошли вниз и разошлись по кубрикам. В нашем — какое-то сонное царство было; не знаю, слышали они удар или нет. Или на все уже было начхать — до того устали. По столу веером лежали карты и чей-то рокан, на полу — сапоги с портянками. Я пошел пробойну поглядеть.

3

На камбузе «юноша» возился у плиты, закладывал в нее лучины и газету.

— Полюбоваться пришел? Есть на что.

Люк в каптерку был отдраен. Я подошел заглянуть. Воды было на метр, в ней плавала щепка для растопки, ящики с макаронами, банки с конфитюром — горестное зрелище, я вам скажу. Но главное-то — сама пробойна. Я все-таки не думал, что она такая огромная, жуткая, буквально сверху донизу. Сквозь нее было видно море — сизая штормовая волна. Чуть корма опускалась, оно вливалось, как в шлюз, хрипело и пенилось.

— Продукты-то можно бы вывирать, — сказал я «юноше».

— А на кой? Которые подмокли, их уже выкидывать надо. А банкам что делается?

— И то верно.

— Каши насыпать?

— Насыпь немного.

— То-то мне не хотелось в эту экспедицию идти. Как чувствовал!

— Ты здесь был? — я спросил.

— А где же. С бондарем сидели. Как раз я в каптерку собирался лезть, и как меня кто надоумил — дай, думаю, сперва плиту распаяю,

а после уже за продуктами слазаю. А то б сейчас там и плавал бы, ты подумай!

Он даже развеселился, что так вот вышло. Стал соответствующие случаи вспоминать. Как он, матросом, бочки с рыбой укладывал в трюме, и как одну бочку раскачало на цепи и стукнуло ребром об пиллерс, а он как раз за этот пиллерс рукой держался. «Представляешь — на два бы сантиметра выше, и пальцев бы как не было. Так бы и остались в варежке!» А то еще другой случай был, на рефрижераторном, — там у них кладовщик в холодильнике заснул. Жарко было, они сардину промыслили под экватором, так он скинул сапоги и залез в холодильник освежиться. А его не заметили, задраили двери и пустили холод. Через пару часов хватились, а он уже мерзлый был — хоть ножовкой режь.

Я эту историю, правда, в другом варианте слышал. Будто бы не кладовщик, а кот полез — воровать сардины. Но ведь с кладовщиком-то тоже могло случиться! Так они, эти истории, и складываются.

— И как твое мнение, — я спросил, — отзовут?

— Ты еще сомневаешься?

Да, если бы такое на крейсере случилось, я бы еще сомневался. Но то ведь крейсер. Он с такой дырой не только что плавать обязан, а бой вести. Там бы ее даже в программу учений включили. А рыбакам и так мороки хватает. Значит, отплавали рейс. Денежки кой-какие получим, и баста. И привет морю.

Я вышел. Фареры выплыли из дождевой завесы, и скалы нависли над полубаком, закрыли полнеба. Даже казалось — вот сейчас воткнемся.

Но скала расступилась, блеснула спокойная вода, узенькая полоска, но такая голубая, так резко она отличалась от открытого моря. При самом входе в фиорд торчали камни, сплошь обсиженные чайками, кайрами. Эти камни, сколько я помню, лежат у Фугле-фиорда, откололись они от скалы лет, наверное, триста назад. Волна набегала на них с грохотом, с урчанием, они шатались заметно, и птицы взмывали, носились кругами и тут же садились снова — когда волна проходила и камень оголялся донизу.

Мы прошли под камнями и сбавили ход. Фарватер здесь извилистый, узкий, скалы — как стены в колодце, кажется, достанешь рукой или же мачтой чиркнешь. По скалам струились ручейки от дождя, а на уступах видимо-невидимо птиц, крик стоял невообразимый. Морские птицы — те уж привыкли к нам, садятся спокойно на реи, на палубы, иной раз целая стая перелетная отдыхает и ни черта не боится. А береговушек все тревожит: дым из трубы, или гудок, или просто винт шлепает в узкости слишком гулко, или человек выйдет выплеснуть ведро — для них уже целое событие.

Мы прошли поворот, другой, и моря совсем не стало слышно, спокойная голубая вода расходилась от носа ровными усами и хлюпала под скалами. Только два раза попались нам встречные. Пovyбежали на палубы рыбаки, смотрели нам вслед. Каждое слово — как в трубе. Жалко, я по-датски не знаю, мне бы их мнение хотелось узнать насчет нашей задницы. Фареры ведь мореходы первый сорт, здесь даже по лощи капитану разрешается брать лоцманом любого — с четырнадцати лет, хоть мальчишку, хоть девчонку¹.

Бухта открылась — вся сразу, чистая, молочно-голубая. Только если вверх посмотришь и увидишь, как облака несутся над сопками, по-

¹ На Фарерских островах живут датчане, отделившиеся от метрополии. У них свой флаг, свой герб, своя столица — Торсхавн. В основном рыбаки и овцеводы, они торгуют с другими странами рыбой, овечьей шерстью и мясом.

чувствуешь, что там творится, в Атлантике. Ровными рядами — дома в пять этажей, зеленые, красные, желтенькие, все яркие на белом снегу. А поверху сопки, серые от вереска, снег оттуда ветром сдувает, и как мушиная сыпь — овечьи стада на склонах. Суденышки у причалов стояли не шелохнувшись, мачта к мачте, как осока у реки, — яхточки, ботики, сейнера, реюшки, тут почти у каждой семьи своя посудинка, все рыбаки, все плавают.

Мы шли к середине бухты, к нашей стоянке — по конвенции мы к причалу не швартуемся, в крайнем случае раненого можно доставить шлюпкой. Отсюда видно, как ходят люди, собаки бегают, автомобильчики снуют между домами и по склонам сопки, там поверху проложена шоссейка.

Якоря отдавать — все, конечно, вылезли. Что значит стоячая вода, всем спать расхотелось.

Сгрудились на полубаке, Шурка прибежал с руля с биноклем, и все по очереди стали пялиться на берег. Вон рыбачка вышла — белье на веревке развесить, вон две кумы встретились и лясы точат, фарерскими сплетнями обмениваются, а нам все в диковинку.

— Эх, ножки! Швартануться бы. Потом бы всю жизнь такое вспоминал.

— Давай пльви, кто тебя держит?

— Старпом! А старпом! К причалу не подойдем?

Старпом тоже из рубки в бинокль пялился.

— Какой ты умный, — говорит.

— А кто стукнет? Кепа же нету.

— Найдется кому.

В бинокль все радужно — песик бегают по снегу, фарерский песик, виляет хвостиком, ластится к своей фарерской хозяйке, а та фарерскими ботиками притоптывает — ботики модные, а холодно в них. Фарерский пацан своего братишку катает на фарерских саночках, шнурки на ушанке болтаются... Почему так тянет на это смотреть? Неужели диво — люди, как и мы, тоже вверх головами ходят. Глупо же мы устроились на земле — вот море, одно на всех, сопки — такие же, как и у нас, бухта — для всех моряков убежище. А не подойдешь к ним, конец не подашь, не потравишь с этими фарерцами. Правду сказать, они к нам тоже по-свински относятся. В позапрошлом рейсе мы к ним раненого доставили, со сломанной рукой. Они его в отдельную палату положили, телевизор поставили, и он его целыми днями крутил. А потом они счет прислали — пятнадцать долларов за лечение, шестьдесят — за телевизор. Он-то не знал, что там счетчик вмонтирован. Ну и чуть этого малого со свету не сжили — за такое расхищение валюты. А сами у нас бесплатно лечатся. И сколько ни просим мы, чтоб они в ответ хоть для моряков бы сделали исключение — все как об стенку горох.

— А что, бичи? — сказал Шурка. — В заграницу приехали.

— Ты еще не приехал, — Ванька Обод ему угрюмо.

— А где же я?

— А все там же. В Расее.

— Ну нет!

— Вот те и «нет». Что ты на это дело в бинокль смотришь, это и в кино можно, в порту. Даже виднее.

Всегда найдется такой Ванька Обод — настроение испортить. А солнышко вышло, стало чуть теплее, потянуло сле слышно весной. В такие дни на берегу хочется в море. А в море — хочется на берег.

— Скидывай рокана, бичи! — сказал Шурка. — Айда все по-береговому оденемся.

— Не рано ли? — спросил Серега.

— А чего рано? Теперь уже до порта — ни метать не будем, ни вы-
бирать. Айда!

Мы поглядели на старпома. Он все пялился на берег.

— Старпом,— спросил Шурка,— точно ведь в порт?

Старпом оторвался от своего бинокля.

— На все будет команда.

— Это что значит? Может, еще и останемся? Это хочешь сказать?

Но у старпома прямого слова не выжмешь. Да он и на самом-то деле мало что знал. Даже вот оставят ли его старпомом — и то не знал.

— Покамест,— говорит,— ремонтировать будем.

— Это само собой,— сказал Шурка.— С такой дырищей тоже мало радости до порта шлепать.

Больше всех ему верилось, Шурке, что в порт уйдем. И не стоялось ему, как жеребенку в стойле. А если подумать — чего мы там не видели, в порту, кроме снега январского и метелей, кроме «Арктики»? Да и этих-то радостей — на неделю, не столько же мы заработали, чтоб куда-нибудь в отпуск поехать. Но великое же слово — домой!

Все-таки пошли в кубрик, переоделись. И сразу мы все разные стали. Вышли на палубу, как на брод, на набережную.

— Я теперь ни к чему не прикоснусь,— говорит Шурка. Он в пид-
жачке вышел, с галстучком.— Дрифтер скажет: «Чмырев, иди подбору шкерить!» А я ему — хрена, сам ее шкерь, а я теперь не матрос, я пассажир на этом чудном пароходе.

— Сигару — не хочешь? — спросил Серега.

— Отчего же нет, кореш?

Серега вытащил «беломор», мы задымили, облокотились на планшир, сплевывали на воду. Ни дать ни взять — на прогулочном катере где-нибудь в Ялте.

— Слышь, старпом,— сказал Шурка.— А ты не переживай.

— А чего мне переживать.

Старпом отставил свой бинокль, стоял, как портрет в раме. Невеселый это был портрет.

— Врешь,— сказал Шурка.— Переживаешь! А зря. Ну, понизят тебя до второго, ну там до третьего, годик поплаваешь, и опять — в старпомы. Ты же у нас хороший мальчик, дисциплинированный, начальство уважаешь.

— Чего это меня понизят? Третьего вахта была, а не моя.

— Ну, чумак,— сказал Серега.— Он же тебе ее передал.

Старпом лоб наморщил. Задумался, видно, как он из этой истории будет вылезать.

— Спросят, чья вахта была с двенадцати.

— Не-ет,— Шурка засмеялся,— так не спросят, не рассчитывай. А «кто на вахте был с двенадцати?» — вот как. Ты уж на худшее надейся, глядишь — оно и получше обернется.

— Нет, «чья» спросят.

— Нет, «кто»!

— Вахту же передавать не полагается.

— Но ты ж ее принял.

— Ну и что? В виде исключения...

— А шляпил — тоже в виде исключения? — Но тут же Шурка и смилостивился: — Ну... может, тебя и помилуют, старпом, всяко бывает. Но если тебя в матросы разжалуют, тоже не огорчайся. Зато какую науку пройдешь! Сам побичуешь — бичей притеснять не будешь. Ты, первое дело, им спать давай. Не подымай в шесть, подымай в восемь. Никуда рыба из сетей не убежит, а человек — он дороже. Теперь, значит, выходных чтоб было два в неделю. Кто это придумал — в море без

выходных? Ты этот порядок отмени, старпом. А рыбы наловим, будь спок. Ты к бичам хорошо, и они к тебе хорошо. Усвоил мои советы?

— Ладно.

— Да нет, ты запомни их.

— Запомнил.

— Что он там запомнил! — сказал Ванька. — Оставят его на мостике — так же и будет на тебя орать.

Грустно нам отчего-то сделалось. И языки чесать надоело.

— Чего будем делать, бичи? — спросил Шурка.

— А то и делай, — сказал Серега. — Стой, по сторонам смотри.

— Старпом! — Шурка опять к нему пристал. — У тебя, может, какие распоряжения будут? В последний раз мне твой голос охота послушать.

— Будут — позову.

— Нет уж, я спать пойду.

— Спи, мне-то что.

Но Шурке и спать было скучно. Такое было весеннее настроение, хоть в самом деле — прыгай с борта, плыви к берегу.

— Бичи, — вспомнил Шурка. — А мы же фильмами-то махнулись на базе? Айда покрутим.

Пошли с полубака, покричали в кап:

— Эй, салаги! Кончай дрыхать, есть работа на палубе. Фильмы крутить.

Не вылезли. Так устали, что даже на стоячей воде не проснулись.

А фильмы — так себе отхватил «маркони». Один — про какую-то балерину, как ей старая учительница не советует от народа отрываться, погубишь, говорит, свой талант. Мы даже вторую бобину не стали заправлять. Другой поставили — про сектантов, как они девку одну охмуряют, а комсомольская организация бездействует. Потом, значит, новый секретарь приезжает, и от этих сектантов только перья летят. Но там одно место можно было посмотреть — как этот новый секретарь влюбляется в эту охмуренную девку, и она, конечно, взаимно, только ужасно боится своих сектантов, и он ей внушает насчет радостей любви в таком симпатичном березовом перелесочке, и березки эти кружатся, и облака над ними вальс танцуют. Мы эту бобину два раза прокрутили. «Юноша», который из камбузного окна смотрел, попросил даже, чтоб в третий раз поставили, да нам есть захотелось. И пробоина нас больше занимала.

То один, то другой ходили на нее смотреть — не заросла ли? Возвращались довольные, ели потом с аппетитом.

— Эх, кабы еще баллер погнуло — это уж наверняка бы отозвали. Его на промысле не выправишь, в доке надо менять.

— А хорошо б еще — винт задело.

— Ну и что — винт? Это водолазы сменят. Что на базе, запасных винтов нету? Самое верное — баллер.

Салаги тоже пришли поесть, послушали нас. Димка рассмеялся:

— Энтузиасты вы, ребята! А как же насчет «море зовет»?

— А вот оно и зовет, — ответил Шурка. — В порт иди.

Тут нас старпом позвал по трансляции:

— Выходи, палубные, к нам швартоваться будут.

В бухту еще один СРТ вошел, подчаливал к нам. В носу стоял борадач в рокане, поматывал швартовым.

— Ребятки, — кричит, — нельзя ли за вас подержаться?

— Подержись, — говорим, — только не за нашу поцелованную.

— Ну, молодцы ребята! Где такую нагуляли?

— А там же, где ты бороду.

— Счастливы вам теперь до порта.

— Спасибо,— отвечаем,— на добром слове. Привет капитану!

На этом СРТ все оказались бородачи: кеп — бородач, «дед» — бородач, все дикари — то же самое. Оказывается, они зарок дали не бриться, пока два плана не возьмут. А два плана им накиннули, потому что решили они проплыть полгода. Три месяца уже отходили в Северном, теперь на Джорджес-Банку шли. Тоже своего рода Летучие Голландцы.

А на палубе у них — все наши были, кто на базу ушел. Примолкшие все, какие-то пришибленные, улыбались виновато, хотя их вины не было, что так получилось. Но это я понимаю, всегда отчего-то чувствуешь себя виноватым, когда ты покинул судно, а на нем какое-нибудь чепе.

Кеп перескочил нахмуренный и даже пробоину не пошел смотреть, скрылся у себя в каюте. Третий, от выпитого розовенький, полез старпома утешать:

— Чего не бывает? На моей вахте один раз порядок утопили, а все обошлось.

— А это, считаешь, не на твоей вахте было?

— Ты что, больной? — Сразу перестал улыбаться.— Шляпил кто — я или ты? Тебе доверили, а ты прошляпил...

А старпом-то — надеялся. На что надеялся!

«Дед» тоже не стал смотреть пробоину. Ну, а дрефтер, и «Рыбкин»¹, и Васька Буров помчались, конечно, бегом. Вернувшись, только головами мотали и языками цокали.

Бородачи тоже поинтересовались:

— Ну, как, хороша?

— Знаешь,— дрефтер говорит,— просто не ожидал, что так хороша!

— До порта с нею не дойдете?

— До порта-то, хоть всю корму отруби, дойдем.

Потом кто-то принес на хвосте:

— Бичи, «дед» в каюте акт составляет. Я в окошко подглядел.

Я пошел к «деду». Чего-то он и правда писал за столиком, длинную такую реляцию. По привычке взялся было за очки, когда я вошел. Но, в общем-то, он уже и не таился, даже окно не задернул.

— Пошарь там в рундучке,— сказал мне.— Я сейчас кончу.

Я вытащил коньяк и две кружки. «Дед» для меня всегда приносил с базы, если мне не удавалось выбратся. Я распечатал и стал закидывать насчет пробоины — вот, мол, и повод есть, за что выпить. «Дед» отмахнулся, даже с какой-то досадой.

— Что вы там паникуете с этой пробоиной? Дать по шее раззяве, который допустил, и всего делов. А вы — в порт! С такой дыркой в порт идти — стыдно.

— Ты ж не видел ее.

— Видал. Снаружи. Чепуха собачья.

— Изнутри поглядеть — море видно!

— Заварим, не будет видно море.

Я подождал, когда он кончит свою реляцию, а пока разлил по кружкам. Мне даже грустно стало — так мы настроились на возвращение.

— Что ж,— говорю.— Тогда — за счастливый промысел?

— А вот это не выйдет.— «Дед» взял свою кружку.— В порт все равно придется идти.

— Ты ж говоришь — чепуха.

— Та, что в корме. Но у нас еще в борту заплата.

Я что-то не помнил, чтоб мы еще и бортом приложились. Но, может, я и не почувствовал, когда такой толчок был с кормы?

¹ Рыбмастер, специалист по засолке, замораживанию, разделке рыбы и т. п.

— Постой,— сказал я «деду».— Но мы же правым стояли к базе, а заплатка — на левом.

— Какая разница? От такого удара весь корпус должен был деформироваться. Когда обшивка крепкая — ей ничего, она пружинит, и только. Но если слабина... А у нас там, поди, на бортах все листы перешивать надо.

— Шов пока не разошелся.

— Ну-ну,— сказал «дед», усмехаясь,— брякнуть-то легко — «не разошелся», а ты его хоть пощупал? Смотрел на него?

И в самом деле брякнул я, чего не знал.

— А если и не разошелся,— сказал «дед»,— значит, попозже. Волна хорошая ударит...

— А по новой ее заварить?

— В доке. Там все исследовать хорошенько. Ну, поплыли?

Вечером, когда я шел от «деда», я все же посмотрел на нее. Свесился через планшир и ничего не увидел — ровные покрашенные швы. И нигде не сосало, не подхлопывало.

Шурка Чмырев подошел, тоже свесился.

— Ты чего там высматривашь?

Я ему рассказал, о чем говорил с «дедом».

— Из-за этой в порт? — спросил Шурка.— Да ей черта сделалось!

Я тоже подумал, что черта.

В кубрике Васька Буров сидел верхом на ящике, помахивал гвоздодером и проблему решал — открывать или не открывать? Притащил он с базы три ящика — с яблоками, с мандаринами и шоколадом,— и проблема была такая: если остаемся, тогда, конечно, открыть; ну, а если в порт идем? С нас ведь за них вычитать будут. А мы, может, еще и на аттестат не заработали.

Мы с Шуркой тоже ясности не внесли.

— Не знаю, что и сказать, бичи.— Шурка сразу в койку полез.— Трехнульс «дед». Не пробоину, говорит, а заплату в док пойдем перешивать.

Ванька Обод приподнялся в койке, выглянул из-за своего голенища.

— Так это он про нее акт составляет?

Я сказал, что да, про нее. Ванька от смеха затряс голенищем.

— Теперь,— говорит,— мне все ясно, бичи. Почему я матросом плаваю, а не «дедом». Разве ж простому дикарю до этого додуматься?

Васька Буров почесал свою лысину.

— Да как, бичи? Открывать? Я — как все скажут.

— Не мучайся,— Димка ему посоветовал,— открой. Посмотрим на твои яблоки.

— Твое слово — последнее, салага. Ты вторым классом плаваешь, ты ишо на них не заработал.

— Неужели?

— Вот те «неужели». Весь ящик — возьмешь?

— Весь нет. Нам с Аликом по два кило запиши.

— По пятнадцать — не хочешь? Или весь берите, или я его под койку задвину, пушай до порта лежит.

— Была не была,— сказал Шурка.— Я три кило возьму.

— Кто еще?

— Ты своим нацапкам — по три.

— Я не возьму,— сказал Минтрохин.

— В гробу я их видел, твои яблоки,— сказал Ванька Обод.

Васька Буров постукал по ящику гвоздодером — может, еще кто отзовется,— и стал его задвигать под койку.

— Запиши на меня весь,— сказал я ему. Надоела мне ихняя бухгалтерия.— Я всех угощаю.

Тут только фанера затрещала. Тридцать кило в один миг растащили.

Мы лежали в койках, хрустели этими яблоками, когда «маркони» объявил по трансляции:

— Матрос Шалай, явиться за радиограммой.

Я взял десяток, пошел к нему. Была уже ночь, и мы одни стояли посреди бухты. Бородачи ушли на свою Джорджес-Банку. Огни в городке светились, как в тумане, а поверху, на сопках, мелькали красные огоньки и белые конуса от фар — автомобильчики бегали по шоссе.

«Маркони» лежал одетый в койке, руки за головой. Сел, помотал чубиком, как с большого перепоя. Вся щека у него была расцарапана.

— Выпить хочешь? — спросил.— Чуток осталось.

Я понял, что никакой радиограммы не было; просто хотел меня одного позвать. Он вытаскил поллитру «московской», там половина еще осталась, мы отпили по глотку из горлышка и закусили яблоками.

— Как находишь? — он показал на щеку.— Все, как полагается?

— Отдельная — не помогла?

— Точно. Но — подошли вплотную. Мне, Сеня, с первого раза не нужно. Со второго — оно надежней.

— А думаешь — еще подойдем к базе?

— И не раз и не два, Сеня. Кеп ни за что в порт не уйдет. Он воду будет пить соленую, из моря, чтоб только на весь рейс остаться. Мало еще, он на лишний месяц останется — пока про этот «поцелуй» все забудут.

Мне хотелось про заплату сказать, но я как-то уже и сам в нее не верил. Только сказал:

— В таких случаях команда должна решать. Ситуация — аварийная.

.. Он усмехнулся криво:

— А что такое команда, Сеня? Это же я и ты.

— Тоже верно. Значит, все-таки за счастливый промысел?

Мы отпили еще из горлышка.

— Кстати,— я сказал,— чтоб не забыть. Ванька Обод у нас списывается, бабу свою хочет застать. Ты отбей-ка его бабе радиограммку, что он возвращается,— вдруг и правда застанет.

— Отобью.

Он помотал головой, вздохнул, опять потрогал щеку. Ему еще хотелось про свою Галю потравить, так это я понял.

— Слушай,— я спросил,— на кой она тебе нужна?

— Сам удивляюсь. А в общем, ни на кой.

— Влипнешь еще.

— Э, куда мне еще влипнуть! Меня от любого влипа трое потрохов сберегут, и баба такая, что только в гроб меня из когтей выпустит. Но я ж ей тут, на море, врон сделаю! И пускай до нее дойдет, я даже рад буду. Хочется мне, Сеня, хоть последнюю молодость от своей бабы отвоевать.— Он поерошил волосы. Очень уж они были редки.— Вот, до темечка доползет лысина — тут я вполне успокоюсь.

Я ждал, когда он про Лилю хоть мельком вспомнит. Наверняка же он с нею говорил обо мне. Он как будто угадал:

— А твоя-то — все спрашивала, как ты да что ты. Язык у меня отсох — тебя хвалить.

— Зачем бы это ей?

— Зачем! Замуж ей — пора вроде?

— За меня, что ли?

Он засмеялся.

— Молодой ты еще, Сеня. Молодой, не обученный. Если девка любит, то хуже моряка для нее мужа нету, а если не любит, то нету лучше. Круглый год ты по морям, по волнам, только весточки от тебя и гроши. Чувствуешь, какая малина.

— Ну, она про это не думает.

— Смотри-ка, до чего особенная! Какая девка про это не думает? Не думает, но — прикидывает. Сама себе в том не признается. Ты же- нился б на ней?

— Не знаю.

— Это опасно, Сеня, когда не знаешь.

— Ну, не для меня она. И я не для нее.

— Почему бы это, Сеня? Она — образованная, да? Институт кон- чила? Какой же институт, рыбный? И что — она больше твоего про рыбу знает? Книжек больше прочитала?

— Наверно, знает, какие читать.

— Этого никто не знает. Пока не прочтет. Ах, Сеня! Нам с тобой совсем другое нужно.

— Что же нам нужно?

— Ну, как минимум — чтоб по нас тосковали, когда мы в море ка- чаемся. А главное — жить бы не мешали, когда мы приходим. Не висели бы гириями какими-то! Сколько мы пороху тратим, а потом — сами же в мышеловке сидим. И учти, Сеня, она тебе тоже жизни не даст. Знаешь, чем она тебя держать будет? Тем, что она тебя облагодетельствовала. Век ты ей будешь обязан. Такая это девка, я кожей чувствую.

Ну, дальше-то можно было и остановить его. Что я хотел про нее знать, я сам выясню.

— Спрашивала она у тебя, что, наверное, «трудный у него харак- тер»? У меня то есть.

— Спрашивала, Сеня.

— Говорила, что ко мне подход нужен особенный?

— Говорила, Сеня.

— И что не всякая, мол, согласилась бы со мной иметь дело?

— И про это, Сеня.

Вот тут мне сразу грустно сделалось. Оттого, наверное, что она не соврала, когда говорила: «Я — как все».

— Ну, кончили об этом, — я сказал. — Ты спать будешь?

— Хотел бы, да кепа должны запрашивать с базы. Чего-то они про нас решают.

Мы ждали часов до двух, допили всю бутылку и не дождались вы- зова.

4

Утром причалил к нам катер с плавбазы.

Мы его притянули, наладили трап, и вот кто по нему сошел — соб- ственной персоной Граков.

С «Арктики» он уж обветриться успел, как-то поздоровел. Спрыгнул на палубу, как молодой, улыбнулся нам по-отечески, зубы показал зо- лотые.

-- Что, утопленники, носы повесили? Ну, понимаю, понимаю, когда план срывается, это обидно.

Такое, значит, было начало. Кеп вышел его встречать, он с ним ед- ва-едва поприветствовался и снова к нам, палубным:

--- С таким-то капитаном унывать? Ну, Николаич, веди, показывай свои раны.

С Граковым сошли еще — групповой механик, тощеватый, сутулый, в синем плаще с капюшоном, и пара работяг — сварщики, в руках у них ящики были с электродами и щипцами.

Повалили все в корму. Граков первый в каптерку полез. Там уже доски боцман проложил, чтобы начальство ноги не промочило. Граков там ходил, доски под ним гнулись, снял перчатку и пальцем потрогал край пробоины.

— Н-да. Обидели вас чувствительно.

Групповой механик тоже спустился, тоже поглядел, но — молча. Видик у него скучный был, наморщенный, как перед первой стопкой.

Граков спросил:

— А что по этому поводу думает стармех?

Кто-то уже позвал «деда», он стоял над люком. Кашлянул в кулак и сказал:

— Думает, что чепуха.

Граков от его голоса вздрогнул, выгнул шею, чтобы увидеть «деда», и чуть потемнел.

— Ну, не совсем чепуха. Но если команда горит желанием...

— Команда-то горит. Пока не зальется.

— Ну вот, что за настроение, Сергей Андреич, я тебя не узнаю.

Граков стал вылезать. «Дед» стоял ближе всех и мог бы подать ему руку, но не подал. «Дедов» начищенный штаблет был как раз против его лица, Граков на него поглядел и поморщился. Но «дед» не убрал ногу, пока тот не вылез.

— Не узнаю,— опять сказал Граков.— Сам говоришь: «чепуха», а настроение... Этак ты нам бичей деморализуешь.

— Сходим ко мне в каюту, объясню. И акт покажу.

— У тебя уже и акт составлен? Ну-ну. Группового тоже приглашаешь?

— Конечно,— сказал «дед». И подал групповому руку.— Он-то, надеюсь, и поймет.

Граков опять потемнел, но смолчал.

Пробыли они у «деда» минут пятнадцать. Вышли, заглянули через планшир. Мы гурьбой стояли поодаль.

— Что-то сомнительно,— Граков поглядел на группового.— Как твое мнение?

Тот опять заглянул, как будто ему мало было одного раза.

— Не мешаает прислушаться к Бабилову.

— А мы что делаем, Иван Кузьмич? — Граков спросил досадливо.— Мы разве не прислушались? Но надо же решать по существу.

Групповой пожал плечами. Решать ему очень не хотелось. Граков подождал и отвернулся от него.

— Что ж, Сергей Андреич. Твои соображения, конечно, весомые. Тем более ты акт составил. Стал, так сказать, на официальную точку зрения. Тем самым ты с себя ответственность как бы снимаешь...

«Дед» как будто не слушал его, смотрел на фарерские сопки.

— Ну, естественно, ты о безопасности обязан думать. На то ты и стармех. Никто тебя не осудит, если ты находишь, что судно аварийное и надо его вести в док. В таких случаях лучше, как говорится, перестраховаться. Никто не осудит, ты прав. Но стране рыба нужна, вот в чем дело. Мы все это помним.

«Дед» поглядел на него как-то устало.

— Стране тоже и рыбаки нужны.

Граков засмеялся, оценил шутку.

— Метафизик ты, Сергей Андреич. Отделяешь людей от дела. Ну что ж. Вот они-то пусть и решают. А, рыбаки? Как — уйдем в порт или

останемся на промысле, выполним трудовой долг? Тут первое слово — команде. Не возражаешь?

«Дед» чего-то хотел ответить, потом повернулся и пошел прочь. Мы расступились, дали ему пройти.

— Ну, утопленники! — Граков к нам подошел. — Ваше слово, никто за вас его не скажет. Опасность некоторая, конечно, есть. Бабилов — механик знающий. Но и мы с вами тоже кое-что знаем. Как люди плавают. В каких, понимаете, условиях. Когда необходимость велит. Про это ведь в акте не напишешь...

Мы стояли толпой, переминались. Потом Шурка спросил:

— Ну дак чего? В порт, значит, не идем?

Граков ему улыбнулся.

— Хочешь, чтоб я тебе приказал? А я, наоборот, тебя хочу послушать, твое мнение.

— А чего меня-то слушать? На ж... поглядеть, как нам ее поцеловали.

— Это ты называешь «поцеловали»? Я думаю, это по-другому называется. Это на вашу ж... только «обратили внимание». Так точнее будет, правда? Да сам же Бабилов, слышали, «чепуха», говорит, заварить — раз плюнуть.

Я сказал:

— Он не про это говорит.

Шурка от меня отмахнулся чуть не со злостью:

— Да будет вам хреновину плести с твоим «дедом»! Помешались на этой заплате.

Граков переглянулся с групповым.

— Я ж говорю, совсем он их деморализовал. Запутал.

Тот лишь плечами пожал, не ответил. Тут Ванька Обод вперед выступил:

— Лично я вот списаться хочу... Это как, можно или нет?

Граков поглядел на него строго. Ванька весь ужался.

— Как фамилия?

— А чо «фамилия»? Вопрос нельзя задать?

— Ну, а все-таки, фамилия у тебя есть? Или ты ее стесняешься? Вот у меня — Граков, все знают. А ты у нас — беспризорный, что ли? Иван, не помнящий родства?

Ванька помялся, выдавил из себя:

— Чего это не помнящий? Иван Обод... Ну?

— Родил наконец! Значит, списаться хочешь, Иван Обод? Товарищ бросить?

— К доктору я на прием записан. Еще раньше.

— Болеи, значит? Плохо себя чувствуешь? Это другое дело, прости. Это вопрос не принципиальный. Конечно, держать не будем. Причина — уважительная.

Бондарь спросил:

— А другим нельзя? Ребров моя фамилия.

— Можно, Ребров. Представь себе, можно. Каждый, кто хочет списаться, может это сделать. В установленном порядке. Подать заявление капитану, получить у второго штурмана аттестат и так далее. Держать никого не собираемся. Боязливые да робкие нам не нужны. Коллектив у нас здоровый, а от балласта освободится — еще будет здоровее. Так, орлы?

Он улыбался, все свое золото выставил, а руку положил на плечо — тому, кто поближе. А ближе всех к нему Митрохин стоял, чокнутый наш, моргал ресницами. И тут он весь вспорхнул, покраснел, даже затрясся — от злости, что ли, или знамение ему привиделось.

— Чего мы стоим действительно, лясы точим! Работать надо! Чиниться. А думать — не хрена, ребята. Айда работать!

— О! — Граков удивился даже, потрепал его по плечу. — Гляди-ка, Иван Кузьмич. Мы тут про железо беспокоимся, а на этом железе — еще люди плавают!

Чокнутый наш рванулся — куда-то чего-то вкалывать.

— Ну, ребятки, — Граков нам сказал. — Давайте-ка действительно, делов у нас хватает, не будем розовым мечтам предаваться.

Мы постояли и разошлись. Тут лишь заметили, что сварщики уже протянули провода к корме, притащили с катера пару стальных листов. Все — пока мы лясы точили.

— Веселей, веселей на палубе! — Это уже старпом покрикивал из рубки. — Заспались.

Шурка задрался с ним:

— Сиди там. Скажи спасибо, что не разжаловали.

— Ты с кем разговариваешь?

— С кем! С тобой.

— А ты глаза разинь. Ты не со мной одним.

А за ним, действительно, кеп стоял — хмурый, шапку на брови надвинул. К нему тоже как будто относилось.

— А я вообще говорю. Кой-кого не мешало бы разжаловать.

Кеп отошел вглубь. Я взял Шурку за рукав, увел от греха подальше.

Отдранли трюма, стали бочки катать на полубак. Это чтобы корма поднялась. Все делали молча, но каждую минуту готовы были сорваться. Так оно вскорости и вышло.

Кепу идея пришла — на полубак еще и сетей натаскать. Это нужно весь порядок, уложенный для выметки, разрушить, а потом его снова набирать. И много ли толку от сетей — в них, в каждой-то, тридцать килограммов весу; это чтоб увеличить дифференциал на сантиметр, нужно сеток полста, не меньше. Мы их таскали, таскали, потом соображать начали — что же это мы делаем? А вернее — дрефтер обо что-то споткнулся. И озверел.

— Посылают командовать лопухов на нашу голову, так их, и так, и раззат!

А тихо было, и кеп, конечно, услышал. Он уж, поди, и сам был не рад, что такая идея ему пришла, но команда отдана, отменить — амбиция не позволяла.

— Скородумов, ты это про кого?

Мы бросили сетки, расселись на них и закурили. Спектакля ждем.

— А я, — говорит дрефтер, — про тех, к кому это относится.

— Скородумов, у меня к тебе давно претензии. Не нравишься ты мне, Скородумов.

— А я не за тем плаваю и не за то деньги получаю, чтобы кому-то там нравиться.

— Так вот, Скородумов, больше нам с тобой не плавать.

— Да опасн! Только до порта дойти, а там расплюемся. Ну, это уж потерпим недельку.

— Нет, не недельку, Скородумов. Насчет порта вопрос решенный.

Дрефтер так и сел.

— Когда это он решенный?

— Извини, с тобой не посоветовались. Так что можешь — в индивидуальном порядке. Мы тебе замену найдем.

Дрефтер взял сетку и потащил. Мы за ним. Лицо у него свекольное стало, но все слова в горле застряли.

— Хорош! — кеп наконец скомандовал. — Больше не таскайте.

А мы всего-то шук двадцать перетаскали.

— Как это «хорош»? Или уж все таскать, или не браться было...

Но кеп уже удалился. Вместо него старпом выглядывал.

— Ладно, Скородумов, покричали — и хватит. Тебе сказано — «хорош».

— Дак эти-то что — обратно таскать?

Старпом задумался.

— Давай,— говорит,— обратно.

Тут такое сделалось! Дрифтер заревел — так, что чайки взмыли над Фугле-фнордом, пошел к полатам неверным шагом, вытащил багор и кинулся с ним наперевес к рубке. Старпом уже, наверное, с жизнью распостлился, стоял, как памятник на своей могиле. Впятером мы сдва дрифтера завернули, увели в кубрик. Там он лишь минут через двадцать успокоился и вышел с помощником — шкерить подбору. Остаемся или уходим, а он ее должен срезать со старых сетей, уже негодных, а в порту сдать — она ценная, сизальская.

А мы все катали бочки, пока не сказали нам «хорош», корма поднялась, можно заваривать.

Боцман соорудил беседку — два штерта и доска, — на ней мы обоих сварщиков смайнали к воде. Один там дрелью сверлил отверстия в обшивке, другой кувалдой выстукивал края пробойны.

— Эй, сварщики! — Шурка им орал. — Вы варите как следует. Потонем — вас же совесть замучит.

Мне с Васькой Буровым боцман вручил по лопате — мокрый уголь из каптерки штывать в пробойну. Его там до черта насыпалось — трубу разорвало, по которой он сыплется с ростр; вся вода от него почернела.

— Эй, сварщики, — Васька шептал им в дыру. — Ни хрена не варите, поняли? Одних бичей слушайте. Сварите себе тяп-ляп. Чтоб она снова потом бы разошлась.

— Да не поймешь вас, ребята, кого слушать...

Они и не слушали, грохали по обшивке. Дрель визжала, как зарезанная.

— Давай, Васька, штывай, — сказал я ему.

— Да погоди, жожаковый, посачкуем. Никто нас тут не видит.

Я один штывал. Что толку сачковать — когда сидишь в вонючей дыре, грохот в ушах, визг. Но Ваську хоть повесьте за ноги — он и так сачковать согласен. Сидел на кадушке с капустой и все перекуривал, перекуривал.

Старпом пришел — взглянуть на нашу работу.

— Сколько выгребли?

— Сто шидисят три лопаты, — Васька говорит.

— Он, значит, работает, а ты считаешь?

— Как же не считать? Мы ж по очереди. Двоим же не развернуть-ся, продуктивность снижается.

Он хореший сачок, с образованием. Спросил даже с готовностью:

— До сколько штывать, старпом? До тыщи или до трех?

— Пока сухой не пойдет.

— Ясно, это, считай, тыща семьсот.

Старпом постоял и ушел.

— Кури смело, — говорит мне Васька. — Слыхал — «пока сухой не пойдет».

— Ну, так нам тут работы суток на трое.

— Ты что? Его, если хочешь знать, вообще штывать не нужно. Думаешь, он мокрый не горит? Его специально водой поливают, спроси у кандея.

Я бросил лопату.

— Так чего ж мы с ним возимся?

— А не возись! Я ж те говорю — кури. Ну, шевели полегоньку, а то на палубу выгонят.

Я снова взял лопату.

— Не напрягайся,— сказал Васька.— Это ж мы всегда можем сказать: «сухой пошел».

— Они ж увидят.

— А мы сами сухого подсыплем. С роостр принесем и затолкаем в трубу. Ты, Сеня, молодой еще, дак за артельного держись. Я с дураками всю жизнь живу, а с ними-то больше научишься, чем с умными.

Но недолго мы блаженствовали. Граков пришел — я его ботинки увидал, с замшевым верхом. Стоял и стоял у нас над душой, пришлось тут и Ваське включиться в работу.

Вдруг он нас спрашивает, Граков:

— Это кто велел?

Я все кидал лопату за лопатой.

— Кто приказал уголь в воду бросать?

— Мало ли,— говорю,— умников найдется.

— А у тебя самого голова на плечах имеется?

Я встал, опершись на лопату, и заглянул вверх.

— Ну, вы потише, меня родная мама с детства не обижала.

— Грубый матрос,— говорит он мне.— Совершаешь двойную бесхозяйственность и грубишь при этом старшему. Уголь надо сушить, а не бросать в воду. А второе — дно засоряешь в бухте. Мы здесь окурок не имеем права бросить за борт.

Это он все правильно говорил. Но мне его тоже подколоть захотелось.

— А мое дело маленькое. Скажите старпому, пускай свое приказание отменит.

— Так вот я тебе приказываю.

— Вы? А кто вы такой на судне, прошу прощения? Я вас просто знать не знаю.

Он постоял, постоял. А я все кидал, с таким даже увлечением.

— Ну, что ж,— говорит.— Ты прав.

— И кстати,— говорю,— пожалуйста, со мной на вы.

Он не ответил, ушел. Старпом прибежал, весь пылающий.

— Хорош! — говорит.— Сколько перекидали?

— Да лопаты четыре,— ответил Васька.— Только ж начали.

— Кончайте.

Но вылезть нам тоже не дали. Полез групповой механик в люк — поглядеть, как там выстучали края.

— Порядок, можно притягивать.

Сварщики завели снаружи лист, приложили его к обшивке, в каптерке стало темно. В дыры, что они там просверлили, мы им просунули тросы полиспаста, зацепили его за пиллерс и все трое потянули дружно. Лист пошел — с жалобным стоном, со скрежетом. Они его начали приваривать — от электрода по эту сторону пролег кровавый шов, запахло окалинной и каким-то газом. Мы очумели, пока держали этот чертов полиспаст. Потом еще групповой взял второй электрод и начал изнутри заваривать. Мы сразу ослепли.

Васька заорал благим матом:

— Пустите, а то бороду спалю!

Отпустил он нас с богом — откашливаться на волю.

На палубе Шурка с Серегой замешивали жидким стеклом цемент, боцман стругал доски для опалубки. Как ни заварят, а надо еще зацементировать. Но с таким усердием они это делали, как будто еще утром не орали: «В порт, в порт!» Шурка прямо взмок от страсти. Потом побе-

жал к сварщикам, отнял у них электрод, сам заварил верхний шов. И язык при этом высунул, так ему это дело нравилось.

Ну, правда, шовчик он им показал — первый класс. Ровный, гладкий, а потом мы его зачистили, засуричили, покрасили чернью и вовсе его не стало видно. Если, конечно, не приглядываться.

Шурка поплевал на него, пошел гордый, руки в карманах. Я напомнил ему:

— А говорил — ни к чему не прикоснешься.

— Так, земля, это ж не рыбацкая работа! Себе удовольствие.

— Завтра и рыбацкая начнется. Груз сдادم и метнем.

— Ну, метать уж хрена! — Потом он подумал и скривился: — Э, земля! Конечно, метнем, а что нам еще остается. И не лезь ко мне, понял? А то — как звездану тебя по уху, земля!..

Вот так. Да мне и самому порт уже и мечтой не казался — ни розовой, ни голубой.

К вечеру все заделали, залили раствором. А через час он у нас потек, цементный ящик. Это уже тогда обнаружилось, когда убрали все бочки с полубака, поставили судно на нормальный дифферент. Что же теперь — опять корму поднимать?

— А где там наши каптерочки? — спросил боцман. Это я, значит, и Васька Буров. — Почерпайте, ребятаки.

Васька внизу черпал, я на штерте тащил ведро и выплескивал с кормы. А воды все прибывало.

Васька почерпал и засачковал.

— Пойдем поспим, жожаковый. Скажем — всю вычерпали, а она потом снова набралась.

— Так потом опять и пригонят.

— Главнос — сейчас удрать, пока старпом на вахту не вышел.

Но старпом еще перед вахтой прибежал.

— Там вода, — говорит.

— Она и будет, — сказал Васька. — Ее всю не вычерпаешь.

— Половину вычерпайте.

Мы черпали — она все прибывала. Я вспомнил, как в детстве, когда мне есть не хотелось, отец брал мою ложку и чертил по тарелке с супом: «Вот эту половину съешь, а эту оставь».

Старпом почесал в затылке и принял решение:

— А ну ее, задраивайте на фиг. Каптеркой пользоваться не будем.

Для чего ж мы тогда вообще эту пробойну латали? — хотелось мне спросить. Заваривали, цементировали... Да у кого спросишь?

Покидали мы бухту чуть свет, еще ночные огни не погасли в городке. Фарерцы в этот день не выходили на промысел. И, наверно, глядели на нас, как на диво, — идиоты мы, что ли, уходим из фиорда, когда в Атлантике черт-те что творится. Но нам уже и Атлантика была по колено. Мы только вылезли поглядеть на Фугле, попрощаться, а потом — завалились в ящики, проснулись, только когда закачал.

— Шесть баллов, ребята, не меньше, — сказал Митрохин. — Наверно, не пустят швартоваться.

— Пустят, — ответил Шурка. — Нас-то — в первую очередь.

Всё мы уже знали наперед — до апреля, когда нас никто на промысле не удержит, никакой Граков.

В динамике щелкнуло, затрещало. Мы спохватились — сейчас на палубу позовут. Но это «маркони» базу вызывал. А трансляцию не отключил. То ли забыл, то ли нарочно оставил, чтобы мы в кубриках поразвлеклись.

Сильные были помехи, трещало, попискивало, потом знакомый голос прорезался:

— Граков говорит.

Все приподняли головы. Серега потянулся с койки, подкрутил погромче.

— ...Пробойна серьезная, но заварили, зацементировали. Приняли решение остаться на промысле, выполнить плановое задание, несмотря ни на что. Сама команда решила, и почти единодушно. Были, конечно, отдельные настроения, но в общем — ребята боевые, коллектив здоровый, моряки, одним словом.

— Добро,— ответила база.— Вас понял. Привет экипажу. Подходите к моему левому борту.

Мы еще полежали минуту. Потом Жора-штурман басом своим молодецким скомандовал выходить на швартовку.

5

Мы вчетвером опять в корме оказались — Ванька Обод, салаги и я. Корма подвалила, стала биться о кранец, и вахтенный с базы подал нам конец.

— Вахтенный! — крикнул Ванька.— Ты никак тот самый?

Вахтенный долго приглядывался. Трудненько было Ваньку узнать под его капелюхой.

— Ну что, залатали вас?

— Да залатали.— Ванька сплюнул на воду.— Только веры у меня нету. Ты к доктору-то меня записал ай нет?

— А-а!..— сказал вахтенный.

— Вот те «а»! Обод у меня фамилия.

— Да записал, примет.

Сверху уже спускался строп. Бочки у нас так и остались по бортам, когда уходили из Фугле-фиорда. И мы их выгрузили часа за четыре, без перекура. А на последний строп даже не хватило одной. Шурка вместо бочки приладил венник.

— Точка,— сказал Ванька Обод.— Морской закон выполнил, рыбу сдал. Расплевался я с вами, ребятки золотые.

Ухман крикнул нам:

— Людей не будет?

— А я тебе не люди? — Ванька заковылял к борту.— К доктору я записан.

Ухман спустил ему сетку. Ванька поехал, даже не оглянулся на нас.

— Трюма отворяйте, ребята,— сказал ухман.— Тару буду майнать.

Мы отдраили оба трюма и разбежались кто куда. Порожних бочек по двадцать пять штук в строле — это страшное дело. Строп от мачты к мачте носится, пока ухман не выждет момент, и тут он летит на трюм и грохается, и бочки раскатываются по всей палубе. Только успевай их рассовывать по трюмам, потому что уже висит и качается новый строп и надо от него спастись. Но, в общем, это уже легкая, веселая работа.

Мы приняли стропов восемь и весь кормовой трюм забили, под самый бимс. Задраили его, сели перекурить, на базе какой-то перерыв вышел.

— Капитана просят! — крикнул ухман.

Высунулся Жора-штурман:

— Капитан у себя в каюте. Акт составляет. Что надо?

— Матросик у вас списывается.

— Какой такой матросик?

А с ухманом рядом уже и Ванька Обод показался. Очень смущенный, личико скорбное.

— Ты, что ли, Обод?

— Ну.

— Списываешься, гад? А с какой такой стати?

— Бюллетень мне выписали.

— А что у тебя?

— Боюсь даже сказать.

— Ну что, на винт намотал?..

— Хуже.

— Что ж может быть хуже?

Ванька похлопал себя рукавицей по шапке:

— Здесь у меня чего-то.

— А, ну валяй,— сказал Жора.— Нам психов не надо, сами такие.

— Аттестатик бы мне. И шмотки там, в кубрике.

Я сходил в кубрик, достал Ободов чемоданчик, покидал в него мятые рубашки, носки, вынес ему. Жора сложил аттестат самолетиком и пустил вниз. Ванька стравил штертик, мы с Шуркой привязали чемоданчик, аттестат сунули под крышку.

— Извиняйте, ребята,— сказал Ванька.— Не могу больше.

— Валяй,— сказал Шурка.— Списывайся, сукин сын.

Мы завидовали Ваньке, а потому и злились, никто доброго слова не сказал на прощание. А чему завидовали — что у самих духу не хватило вот так же гнуть свое до конца.

Ванька нам помахал и ушел.

— Принимай струп! — сказал ухман.

Мы с Шуркой полезли в трюм, другие нам подавали сверху. Порожние бочки — после рыбы — как перышки, просто летают у нас в руках. И что-то хоть видишь вокруг себя. Я вдруг увидел — Шурку. Это одну минуту длилось. Западал небольшой снежок, посеребрил ему волосы и брови, и невольно я залюбовался Шуркой. До того он красив стал, как черт. Лицо — героя, ей-богу, и все на нем — в полную меру: брови — так брови, взлет, глазищи — так уж глазищи, рот — так уж рот. И правда, такого в кино сняты — он бы там всех красавчиков забил. Только, наверное, талант еще нужен... Может, мне бы его — я бы такую книгу написал о людях. Как я их понимаю. А мы вот — с бочками... Нет, лучше об этом не думать. А то еще с круга сопьешься. И минута эта — прошла.

«Маркони» к нам заглянул.

— Сень, со мной на базу?

— А мне нельзя? — спросил Шурка.

— Одного могу. Аппаратурку надо поднести.

Я посмотрел на Шурку.

— Ладно,— сказал Шурка.— Вали, земля. Я один управлюсь. Бритву мне возьми, если будет в лавочке, электрическую.

Мы полетели с «маркони». Когда внизу стоишь, не кажется, что сетка идет долго-долго, и дух замирает, когда болтаешься между мачтами, а под тобою — крохотная палуба и кранец бьется между бортами, — вот где страх-то туда угодить. А когда взлетаешь над бортом плавбазы, ветер набрасывается, отдирает тебя от сетки, а вокруг — пустынное море...

Ухман поймал сетку, повел к палубе, и мы спрыгнули.

— Погуляй пока,— сказал «маркони». — Я Галку пойду искать.

— С аппаратурой — потом?

— Да еще, наверно, не починили. А твоей, если увижу, сказать, что ты тут?

— Не надо.

— Как хочешь, а то могу. Через минут двадцать сюда приходи. Может, и починили. Да хотя я и один донесу. Там чепуха нести.

Я пошел искать лавочку, а заодно и базу поглядеть, я на этой ни разу не был.

Рыбный трюм был открыт, и там, на разных палубах, грузчики укладывали бочки с нашей рыбой. Вот она куда идет. Мы все говорим — трудней и опасней нашей работы, на СРТ, нету, но и тут тоже не санаторий. Строп уходит вниз и мотается в трюме, пока его с какой-нибудь палубы не притянут багром. Прорва такая, что в ней бы семиэтажный дом поместился. А если силы не хватит строп притянуть да его поведет на волне, то ведь сорвешься — костей не соберешь. Такая высьтища — к комингсу подойти страшно.

Здесь же, над люком, рокотал конвейер, двигались по нему ящики с сельдью — деликатесного, ящичного посола, — женщины черпали ковшиками из чана тузлук, подливали его в ящики. Да и не сразу поймешь, что это женщины, — они в сапогах, в роканах, в бусах, на головах у них шапки.

Я постоял, поглядел на их работу, потом спросил у одной, как мне найти лавочку.

— А вниз майнайся, на четвертую палубу, там спросишь.

— Спасибо.

— На здоровье. Закурить дай.

Я вынул «беломор», она сунула рукавицы под мышку, понюхала руки и сморщилась.

— Ну к бесу, дай из твоих рук затянусь. А то в рыбе моешься, рыбой дышишь, дак рыбу еще и курить?

Я раскурил, дал ей затянуться.

— Вот спасибо, хороший. А то душа горела.

Так я и не понял — двадцать ей или сорок.

Я походил по шканцам¹, знакомых не встретил — а была такая надежда — и хотел уже идти в лавочку. И вдруг — я застыл. Как прилип к палубе. Кого же я тут увидел — Клавку Перевозикиву!

Вот уж кого не ждал. Стояла она ко мне боком — в тамбуре, за комингсом, — такая же, как тогда, в столовке: платьице серое с коротким рукавчиком, фартучек белый, кружево на голове, — а напротив какой-то комсоставский стоял с двумя шевронами на рукаве, затраливал ее как будто. Я туда и сюда прошел мимо двери — Клавка все-таки или не Клавка? Сейчас я с ней разговор буду иметь, скажу ей пару ласковых, так чтоб не спутать.

В это время он ей говорит:

— Как же все-таки, Клавочка?

И пошел ей баки заливать. Неплохо заливал. Так примерно:

— Если наш маленький роман имеет шансы на продолжение, то он должен развиваться либо по гиперболе, либо по параболе. Если по гиперболе, тогда восходящая ветвь устремляется вверх стремительно. Если же мы избираем параболический вариант...

— Вы мне вот чего скажите, — она ему отвечает. — Благоверной не боитесь? Я ведь исключительно за вас беспокоюсь.

Я встал против двери, ждал, когда он ее кончит тралить. Голько бы она с ним на пару не ушла. Ну что ж, придется догнать, взять за плечико.

О чем я с ней хотел говорить? О деньгах? Да нет, я уж на них крест положил. И что толку их сейчас требовать, если я тогда в милиции про них замаял. Но вам, наверное, тоже бывает интересно — поговорить с человеком, который вам зло причинил — просто так, ни за что. Любопытно же — что он при этом думал? Вот, скажем, Вовчик с Аскольдом — я ведь

¹ Шканцы — средняя часть палубы.

их и кормил, и поил, и немало денег моих к ним перешло, наверно, еще до драки. За что же они меня еще и избили, да с такой злобой? Откуда эта злоба берется? Или вот эту Клавку взять — ей-то я что сделал плохого? Почему она так со мной обошлась? Не напрасно же они меня к ней потащили. Без нее бы они, пожалуй, не справились, она тут душа всего. Она их и в общагу за мной послала, когда я ушел из «Арктики», и к себе привезти велела, и там еще завлекала, чтоб я совсем голову потерял. Слова не скажешь, хорошо сработано. Но что же она при этом думала? Просто — как деньги выманить? Но ведь не до сорока же копеек грабить человека, когда такие берешь. Тут еще и злоба была! Так вот — откуда злоба?

— Ценю ваше беспокойство, Клавочка, — он ей заливал. — Но ведь она ж далеко, благоверная, в голубой дымке. Я даже не знаю, существует ли она.

— А глаз-то кругом сколько! — она ему. — Не смущает?

И тут они оба ко мне повернулись.

И что думаете — испугалась она? Смутилась хоть? Заулыбалась во все лицо, как будто милого встретила.

— Простите, — говорит, — ко мне братик мой пришел. Я с братиком давно-о не виделась.

Это я, значит, братик. Тот на меня зыркнул так выразительно: а не смоешься ли ты, братик, туда-то и туда-то? Нет, я ему тем же отвечаю, не смоюсь, есть дела поважней ваших тралей-валей. Он ей козырнул и пошел.

Клавка ко мне шагнула через комингс.

— Здравствуй, сестричка! — говорю. — Не ждала, не ведала? Есть о чем поговорить. Только накинула б что-нибудь, холодно на палубе.

— Ну что ты, рыженький! Как же мне может быть холодно, если я тебя встретила? — Протянула мне руку. — Как же не ждала? Третий день тебя высматриваю.

Я руки ее не взял. Держал свои в карманах курточки. Клавка себя обняла за голые локти, поежилась. Ну что ж, я подумал, не хочется тебе в помещении говорить, где свидетели есть, так терпи. Мы с ней отшли подальше от тамбура.

— Как здесь очутилась? Тоже поплавать решила?

— Да рейса на три только, в замену. Тут у них одна в декрет ушла, Анечка Феоктистова. Знаешь ее?

— Никого я тут не знаю.

Клавка улыбнулась — так искоса, ехидно.

— Совсем никого? А с какой же я тебя видела? Которая к тебе на пароход лазила.

— А... И как — понравилась она тебе?

Клавка поморщилась.

— Зачем она штаны носит? Скажи, чтоб сняла. А то все думают — у нее ноги кривые.

— Прямые у ней ноги.

— А ты их видал?

— Сколько надо, столько видал.

— Ничего-то ты про ее ноги не знаешь.

— Ладно. Тебе-то о чем беспокоиться?

— Да не о чем, рыженький. У меня ж они не кривые. Просто мне тебя жалко стало.

— Вон чего! Ты и пожалеть умеешь?

Чуть-чуть она только смутилась. Но намек не приняла.

— Я серьезно говорю рыженький. Неужели ты себя так мало ценишь? Большого не стоишь, да?

На палубе ветрено было, и скулы у меня обтянуло солью, и в глазах синело от моря, и я себя здесь неуверенно чувствовал, хоть и в курточку был одет, — и меня понемногу злость начала разбирать: ведь ничем я ее не пройму, кошку эту полусонную. Она же меня хитрее. Вот и не накинула на себя ничего, чтоб я весь ее вырез наблюдал на груди, до той самой ложбинки.

Крановщик ей покричал сверху:

— Клавка, что пепельницу выставила? Прикрой, я ж так людей могу покалечить!

Так она нарочно к нему еще повернулась и вырез расправила пошире.

— Быть этого не может, — говорит. — Из-за меня еще никто не покалечился. Только лишь по своей глупости.

Вот так. И я, наверное, по своей. Я ее взял за локоть, повернул к себе.

— Может, поговорим все же?

— Да, миленький! — Вся подалась ко мне, и глаза прямо влюбленные. — Да! А зачем же я за тобой в море пустилась? Расскажи хоть, как плавается тебе? Меня-то вспоминал или совсем забыл?

— Только тебя и вспоминаю, — говорю. — Днем вспоминаю, а по ночам сниться.

— Что ты говоришь! — вся просто рассиялась. — Даже сердечко запрыгало.

— Клавка, — я сказал, — давай-ка шуточки в сторону.

Опять она мне улыбнулась искоса.

— А я думала, когда ты мне руки не подал, она у тебя — в рыбе. А она — сухая. Ах ты, рыженький!..

— Какой я тебе «рыженький»? Какой «миленький»? У тебя своих там экипаж наберется, меня к ним не приплетай.

— Зачем же приплетать, ты у меня отдельно. Ты к этому, что ли, заревновал? С которым я в тамбуре стояла? Зачем? Такой залывщик типичный, а поговорить-то с ним не о чем. И руки — как у лягушки, бррр! Да мне и смотреть ни на кого не хочется с тех пор, как я тебя увидела.

— Вот именно. Не считая Аскольдика твоего.

— Аско-ольдика?!

— Ну да, с которым ты осталась.

— Да какой же он мой? Ты что, миленький! Он, во-первых, и не остался. И не так-то просто со мной остаться. Меня, знаешь, еще повалить нужно.

Стояла она передо мной — крепкая, ноги такие сильные, что можно в шторм стоять и ни за что не держаться, плечи — как у солдата развернуты, который «грудь четвертого человека» видит; вся подобранная, как будто вот сейчас кинется. И никакой же ветер ее не брал, лицо лишь слегка залубенело, грубо так зарумянилось, а руки и грудь — и кожей гусиной не покрылись. Ну чем такую проймешь? И я чувствовал — разговор у нас в песок уходит. С ней же нельзя про эти трали-вали, она здесь трех собак съела, а нужно прямо спрашивать. И я прямо спросил:

— Клавка, зачем ты все же в море-то пошла? Или денег моих мало показалось? Могла бы и пожить на них.

Вот тут наконец она смутилась. Вся красная стала, даже вырез порозовел.

— Миленький, про деньги я все скажу. Обязательно, а как же? Я тебе их все верну. Наверно, с этого надо было начать... Ну, прости. Я так обрадовалась, когда тебя встретила. Но ты — неужели только из-за них про меня вспоминал?

— Сколько ж ты мне вернешь?

Опять она поехала, обняла себя за локти.

— Все, что было. Триста с чем-то.

Так. Решили они, значит, со мной поделиться. Моим же собственным поделиться. Испугались, вдруг я скандал начну. Ведь я от них прямиком в милицию попал, а что, если я заявил там и милиция свой розыск начала, ждет лишь, когда я с моря вернусь, вспомню каких-нибудь свидетелей... Торгаша, гардеробщика в «Арктике». Таксишника, который нас вез,— их на весь город человек двадцать и наберется. Так лучше меня опередить, вернуть мне какую-то долю, и с нас взятки гладки, остальное — ты у своей Нинки на Абрам-мысу посеял, пусть там и поищут. Не для того ли ты за мной «в море пустилась»? Бог ты мой, сколько мороки! Знали б вы, что я на них крест положил...

— Ну, мы все кончили про деньги? — она спросила.

— Да, все.

Она помолчала.

— Может быть, там больше было?

— Не было.

— Вот, слава богу... А другого разговора у нас не будет? Не готовил, да?

Так и спросила — «не готовил?».

— Вот здорово, еще я специально готовиться должен?

— А как же? Разве я не думала, какие тебе скажу слова, когда встречу? Просто не вышло... из-за этих денег проклятых. Никак я не могу к тебе пробиться. То так жить без меня не мог... Обиделся, что тогда тебя побили?

— Ну, за это я отдельно как-нибудь посчитаюсь.

— А так тебе и надо, если хочешь знать. Ты вспомни, как ты себя вел. Или совсем ничего не помнишь?

— Ладно,— я сказал.— Кончили обо всем. Никакого разговора у нас и быть не должно. Кто я тебе? И ты мне — кто? Поняла?

Она кивнула молча.

— Эти ты мне вернешь, а все остальное, что вы из меня вытрясли... пользуйтесь, никуда я заявлять не буду.

— Там, значит, больше было?

— А то не знаешь?

— Сколько же?

— Тысяча. Ну, почти тысяча.

— Ой, много! — вздохнула чуть не горестно.— Где же ты столько растерял? Может, когда на Абрам-мыс ездил?..

— Клавка,— я сказал.— Ну что ты финтишь? Насквозь же я тебя вижу!

— Господи, ну не знаю я, где твои деньги! Пропили они, наверно...

— Пропили?!

Отчего меня так поразило, что именно пропили? Ну, ясное дело, не дворцы же они строили с хрустальными палатами на мои шиши! Но я так представил себе — вот я сегодня с этими бочками... а они там, на берегу, в каком-нибудь шалмане, может, даже в тот самый час... Хорошо ли им пилося? Хорошо ли вспоминалось обо мне? Может, даже пропустили по одной за мое драгоценное... Вот так. Пропили. Я их — убью. Ну я же их убью, другой же кары у меня нету для них. Пусть меня судят. В суде, в зале, свои же будут сидеть, такие же моряки или их жены, они-то знают, как я эти шиши заработал. И вот пришли подлые лодыри, нелюди, сволочь подзаборная, и накололи меня на эту девку, и ограбили. И добро бы еще употребили эти деньги на что путное. Так нет же. Промотали. Пропили...

— Уйди,— сказал я Клавке.— Уйди, пока я тебя не пришел тут же. Никогда мне не попадайся на глаза.

Она себя взяла за плечи, как будто ей тут-то и стало холодно. Прикрыла наконец свой вырез.

— Что ты на меня кричишь? — спросила чуть не со слезой в голосе. Хотя я не кричал, я тихо ей это сказал, сквозь зубы.— Думаешь, я боюсь тебя, бич несчастный? Что ты можешь мне сделать? Чем ты мне грозишь? Я, знаешь ли, криканая. Мужиками битая. Родителями проклятая. Ревизорами пуганная. Мне за себя уже ничего не страшно. А ты вот — жизни не понимаешь, рыженький! С тобой по-хорошему, а ты на людей кидаешься.

— Я еще на тебя не кинулся. Я еще всех слов тебе не сказал.

— Да уж какие ты там слова для меня приберег... Слышала, и сама умею.

Она пошла от меня, застучала каблучками по палубе. С полдороги повернулась, спросила:

— Говорят, вы на промысле остаетесь?

— Тебе-то что?

— Теперь — ничего. Вам счастливо, с пробонной. Авось не потонете. Значит, до апреля?

— Значит, так.

— Ну вот, в апреле и получишь свои деньги. Скажи хоть спасибо — я эти-то у них отняла. Когда они в коридоре их подбирали.

— Постой...

— Да нет уж, я все сказала, что тебя мучило. А стоять мне больше некогда. Я тоже, знаешь, тут не пассажирка.

Она ушла в тамбур и прикрыла броневую дверь с задрайками.

Лицо у меня горело, как ошпаренное. Так, значит, не понимаю я жизни? Я закурил, глядел на траулеры, которые внизу шарахались на волне и бились об кранцы. Может быть, и не понимаю... Вообще все так гнусно вышло, и ведь вовсе я не собирался скандалить. Но почему я верить ей должен — когда уже так погорел хорошо? И еще спасибо ей скажи. А зайди за этими деньгами в апреле, так, может, без штанов последних останешься, там такая шарага. Надо бы кореша взять с собою, он и свидетелем будет, и поможет в случае чего. Главное — этой кошке не верить, никому не верить, когда дело грошей касается, это дело вонючее, тут все сами не свои делаются...

Ладно, я сплюнул, пошел искать лавочку. Но Клавка все не выходила у меня из головы. Отчего-то мне даже жалко ее стало — тоже девушка путаной жизнью живет, и столько ломаться приходится, страхом душу уродовать — из-за каких-то вшивых денег. В общем, я так решил: не пойду я за ними в апреле, разве что она сама меня в порту разыщет, лучше от этого подальше.

На четвертой палубе мне даже не по себе стало — ковры постелены, стеклянные двери, переборки обшиты пластиком, в салонах — телевизоры, читальные столы, ребята в бочочках играют в пинг-понг. А я хоть и в курточке, но в шапке, в сапожниках, все на меня косились. Ввалился в лавочку и заорал с порога:

— Бритвы электрические есть?

А там тишина, как в церкви, тихонько вентилятор жужжал, и два парня в бочочках чинненько беседовали с продавцом, отрез на костюм выбирали. На меня поглядели и покачали головами: ай, как нехорошо. Я и присмирел.

Чего только не было тут — и костюмы самые дорогие, из шевиота, из бостона, из «ударника», и часы золотые, и лезвия «блюэ матадор», и бритвы какие хочешь. А платить не надо — предъявляешь матросскую

книжку и тычешь пальцем: «Вот это заверните». Потом все это с тебя вычтут, и окажется, что всего грошей осталось — месяц погулять, а там снова в море. Но ведь это «потом», а пока у тебя глаза разбегаются и голова кругом идет.

Парни себе выбрали отрез и ушли чинненько — в винг-понг играть. Тогда продавец соизволил на меня обратить внимание. Не любят они, когда с траулеров приходят, а почему — бог ведает, мы-то и есть самые могучие покупатели. И выбирать нам особенно некогда.

Я ткнул пальцем в бритву — «Москву» или «Харьков», — вынул Шуркину книжку. Он полистал у себя в ведомости.

— Пойдите, вас же снимают с промысла.

— Не снимают. Решили остаться.

— Это нужно проверить. — Взялся за телефон.

— Да чего проверять, — говорю. — Мы же один груз-то сдали. Неужели на паршивую бритву не заработали?

Он подумал, записал Шуркину фамилию, начал мне объяснять про бритву — как она переключается на 127 и на 220, как ножи менять, как ее чистить.

— Да разберемся, — говорю.

— Потом чтоб не было жалоб.

А хоть и будут, сами понимаете, мы уже с этим продавцом не встретимся.

Больше мне ничего не хотелось покупать. Черт знает, как дальше сложится. Да и на всей базе мне делать было нечего. Если даже и знакомые плавали, где их найдешь в этом муравейнике.

У главного трапа дрифтер меня завернул. С каким-то он дружком беседовал — сам в телогрейке, в шапке на глазах, а дружок — причесанный, брюки в складочку, ковбойка с коротким рукавом. Но веселые одинаково, прямо лоснились.

— погоди, Сеня, сейчас сети доберем, поможешь мне.

Разговор у них с дружком был серьезный.

— Сатаны меня занесли на этот пароход! — дрифтер говорит.

— Да, не повезло тебе, — дружок отвечает.

— Перейду на другой, вот те крест истинный.

— Конечно, себя ценить надо.

— Хоть на «Сирену» перейду.

— А что, «Сирена» — это пароход.

— Или на «Шалыпина».

— Тоже пароход.

— А этот «Скаун» — ну его к бесу, это не пароход.

— Ясное дело, не пароход!

Этак они еще долго могли травить, пароходов у нас много, но тут чьи-то каблучки застучали и юбка зашелестела, так что внимание у них переключилось.

Прошла мимо нас Клавка, стала всходить по трапу, но приостановилась. Скользнула взглядом по мне, как будто знакомого хотела вспомнить, но не вспомнила.

— Смелей, смелей, Клавочка, — дружок ей сказал. — Мы на тебя снизу смотреть не будем.

— А хоть и смотрите, белье у меня в порядке.

Дрифтер заржал от удовольствия.

— Ох, Клавочка! — дружок говорит. — За что мы тебя все так любим?

Хотел было руками ее достать, но она высоко стояла.

— Если бы все! А то вот этот злодей, в курточке, зверем на меня смотрит. Убить меня хочет.

— Кто, Сеня?! — дрифтер взревел. — Какой же он злодей? Да он у нас — душа парохода. Весь экипаж в нем силы черпает в трудные минуты жизни.

— Вот вы его и заездили. Может, и была у него душа когда-то, да вы из него вынули.

— Сень! — дрифтер ко мне пригляделся. — А у тебя и точно взгляд какой-то неродной. Сень, смягчись. Ведь на такую королеву смотришь!

— Правда, рыженький, — сказала Клавка, — что ты против меня имеешь?

Ты не кошка, я подумал, ты змея. Тебе еще надо, чтоб я при этих двоих сказал, что я против тебя ничего не имею. Нет уж, что я решил про тебя, то сам решил. А ты от меня слова не дождешься.

— Да ничо он не имеет, — сказал дрифтер. — Правда, Сеня?

— Почему ж молчит? Рыженький, почему молчишь?

— Знак согласия, — сказал дружок.

— Так пойдем тогда, захмелиться дам. Хочется же перед отходом?

— А мне — можно? — спросил дрифтер.

— Вы и так веселье. А вот он — грустный. А я грустных прямо ненавижу. Вся жизнь от них колесом идет...

Я все молчал. Клавка засмеялась вдруг, махнула рукой и пошла.

— Чо ты? — сказал дрифтер. — Баба ж тебе авансы выдает.

— Ничего не значит, — сказал дружок. — Он правильно держится. Ты правильно держишься, кореш. Она тут многим авансы выдавала. Вот-вот уже кажется — до дела дошло. А в последнюю минуту — вывертывается!

Дрифтер отчего-то вздохнул. И опять они за свое принялись:

— А «Василиса Мелентьевна» — это, скажи, не пароход?

— Как же не пароход!

— А «Боцман Андреев»?

— «Боцман»-то? Еще какой пароход!

Насилу я его оторвал от дружка. Пошли в сетевой трюм. Я спросил по дороге:

— Больше к этой базе не подойдем?

— Нет, Сень, она нынче в порт уходит, полный груз. Так что упускаешь ты шанс. Если надо — беги, я сетки один донесу.

— Не надо.

В сетевом трюме мы еще лежали на сетях — у дрифтера и там дружок нашелся, — закурили втихаря в рукавчик. И когда выехали на лифте на верхнюю палубу, уже смеркалось. Ветер посвежел, и базу сильно раскачивало, срочно нужно было отходить.

Сетки мы покидали к себе на палубу. Пароход ходуном ходил, и пасть было не просто, одна в воду угодила, Серега ее багром вытаскивал — с матушкиной помощью. В это-то время я и увидел Лилю — в брезентовом дождевике с капюшоном. Смотрела через планшир на наш пароход. Может быть, слышала, как я ругался, когда Сереге наставление давал.

Она подошла, подала руку. Рука у нее все та же была — теплая, сухая и крепкая. И та же улыбка — милая, немного смущенная. Но что-то переменялось у нас с нею. Не знаю даже что.

— А я уже ваш пароход различаю. У него на мачте самолетик с пропеллером.

— Это не только у нашего, многие делают.

— Для чего?

— Так, игрушка. Пропеллер вертится — все веселее.

— Но я все-таки различила!

Дрифтер увидел, что я задержался, и тоже решил куда-то сбежать.

— Сень, ты меня дожди, вместе спустимся.

Она спросила:

— Пробойна у вас серьезная?

— Авось не потонем.

— Почему — авось?

— Все в море случается.

— Так просто, само по себе? А мне говорили — серьезная.

— Чепуха, дело не в ней.

— А в чем?

Я хотел рассказать ей про «дедовы» опасения, но раздумал. Долго рассказывать, да и не к чему ей.

— Тоже чепуха.

— А у вас, я слышала, списался кто-то. Я думала, ты.

— Нет, не я.

— Я знаю. Просто подумала — как было бы славно, если бы ты. Поплыли бы вместе. Мы ведь сейчас уходим, ты знаешь? Гракова только дождемся, он у вашего капитана в каюте.

А ведь и правда, все можно было переиграть. Позвать Жору-штурмана, наврать ему что-нибудь, он же у Ваньки бюллетеня не спрашивал. Кто-нибудь мне на штертике подаст шмотки, а я Шурке смайнаю бритву. Не забыть бы только сказать, чтоб Фомку выпустили. И мы поплывем на этом чудном лайнере. Вместе, вдвоем. Ах, синее море, белый парход!

— Не решаешься? Знаешь, тут даже все удивились, когда вы решили остаться, я многих расспрашивала. Вы просто дети. Какое-то дикое легкомыслие. «Авось обойдется». А если не обойдется? Ты же понимаешь, что это глупо? Разве мужество в том, чтобы лезть очертя голову?

В первый раз ей не все равно было, что со мной будет. В первый раз она меня просила о чем-то, предлагала. Это понимать надо!

— Что же я, сбегу, как крыса, а другие останутся?

— Вот чего ты боишься! Лучше, конечно, утонуть за компанию?

— Ну, не обязательно «утонуть»...

— Ты же сам сказал — в море все случается. Боишься быть не как все?

Это правда, я этого боялся. Но вот «дед» не боялся быть «не как все», а тоже оставался.

— Или насмешек боишься? Неужели они всего страшнее?

Я когда-то мечтал о такой минуте, когда она обо мне озаботится. А теперь она не то что заботилась, она за меня боялась. Но радостно мне не стало. Наверно, потому, что как раз сейчас и не нужны мне были ничьи заботы. Если б даже я и списался, так с «дедом» могло без меня случиться, и я бы себя всю жизнь за это казнил.

— Ну, решайся.

Она смотрела на меня с любопытством. Нашего «Скакуна» подкинуло на волне, приложило бортом о кранец. Она вздрогнула.

— Если б меня четверговали, я бы и то не согласилась!

И так она это сказала испуганно, что я вдруг ее притянул к себе и поцеловал — в губы. Они у нее были холодные и чуть потресканные. Я сам этого от себя не ожидал, и она не ждала, отшатнулась. И от этого еще больше смутилась.

— Ну вот, здрасьте... Какая лирика.

Сверху послышалось из динамиков:

— Восемьсот пятнадцатый, поторапливайтесь с отходом!

Внизу Жора-штурман выглянул из рубки:

— Ясно-ясно, закругляемся!..

Урман подвел сетку. Я подошел и взялся за нее. По палубе к ней бежали «маркони» и дрейфтер.

— Так что же? — спросила Лиля.

— То же самое. Все обойдется.

Она сказала улыбаясь и чуть насмешливо:

— Кажется, я все про тебя поняла.

— И как?

— Такой, как я и думала. Но убедиться всегда ценно.

— Напишешь мне в море?

— А думаешь, это нужно? Ты же для меня вот столечко не пожертвуешь. А знаешь — был момент, когда мне вдруг так захотелось с тобой... пообщаться, как говорят. Но раз тебе этого не нужно, то письма, прости меня...

Мне показалось, она это не только с грустью говорит, но и с каким-то даже облегчением.

«Маркони» с дрейфтером добежали, вцепились в сетку.

— Ну, ни пуха! — Лиля нам всем помахала рукой. — К чертям! Сто футов вам под килем!

— Вот это да! — дрейфтер заревел восторженно. — Вот это женщина!

Сетка взлетела над бортом, над Лилей и стала опускаться. Вдруг резко остановилась — нас прямо на мачту несло, урман вовремя углядел. Я поднял голову — Лиля на нас смотрела, приставив ладошку ко лбу. Снизу ей бил в глаза наш прожектор.

— Что-то у вас невесело, — сказал «маркони». — Зря я тебя на базу провел.

— Я ж говорил — не надо.

Он ей хотел помахать, но сетка пошла круто вниз, на трюма, и Серега нас принял. Они сразу разбежались. А я остался. Пустая сетка раскачивалась между мачтами и здорово меня соблазняла.

— Восемьсот пятнадцатый! — крикнули с базы. — Отдавайте концы!

Нас подкидывало и с грохотом наваливало на базу. А в рубке никого не было; наверно, и Жора убежал в кеповую каюту. Акт же дело суровое, нужно же и расписаться всем, и обмыть его.

А дальше — вот что произошло. Я был на палубе один, смотрел на Лилю. Не знаю, видела она меня или нет, глаза у нее сощурились от прожектора, и казалось — она глядит как-то презрительно.

— Восемьсот пятнадцатый! — кричали с базы. — Скоро вы там?

Жора показался в рубке.

— Минуточку, закругляемся!

Но на борту базы никого не было, только Лиля, урман куда-то ушел. И Жора опять смылся. Потом я увидел — ее тоже не стало. Я смстрел, пока в глазах не защемило. Ровный планшир, ни одной головы над ним.

Тогда я пошел за роканом, чтоб зря не мочить мех на курточке, — концы-то, по-видимому, мне отдавать придется, все уже в койки залегли, — а когда вышел, сверху мне крикнули:

— Вахтенный! — Там опять стоял урман. Но как будто другой уже, тот сменился. — Ваших людей всех смайнали?

— Всех!

— А наших всех вывирали?

— Всех!

Я сперва сказал, а потом вспомнил про Гракова. Он же там еще посиживал у кепа, подписывал акт, или выпивал уже по этому поводу, или черт его знает что делал, а в это время его ждали, и волна била траулер о базу.

— Тогда я сетку уберу!

— Валяй.

Вот так-то лучше, я подумал. Ты тоже останешься. Что бы там ни случилось, но и тебя не минует.

Ухман мне помахал варежкой, спросил:

— А бичи ваши где?

— Попадали в ящики.

Он заржал.

— Уже?

— А долго ли?

— Ну, счастливо, вахтенный!

Я хотел ответить, что никакой я не вахтенный, а после решил — а пусть думает. Пусть меня потом узнает, зеленого.

С плавбазы крикнули в «матюгальник»:

— На «Скакуне» — отдать концы!

Сердце у меня стучало, как бешеное, когда я пошел в корму и скинул все шлагги. Конец выпал из клюза и поволочился по воде, и корму сразу начало отжимать течением. Я правду вам скажу, ничего страшного не могло случиться. Просто на конце уже нельзя было подтянуться, для швартовки пришлось бы по новой заходить, вот и все.

Когда Жора появился в рубке, я уже в капе стоял, в темноте. Он сразу увидел, что корма отвалила.

— Кто конец отдал? Так и так тому туда-то и туда-то! — Потом он включил трансляцию. — Выходи отдать носовой!

Я вышел не сразу и не спеша, как будто услышал команду в кубрике. Жора на меня осветил прожектором.

— Э, кто там? Шалай? Отдай носовой!

Вахтенный с плавбазы принял у меня конец и пожелал всего лучшего. Я вернулся и стал под рубкой.

— Шалай! — крикнул Жора.

— Чисто полубак.

— Ясно. Не ходи никуда, сейчас опять придется причаливать.

Машина заработала, и мы отходили.

Потом они выскочили в рубку. Граков и кеп.

— Кто велел отходить?

— Я велел, — сказал Жора.

Он был настоящий штурман, Жора. Не мог он ответить: «Не знаю, конец сам, наверно, отдался». Он сказал:

— Я велел. Ситуация аварийная.

— Как же со мной? — спросил Граков.

Не знаю, что там ответил Жора. Они врубили динамик, и Граков сам закричал в микрофон:

— Плавбаза, восемьсот пятнадцатый говорит! Мне — вахтенного штурмана!

База уходила все дальше, огни ее расплывались.

— Вахтенный штурман слушает...

— Прошу разрешить швартовку. Остался человек с плавбазы...

— Швартовку не разрешаю.

— Это Граков говорит. Требую капитана.

Там, на базе, помолчали и ответили:

— Капитана не требуют, а просят. Даю капитана.

И другой голос, по радиомегэфону:

— Капитан слушает.

— Граков говорит. Прошу разрешить швартовку. Мне необходимо пересечь к вам.

— Волна семь баллов. Какая может быть швартовка? Оставайтесь на восемьсот пятнадцатом.

— Попрошу капитана не указывать мое местопребывание. Восемьсот пятнадцатый уходит на промысел.

— Желая восемьсот пятнадцатому хорошего улова! — сказал капитан плавбазы. Мне послышалось — он там смеется. — Завтра снимается с промысла восемьсот шестой, вернетесь на нем в порт. Димитрий Родионович, вы находитесь в здоровом коллективе наших славных рыбаков. Как-нибудь сутки с ними скоротаете.

— Но мне акт нужно передать.

— Зачем он мне? Я вам верю на слово.

— Вас понял, — сказал Граков. — Считаю долгом сообщить об инциденте капитан-директору флота.

— Счастливо на промысле. Прекращаю прием.

Все утихло, кеп с Граковым ушли из рубки. Я встал против окна и сказал Жоре:

— Жора, это я отдал кормовой.

Он даже высунулся по пояс, чтоб на меня поглядеть.

— Ты? Вот сукин сын! Ты соображаешь, чего делаешь?

— Все соображаю.

— А что авария могла быть?

— Не могла, Жора.

Он подумал.

— Скажешь боцману, пусть пошлет тебя гальюн драть.

— Два.

— Чего «два»?

— Оба гальюна.

— Иди спать. Пошли там на руль, кто по списку.

— Есть!

— Сукин ты сын!

База уже едва была видна. В самый сильный бинокль я бы не разглядел человека на борту. Да ее там и не было, разве что в иллюминатор откуда-нибудь смотрела, как мы уходим.

Погода стала усиливаться, волна брызгами обдавала все судно. Потом повалил снежный заряд, и пока я шел к капу, мне все лицо исклodelo иглами, и глаз нельзя было открыть. Так я и шел, как слепой, ошунью.

Все, как в романсе, вышло. Мы разошлись, как в море корабли...

(Окончание следует)



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В трех томах. Том 3 (Октябрь 1918 — март 1923 г.), 856 стр. Цена 1 р. 52 к.

В. И. Ленин. Краткий биографический очерк. Издание шестое. 224 стр. Цена 27 к.
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Том 3. 512 стр. Цена 1 р. 25 к.

Здесь жил и работал Ленин. Места жизни и деятельности В. И. Ленина в СССР и зарубежных странах. Издание третье. 95 стр. Цена 86 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Том 46. 618 стр. Цена 1 р.

«МЫСЛЬ»

В. Анисеев. Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году (Хроника событий). 486 стр. Цена 1 р. 26 к.

В. Бунин. Психология верующих и атеистическое воспитание. 230 стр. Цена 73 к.

Г. Горобец. Партийное подполье на Украине (1941—1944 гг.). 93 стр. Цена 29 к.

Научно-техническая революция и общественный прогресс. 397 стр. Цена 1 р. 42 к.

Научное управление обществом. Выпуск 3. 332 стр. Цена 1 р. 19 к.

Новый человек — новый гуманизм. Сборник статей. 303 стр. Цена 1 р. 16 к.

«ЭКОНОМИКА»

В. Войтоловский, М. Пермонд. Организация контроля качества продукции за рубежом. 190 стр. Цена 51 к.

Л. Гольцман, Л. Федулова. Экономика коммунальных предприятий и расчетные цены. 126 стр. Цена 48 к.

Межотраслевой баланс и планирование в странах — членах СЭВ. 391 стр. Цена 1 р. 39 к.

В. Шкатов, Б. Супоницкий. Оптовые цены на продукцию тяжелой промышленности. 254 стр. Цена 66 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Абрамов. Две зимы и три лета. Роман. 414 стр. Цена 64 к.

Р. Бинкухаметов. Дорога остается. Очерки. 167 стр. Цена 36 к.

Л. Боровой. Диалог, или «Размена чувств и мыслей». Очерки, разыскания. 267 стр. Цена 60 к.

Э. Бэзман. Маленькие люди. — Колодезное зеркало. Романы. Перевод с эстонского А. Тамма. 502 стр. Цена 82 к.

С. Ващенко. Канны. Повести и рассказы. 392 стр. Цена 72 к.

В. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. Составители Т. В. Иванова и К. Г. Паустовский. 447 стр. Цена 1 р. 5 к.

В. Катаев. Святой колодец. — Трава забвенья. 344 стр. Цена 63 к.

В. Конечный. Солёный лед (Путевые заметки). 311 стр. Цена 60 к.

И. Константиновский. Цепь. Роман. 279 стр. Цена 61 к.

Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. Составление и вступительная статья А. Наумовой. 199 стр. Цена 29 к.

А. Лебедев. Чтобы быть человеком. Размышления и заметки о зарубежных писателях. 280 стр. Цена 46 к.

Е. Путилова, Л. Пантелеев. Очерк жизни и творчества. 215 стр. Цена 56 к.

А. Савицкий. Польша — трава горькая. Роман. Перевод с белорусского. 403 стр. Цена 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Аларнон. Треугольная шляпа. Правдивая повесть о событиях, воспетом в романах и переданном здесь так, как оно произошло. Перевод с испанского. Предисловие Н. Томашевского. 110 стр. Цена 15 к.

Х. Апте, Чандрагупта. Перевод с маратхи. 254 стр. Цена 91 к.

Юхани Ахо. Советь. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с финского. 383 стр. Цена 72 к.

Р. Гамзатов. Собрание сочинений. В трех томах. Том I. Стихотворения. Перевод с аварского. 527 стр. Цена 1 р. 55 к.

Ф. Гельдерлин. Сочинения. Перевод с немецкого. Составление и вступительная статья А. Дейча. 543 стр. Цена 1 р. 6 к.

Н. Емельянова. Избранные произведения. В двух томах. Вступительная статья Я. Гринберга. Том I. Рассказы и повести. 478 стр. Цена 1 р. 2 к. Том II. Рассказы, повести, очерки. 479 стр. Цена 1 р. 1 к.

Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). Составление и общая редакция Л. Дмитриева и Д. Лихачева. Вступительная статья Д. Лихачева (серия «Библиотека всемирной литературы»). 799 стр. Цена 1 р. 95 к.

К. Константинов. Происшествие. Рассказы и очерки. Перевод с болгарского. 255 стр. Цена 53 к.

Махабхарата. Четыре сказания. Перевод с санскрита. Вступительная статья С. Липкина. 190 стр. Цена 23 к.

А. Нинов. Современный рассказ. Из наблюдений над русской прозой (1956—1966). 288 стр. Цена 81 к.

Я. Парандовский. Небо в огне. Роман. Перевод с польского. 271 стр. Цена 93 к.

М. Резерфорд. Революция в Тэннерс-лейн. Роман. Перевод с английского Т. Рузской. 295 стр. Цена 46 к.

И. Л. Толстой. Мои воспоминания. Вступительная статья С. Розановой. 455 стр. Цена 1 р. 2 к.

В. Тушнова. Лирика. Предисловие А. Михайлова. 351 стр. Цена 93 к.

М. Шагинян. Семья Ульяновых. Роман-хроника. В двух частях. 407 стр. Цена 1 р. 4 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Г. Голубев. Следствие сквозь века. Повесть. 256 стр. Цена 39 к.

Л. Осповат. Диго Рисера («Жизнь замечательных людей»). 348 стр. Цена 89 к.

Я. Свет. Севильская западня (Тяжба о Колумбовом наследстве). 304 стр. Цена 35 к.
В. Шефнер. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

«ИСКУССТВО»

Ж. Ануй. Пьесы. Том I. Дикарка. Пассажир без багажа. Эвридика. Антигона. Приглашение в замок. Перевод с французского. 431 стр. Цена 1 р. 25 к.

Л. Воронихина. Лондон («Города и музеи мира»). 246 стр. Цена 1 р. 65 к.

Ю. Кириллова. Армения — открытый музей («Дороги к прекрасному»). 175 стр. Цена 52 к.

Р. Клер. Сценарии и комментарии. Красота дьявола. Ночные красавицы. Большие маневры. Порт де Лила. Перевод с французского. Вступительная статья М. Елеймана. 335 стр. Цена 1 р. 26 к.

Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Сборник статей. Под редакцией В. Ванслова и Ю. Колпинского. 243 стр. Цена 1 р. 88 к.

А. Петров. Пушкин. Дворцы и парки. 231 стр. Цена 3 р. 80 к.

Н. Погодин. Незданное. В двух томах. Составление А. Волгарь. Том I. Пьесы. 381 стр. Цена 1 р. 23 к.

А. Эфрос. Два века русского искусства. Очерк. 302 стр. Цена 1 р. 2 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Волк. Эльбрус находит след. Рассказы о собаках. 126 стр. Цена 29 к.

Н. Кравцова. От заката до рассвета. 175 стр. Цена 41 к.

Лукоморье. Сказки русских писателей. 543 стр. Цена 1 р. 6 к.

И. Лупанова. Полвека. Советская детская литература. 1917—1967. Очерки. 671 стр. Цена 2 р. 31 к.

Е. Мар. Часовые Кремля. Рассказы о В. И. Ленине. 95 стр. Цена 33 к.

Л. Промет. Девушка в черном. Повесть. 95 стр. Цена 28 к.

А. Рутко. Детство на Волге. Повесть о В. И. Ленине. 303 стр. Цена 65 к.

«НАУКА»

И. Васильков. Экономика современной Италии. 332 стр. Цена 1 р. 28 к.

Г. Злоказов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного развития революции (февраль — июнь 1917 г.). 285 стр. Цена 1 р. 35 к.

И. Лапис, М. Матье. Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. 152 стр. Цена 1 р. 20 к.

Литература Швейцарии. Очерки. 431 стр. Цена 1 р. 88 к.

М. Миннарт. Свет и цвет в природе. Перевод с английского. 344 стр. Цена 1 р. 32 к.

Л. Женинский. Очерк истории Народной Венгрии (1948—1962). 448 стр. Цена 2 р. 5 к.

Реализм и художественные искания XX века. Сборник статей. 307 стр. Цена 1 р. 37 к.

С. Утченко. Древний Рим. События. Люди. Идеи. 324 стр. Цена 1 р. 22 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Блум, А. Тилле. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. 135 стр. Цена 45 к.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 54 стр. Цена 4 к.

Е. Панова. Применение в совхозах Положения о государственном предприятии. 160 стр. Цена 44 к.

Н. Сыродоев. Правовой режим недр. 168 стр. Цена 54 к.

«ПРОГРЕСС»

Д. Бейклесс. Америка глазами первооткрывателей. Перевод с английского. 408 стр. Цена 3 р. 1 к.

Х. Ланснесс. Свет мира. Перевод с исландского. 570 стр. Цена 1 р. 75 к.

Т. Парницкий. Азгий — последний римлянин. Исторический роман. Перевод с польского. 320 стр. Цена 1 р. 10 к.

Рассказы филиппинских писателей. Переводы с английского и тагальского. 166 стр. Цена 45 к.

К. Салиби. Очерки по истории Ливана. Перевод с английского. 302 стр. Цена 1 р. 17 к.

Янагида Кэндзоро. Философия истории. Перевод с японского. 238 стр. Цена 99 к.

«МИР»

Д. Бернал. Возникновение жизни. Перевод с английского. 392 стр. Цена 2 р. 45 к.

Возникновение органического вещества в солнечной системе. Сборник статей. Перевод с английского. 184 стр. Цена 96 к.

Новое в переработке полимеров. Сборник переводов и обзоров из иностранной периодической литературы. 236 стр. Цена 1 р. 54 к.

Р. Розен. Принцип оптимальности в биологии. Перевод с английского. 216 стр. Цена 1 р. 31 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорш, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Слано в набор 24/VI 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/IX 1969 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/2} мм. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 06098. Зак. 2231. Тираж 126.800 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ИСТОРИЯ МАШИНЫ

(6)

119169

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 9

Сентябрь, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ: Иван Николов — Гор- док; Павел Матев — Вновь ты снишься мне...; Недялко Йорданов — Любовь; Иван Давыдков — Фракийские курганы; Елисавета Багряна — Судьба нестинарки; Орлин Орлинов — Иное время...; Радой Ралин — Молитва. Перевели И. Лиснянская, Яков Хелемский, Ирина Озерова, Н. Злотников, Елена Николаевская	3
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания, роман. Окончание	8
Л. АБДУЛЛИНА — Три стихотворения	96
ВИКТОР НЕКРАСОВ — В жизни и в письмах	98
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Вертушинка	126
ИЗ СТИХОВ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ: Максуд Шейхзаде — Памяти друга, Маяк рижского порта; Хуснитдин Шарипов — Горлинка поет; Абдулла Арипов — Слушая «муноджат», Золотая рыбка; Эгам Рахим — Снова осень над крышами, осень...; Джуманияз Джаббаров — Граница юно- сти. Перевел А. Наумов	128
Б. МОЖАЕВ — Лесная дорога, очерк	132
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ — Новый год у Дуная, стихотворение	151
Д. САМОЙЛОВ — Предместье, стихотворение	152

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

А. ЦЕЙТЛИН — Ленин и большевистские публицисты	153
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

Д. ЛИХАЧЕВ — Будущее литературы как предмет изучения (Заметки и размышления)	167
--	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АВЕТИК ИСААКЯН — Ованес Тумаян (К столетию со дня рождения). Предисловие Л. Ахвердяна. Перевела с армянского Нелли Хачатурян	185
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ПЕРЕПИСКА И. Е. РЕПИНА и А. И. КУПРИНА (Публикация и комментарий К. А. Куприной)	193
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИХАИЛА СВЕТЛОВА. Публикация Н. Федосюк	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
С. ВЕЛИКОВСКИЙ — После «смерти бога» (О «Постороннем» Альбера Камю)	215
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Яков Хелемский. Беседа продолжается.— А. Липелис. Серафим Фролов и другие.— В. Масловский. Глазами очевидца.— В. Кардин. Верность себе.— Г. Литинский. По завещанию отца.	233
<i>Политика и наука</i>	
М. Галлай. «Ла» — человек и самолет.— В. Борнычева. Статистика труда.— Н. Коржавин. «Не природа, а история».— Е. Гнедин. Научно-техническая революция в капиталистических странах.— А. Немировский. Новые данные к старому спору.	249
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	268
КОРОТКО О КНИГАХ — Материалистическая диалектика и методы естественных наук.— Иван Зубенко. Тополя в соломе.— А. Л. Чижевский, Ю. Г. Шишина. В ритме Солнца.— Владимир Лифшиц. Назначенный день.— Е. И. Регирер. Развитие способностей исследователя.— Сергей Званцев. Миллионное наследство. Рассказы о Таганроге.— А. Н. Копылов. Культура русского населения Сибири в XVII—XVIII вв.— С. Лемешев. Путь к искусству.— А. Л. Монгайт. Надпись на камне	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ*

Роман

Глава четвертая

ЕСТЬ РАБОТА НА ПАЛУБЕ!

1

Никто из нас не думал, что в эту же ночь мы еще будем метать. Если и пишется хороший косяк — его пропускают, дают команде выспаться после базы. Это святое дело, и всякий кеп это соблюдает, пусть там хоть вся рыба Атлантики проходит под килем. И после отхода мы все легли, только Серега ушел на руль. Но тут все законно: на ходу, да в такую погоду, штурману одному трудно. Хотя я знал и таких штурманов, которые после базы матроса не вызывают — сами и штурвал крутят, и гудят, если туман или снежный заряд.

И вот когда мы уже все заснули, скатывается рулевой по трапу, вламывается в кубрик и орет:

— Подымайсь — метать!

Ни одна занавеска не шелохнулась. Тогда он сам полез по всем койкам — задирать одеяла и дергать нас за ноги.

— Ты, Серега, в своем уме? — спрашиваем.

— Я-то в своем, на «голубятнике» чокнулись. Вставай, ребята, по хорошему, все равно спать не дадут. Сейчас старпом прибежит.

Шурка спросил:

— Может, еще передумают?

— Ага, долго думали, чтоб передумывать. Кеп-то и сам не хотел: пускай, говорит, отдохнут моряки. Это ему плосконосый в трубу нашептал: косяк мировейший, ни разу так не писалось, а мы к тому же двое суток потеряли промысловых. И Родионич его поддержал: действительно, говорит, с чего это разнеживаться? Полгруза только сдали и бочки порожние приняли...

Васька Буров сказал:

— Все понятно, бичи. Мало, что они на промысле остались, теперь еще выслужиться нужно. Старпому перед кепом, кепу — перед Родионичем. А нам — перед кем?

— Ну дак чего? — спросил Серега.

— Иди, подыдемся.

В капе, слышно было, старпом ему встретился:

— Что так долго чухаются?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 7 и 8 с. г.

— Уйдем-ка лучше, старпом. Невзначай, гляди, сапогом заденут...

Поднимались мы по трапу — как на эшафот, под виселицу. Кругом было, свистело, мы за снегом друг друга не видели, когда разошлись по местам. Кеп кричал — из белого мрака:

— Скородумов, какие поводцы готовили?

— Никаких не готовили!

— И не надо! Нулевые ставьте!..

«Нулевые» — это значит совсем без верхних поводцов. Сети прямо к кухтылям привязываются и стоят в полметре от поверхности. Вообще-то редкий случай. Но значит, и правда косяк попался хороший и шел неглубоко.

— Поехали!

И тут я вспомнил — у меня же «стоянка» не обнесена. Ну кто ж знал, что сразу вымечем? Кеп матерился, почему не «едем», но из палубных никто меня не ругал; Шурка мне потравил трос из-под лебедки и шел рядом, чтоб мне веселей было по плану балансировать, и я обнес, ничего почти не видя. Вымок притом, как собака, потому что рокана я не надел, и никто их не надевал, выскочили в телогрейках.

Куда сети уходили, мы тоже не видели — во мглу, в пену, к чертям на промысел. И я не кричал: «Марка! Срост!», а просто рядом с дрейфтером присел на корточки и чуть не в ухо ему говорил. Да он и не к маркам привязывал, а как бог на душу положит, на счет. Раз мне почудилось — он с закрытыми глазами вяжет. Так оно и было, они то и дело у него слипались, и я держал нож наготове — если у него пальцы попадут под узел. Все равно б я, наверно, не успел.

Вернулись, сбросили с себя мокрое на пол, места ж для всех не хватит на батарее, и завалились. Черта нас кто теперь к шести разбудит!

Нас и не будили. Мы сами проснулись. И поняли, почему не будят — шторм.

Серая с рыжиною волна надвигалась горой, нависала, вот-вот накроет с мачтами, вот уже полубак накрыло, окатывает до самой рубки и шипит, пенится, как молодое пиво. Взбираемся потихоньку на гору и с вершины катимся в овраг и уже никогда из него не выберемся. Но выбираемся чудом каким-то.

Все море изрыто этими оврагами, и мы из одного выползали, чтоб тут же — в другой, в десятый, и душу ознобом схватывало, как помотришь на воду — такая она тяжелая, как ртуть, так блестит — ледяным блеском. Стараешься смотреть на рубку, ждешь, когда нос задерется и она окажется внизу, и бежишь по палубе, как с горы, а кто не успел или споткнулся, тут же его отбрасывает назад, и палуба перед ним встает горой.

В салоне набились — по шести на лавку, чтоб не валиться друг на дружку. В иллюминаторе — то небо, то море, то белесое, то темно-сизое, как чайчье крыло. Даже фильмы крутить не хотелось, пошли обратно, досыпать.

Васька Буров сказал весело:

— Задул, родной, моряку выходной.

Шурка с Серегой сыграли кон, пощелкались нехотя и тоже легли. Кажется, у них там за сотню перевалило. А может, и по новой начали, после «поцелуя».

Я лежал, задернув занавеску, качало с ног на голову и ни о чем не хотелось думать. В шторм просто ни о чем не думается. Сколько этот «выходной» продолжится — неделю, две, — это в счет жизни не идет. И отдыхом тоже это не назовешь.

Пришел Митрохин с руля, из соседнего кубрика кого-то позвал на

смену и ввалился — сапоги чавкают, с телогрейки течет. Стал новеллу рассказывать — как его прихватило. И представьте, у самого капа — ну надо же. Вот это единственное приятно в шторм послушать — как там кого-то прихватило волной. В особенности когда тебе самому тепло и сухо. Главное ведь — посочувствовать приятно; сам знаешь, каково оно — всю палубу пройти, брызги не поймать, от десяти волн уберечься, а одиннадцатая тебя специально у самого капа ждет, гадина. Все-таки есть в ней что-то живое и — сволочное притом. Не просто так, бессмысленная природа.

А перед тем, как заснуть, он сказал:

— Похоже, ребята, что выбирать сегодня придется.

Машина чуть подработала, выровняла порядок. В соседнем кубрике сменщик Митрохина — бондарь, кажись? ну да, бондарь — натягивал сапоги, слышно было — что мокрые. Стукнул дверью, захлопал по трапу. Выматерил всю Атлантику — с глубин ее до поверхности и от поверхности до глубин небесных, — так ему, верно, теплее было выходить. И опять все утихло, только шторм не утих.

Шурка первый не выдержал, отдернул занавеску:

— Ты чего сказал?

Митрохин, конечно, с открытыми глазами лежал. Поди пойми — спит он или мечтает.

— Это он сказал — выбирать придется? Или же мне померещилось?

— Лежи, — говорю, — никто ничего не слышал.

— Бичи, кто из нас псих?

Васька Буров закричал внизу, подо мною.

— Кто ж, если не ты? Какого беса выбирать — девять баллов.

Шурка еще полежал, послушал.

— Слабеет погода, бичи.

— Умишко у тебя слабеет, — сказал Васька. — Поспи, оно лучшее лечение.

Но Шурке скажи — завтра тебя расстреливать будут, утречком, в шесть тридцать, — он в пять проснется и к шести на месте будет, такая натура.

— Да разбудите вы чокнутого! Пусть скажет толком, а то мне не заснуть.

— Вот будешь шуметь, — Васька ему погрозил, — и правда позовут.

С полчаса мы еще полежали, и вдруг захрипело в динамике и сказали, что да, выбирать.

Я насилу дождался, пока этот чертов чекиль придет ко мне из моря — так брызги секали лицо. Откатил люковину, нырнул в трюм. Волна прошла сверху и залилась в люк, мне за шиворот. А им-то там каково было, на палубе!

Фомка мне обрадовался, придвинулся поближе. А клюв-то какой разъявил! Поди, чувствовал, какая там рыба сидела в сетях. Самый точный был эхолот, я бы ему жалованье платил — наравне со штурманами.

Вот — слышно, как она бацает, тяжелая, частая. И как в икре оскользаются сапоги, как сетевыборка стонет и шпиль завывает от тяжести. Я было выглянул, но тут мне с ведро примерно пролилось на голову. Это уж я знаю, какой признак, когда волна ко мне залетает в трюм — не меньше восьми, выбирать нельзя.

Там что-то начали орать, потом дрейфтер ко мне прихлопал:

— Сень, вылазь на фиг!

— Чего там? Обрезаемся?

Но он уже дальше пошел, ругаясь на чем свет стоит.

Я вылез — вся палуба в рыбе, ребята в ней по колено мотались,

бились о фальшборт, икрой измазанные, в розовом снегу. Сеть шла на рол — вся серебряная, вся шевелилась. Я все это видел с минуту, потом повалил заряд, только чья-нибудь зюйдвестка мелькала, или локоть, или спина.

Я пробрался к дрейфтеру — он у шпиля стоял, смотрел в море. Не знаю, что он там видел — кроме снега и черной волны. У него самого все лицо залепило, на каске налипли сосульки. Стоял и шептал себе под нос:

— Христа спасителя бога мать вашу олухи на нашу голову мозги нам пият по-страшному сами не ведают что творят и в рыло их и в дыхало...

— Дрифт, ты чего?

Обернулся ко мне, с закрытыми глазами, и рявкнул:

— Вир-рай из трюма! Вирай до сроста и обрезаемся!.. Пусть чего хотят делают.

Я выбрал полбухты, закрепил на кнехте, и он тогда прядины обрехал на сросте.

— Закрой люковину, еще кто провалится...

Ощупью я до нее добрался, кинул обрезанный конец и задраил люк. Потом — к сетевыборке, сменил кого-то на тряске. И тряс, ничего уже не видя, не чувствуя ни рук, ни плеч, ни ног, на которых, наверно, по тонне навалилось; не выдрать сапоги из рыбы, разве что ноги из сапог, пока меня не отодвинули — дальше, на подтряску.

Потом и трясти уже стало некуда. Из рубки скомандовали:

— Трюма не открывать. Оставить рыбу на борту.

Загородили ее рыбоделом, бочками с солью и так оставили — авось не смоет. Гурьбой повалили в кубрик, роканы и сапоги побросали на трапе. Телогрейки свалили в кучу на пол.

— Все, бичи,— сказал Шурка,— последний день живу...

Слышно было, как шел к себе дрейфтер и сказал кому-то, может, и себе самому:

— Списываюсь на первой базе. Хоть в гальюнщики. Нет больше дураков!

Васька Буров лежал-лежал и засмеялся.

— Ты чего там? — спросил Шурка.

— Есть дураки. Не перевелись еще. Сейчас опять позовут, и что — не выйдем?

— Ну да, позовут!

— А вы кухтыли видали?

— И что — кухтыли? — Шурка свесился через борттик. — Я тебя, главбич, не понимаю. Потрави лучше божественное про волков.

— Чего тут не понимать. Кухтыли наполовину в воду ушли. Там рыба сидит — вы, щенки, такой и не видели! Кило по четыреста на сетку.

— Свистишь. Как ты мог кухтыли видеть, когда такой заряд?

— Я по рыбе чувствую. У меня такая только раз на памяти была.

— Ну ладно, по четыреста. А как ее выберешь, когда и трюма не открыть?

Васька вздохнул:

— Вот я и говорю — не перевелись. Разве им, на «голубятнике», рыба теперь нужна? Они сдуру-то выметали, а теперь порядок боятся утопить. Не хватает кепу теперь еще сети потерять — его тогда не то что в трети, его в боцмана разжалуют. Порядок — он деньги стоит. Это слезки наши ничего не стоят.

Кто-то захлопал сверху. Мы сжались в койках, нету нас, умерли. А пришел — кандей Вася.

— Ребятки, обедать.

Мы ему обрадовались, как родному.

— Вась, ты чо ж по палубе бежал? Не мог по трансляции объявить?

— У меня ж на камбузе микрофона нету. Ну, что, ребятки, кеп велел команду как следует накормить.

А это плохое начало, я вам скажу, когда велют команду накормить «как следует».

— Жалко вас, ребятки. До ночи не расхлебаете.

Вот он почему и бежал по палубе, кандей. Хотелось — нам посочувствовать.

В салоне сидели нахохленные, лицо у каждого и руки — как кирпичом натерты. Жора-штурман поглядел на нас с усмешкой:

— Что нерадостные? Такую рыбу берем!

— Где ж мы ее берем? — спросил Васька Буров. — Мы ее только щупаем да назад отдаем.

Жора пожал плечами. Его вахта еще не наступила, рано голове болеть.

— Позовешь выбирать? — спросил Шурка.

— А что думаете — пожалею? — Жора вдруг поглядел на меня. — Это вот кого благодарите.

Все на меня уставились. Жора поднялся и вышел. Я-то понял, что он имел в виду — как я отдал кормовой и оставил Гракова на пароходе. Да, пожалуй, не будь его, кеп бы нас не поднял. Ну что ж, придется рассказать, рано или поздно узнают. Но тут сам Граков пришел, сел у двери с краю, где всегда кеп садится.

Кандей ему подал то же, что и нам, только не в миске, а на тарелке, как он штурманам подает и «деду». Граков это заметил, вернул ему тарелку в руки.

— Что за иерархия? Ты меня за равноправного члена команды не считаешь?

Вася пошел за миской. Тоже кандею мороки прибавилось. А Граков глядел на нас, откинувшись, улыбался, вертел ложку в ладонях, как будто прядину сучил.

— Тяжко, бичи? Приуныли, носы повесили. А ведь слабая же погода, моряки!

Шурка сказал, не подняв головы:

— Это она в каютке слабая.

— Намек — понялá. А на палубу попробуй выйди? Это хочешь сказать? А вот пообедаю с тобой — и выйду. Тогда что?

Шурка удивился.

— Ничего. Выйдете, и все тут.

Пришел «дед». Мы подвинулись, он тоже сел с краю, против Гракова.

— Как думаешь, Сергей Андреич, — спросил Граков, — поможем палубным? Всем вместе на подвахту, дружно? Животы протрясем, я даже капитана думаю сагитировать. А то ведь у этой молодежи руки опускаются перед таким уловом.

«Дед» молча принял тарелку, стал есть.

— Ну, тебе-то, впрочем, не обязательно. С движком, поди, забот хватает?

«Дед» будто не слышал его. Нам даже не по себе стало. Хотя бы он поморщился, что ли. Граков все улыбался ему, но как-то уже через силу. Потом повернулся к нам — лицо вдруг подобрело, лоб заблестел, посветлел от улыбки.

— Бука он у вас немножко, «дед» ваш. Постарел, все мы помалу в тираж выходим. Так не замечаешь, а посмотришь вот на такие молодые

рыла, на такую нахальную молодость — грустно, признаться... Да. Но вы такими не будете, каким он был. Ах, какой лихой!.. Ты ведь с лопатки начинал, кочегаром, не так, Сергей Андреич?.. С кочегаров, я помню. Так вот, однажды колосники засорились, а топка-то еще горячая, но полез, представьте, полез там штыковочкой шуровать, только рогожкой мокрой прикрылся. И никто не приказывал, сам. Говорят, подметки там у тебя на штиблетах трещали, а?.. Скажете небось: глупо, зачем в пекло лезть, неужели нельзя лишний час подождать, пока остынет? Да вот нельзя было. Вся страна такое переживала, что лишнюю минуту дорого казалось потерять. Вы-то, пожалуй, этого не поймете. Да и нам-то самим иной раз не верится — неужели такое было?.. А — было! Вот так, молодежь. А вы — чуть закачало, уже давай тоже... права качать: «Ах, штормяга!.. Ах, лучше переждем, перекурим это дело...»

«Дед» лишь раз на него взглянул — быстро, из-под бровей, тусклыми какими-то глазами, — но что-то в них все же затеплилось как будто. Или показалось мне. Точно бы они там оба чем-то повязаны были, в свои молодые, чего и вправду нам не понять. Не знаю уж чем.

Ввалился «мотыль» Юрочка — в одних штанах, в шлепанцах, с платком замасленным на шее. Граков к нему повернулся — с добрым таким, мечтательным лицом — и только руками развел и засмеялся: уж такая это была нахальная молодость, рыло такое смурное, взгляд котиный.

— Вот, поговори с таким... энтузиастом. Про юность мятежную. Поймет он что-нибудь? Когда в таком виде в салон считает возможным явиться. Ох, распустил вас Сергей Андреич...

— А чо, с вахты.— Юрочка побурел весь, заморгал.

«Дед» ему сказал угрюмо:

— Масла не добавляй больше. Я замерял перед пуском, там на ладонь лишку.

Юрочка вытянулся — с такой готовностью:

— Щас отольем немедленно.

— На работающем двигателе не отливают. Масло — в работе. Сегодня, я думаю, дрейфовать придется, тогда уж остановим.

— А может, и не придется дрейфовать? — Граков уже не «деда» спрашивал, а всех нас. — Выберем и снова — на поиск?

«Дед» отставил тарелку, выпил единым духом компот и пошел. Граков ему глядел вслед — то ли с печалью, то вроде бы жалостно.

— Как все ж Бабилов-то сдал. Слышит, наверно, плохо. Ну, и мнение, конечно, трудно переменить, раз оно сложилось. — Опять он к нам повернулся с улыбкой. — Так как, моряки? Выйдем или перекурим это дело?

— Я — как прикажут, — сказал Шурка.

— Все ты мне: «Как прикажут»! А сам?

Мы вставали по одному и вылезали — через его колени.

— Так ты меня жди на палубе, — сказал он Шурке. — Ты меня там увидишь, матрос.

Мы его увидели на палубе. С «маркони» он вышел, с механиками, со старпомом, только доспехи ему подобрали новые, ненадеванные. Предложили на выбор — гребок или сачок: не сети же начальству трясти. Он подумал и взял сачок. Сдуру как будто — на гребок нет-нет да обопрешься в качку, а сачком надо без задержки вкалывать, по пуду забирать в один замах, тут в два счета сдохнешь. Да он-то не затем вышел, чтобы сдыхать, — так размахался, что мы только очи вылупили. И еще покркивать успевал, хоть и с хрипом:

— Веселей, молодежь, веселей! Неужто старичков поперед себя пустим? И-эх, молоде-ожь!..

Уже ему чешуя налипла на брови и всего залепило снегом, уже кто вышел с ним — понемногу сдохли, только чуть для виду гребками ворочали,— а у него замаха такой же и оставался широченный, как будто он вилами сено кепнил, и никакая же одышка его не брала. Честное слово, даже нам это передалось, хоть мы и с утра были на палубе. Васька Буров и то сказал с восхищением:

— Вона, как мясо-то размотал! Первый раз такого бзикованного вижу.

Потом не стало его видно, Гракова, заряд повалил стеной, и хрипенья его за волной не слышно. И Жора-штурман скомандовал:

— Обрезайсь!

Но это еще не конец был, еще мы два раза выходили и пробовали выбирать. И он исправно с нами выходил и все нам доказывал, что погода слабая и что он бы за нас, нынешних, за сто двоих бы не отдал—тех, прежних. И мы себе знай трясли, взяли в рыбу, мокрые, мерзлые до костей, и все понапрасну — все равно ее смывало в шпигаты, не успевали ее отгребать у нас из-под ног, а подбора то и дело застревала в барабане и рвала сети — одну за одной.

— Утиль производим, ребята,— сказал нам дрейфтер. Он держал в руках сетку: сплошные дыры, не залатать. Вытащил ее из порядка и надел себе на плечи, как рясу.— Сейчас вот так вот к кепу пойду, покажу ему, чего мы спасаем.

Когда вернулся, на нем лица не было, из глотки только хриплый лай слышался:

— Кончился я, ребята.

— Да кеп-то, кеп чо говорит?

— Обрезайсь! Крепи все предметы по-штормовому. Больше десяти обещают.

Крепили в темноте уже, при прожекторах. Пальцы не гнулись от холода, а узел ведь голой рукой вяжешь, в варежках это не получается, когда они сами колом стоят. Да и не греют они, брезентовые, лучший способ — пальцы во рту подержать. А мне еще пришлось стояночный трос волочить да чекиль привинчивать. Когда добрались до коек, уже и согреться не могли, хоть навалили сверху все, что было.

Пришли кандей Вася с «юношей», притащили чайник ведерный, поили нас, лежачих, из двух кружек. И мы понемножку начали оживать. Наверное, лучше этого нет ничего на свете, когда горячее льется в тебя после снега, после ветра и стужи и зажигает внутри, и понемногу, постепенно ты отходишь, уже можешь дышать, уже руки и ноги — твои, все тело к тебе возвращается из далекого далека, уже говорить можешь и улыбаться, хоть губы еще не слушаются, уже подумываешь — не встать ли, не сползть ли куда? Ну, хоть в салон, фильмы покрутить...

Первый Шурка вспомнил:

— А что у нас там за картиночку «маркони» притащил?

— Спи давай,— сказал Митрохин.— Какое теперь кино? Теперь бы сон хороший увидеть.

— Про что, например?

— Как мы домой придем. Гарантийных, семьдесят пять процентов, получим...

— Что ты мне поешь? Это не сказка, это я и так увижу.

Васька Буров пообещал:

— Я тебе и сказку расскажу. Только не шебаршись.

— Про чего?

— Как король жил. В древнее время. И было у него два верных бича.

— Это как они царевну сватали? — Шурка полез из койки. — Травил уже.

— И вовсе не про то. А как они рыбу-кит поймали и живого ко дворцу доставили.

— Быть этого не может. У меня их братан в Индийском каждый день по штуке ловит. Дак он, как вытащишь, тут же от своего веса гибнет. Айда в картину, бичи!

Шурка уже портянки наматывал на столе. Двужильные мы, что ли? Ведь только что помирали!

Из соседнего кубрика тоже пошли, представьте. На палубе ужас что делалось — выглянуть страшно. Но побежали, нырнули в снег и ветер....

А я — задержался. Я про Фомку вспомнил — что надо ему на ночь еды оставить. Не знаю, едят они по ночам или нет, но ведь в трюме сидит, для него там все сутки — ночь. Рыбу всю смыло, но я в шпигатах нашарил пару селедин. Потом отдраил люковину, откатил ее. В трюме черно было, глупыша я не увидел.

— Фомка! Рыбки хочешь?

Я хотел кинуть ему, да побоялся — еще по больному крылу попаду, лучше слазить.

И я сел на комингс, опустил ноги в люк. А рыбу переложил под мышку и прижал локтем. Волна меня ударила в спину и прокатилась дальше, вторая ударила, а я все не мог достать ногой до скобы. Тогда я решил прыгнуть. Оно высоко, конечно, но я-то помнил — там все-таки бухта вожака уложена, ноги не отобьешь, лишь бы на лету за скобу не задеть. Я лег животом на палубу и сполз пониже, пока не протиснулись локти, потом оттолкнулся и полетел.

Я ни за что не задел и не стукнулся, не отбил ног. Потому что упал — в воду.

2

Я рванулся и заорал с испугу, но тут же сообразил, что зря — всего-то мне по пояс. Ну, может, чуть выше, дальше-то шла курточка, я же в ней пошел. Но сердце чуть не выпрыгнуло. Я и про люковину забыл — что надо ее задраить сперва, иначе с палубы налет, а сразу полез искать, откуда просачивается. И на слух и руками шарить по переборкам.

Одна переборка была — с грузовым трюмом, легкая, дощатая, сквозь нее, наверно, просачивалось. Я полез по скобам, ухватился за верхнюю доску и подтянулся. А протиснуться не смог, пришлось две доски вынимать из пазов, чтобы пролезть под бимсом.

Дальше шли бочки. Они утряслись уже, и я полез прямо по нимoplastунски, а спина терлась о подволоку. Темень была хоть глаз выколи, и бочки подо мной разъезжались, я больше всего боялся, что руку зажмет или ногу. А бояться-то надо было другого — если в трюм хорошо натекло, то ведь они всплывут, пустые, и так меня прижмут, что я и вздохнуть не смогу. Но этого я как-то не сообразил, иначе б, конечно, не полез сдуру.

Наконец я добрался-таки до борта, то есть просто башкой в него стукнулся. Примерно я знал, где может быть шов, я как раз полтрюма прополз. Раздвинул две бочки, лег между ними, пошарил рукою вниз. Варезек на мне не было, так что я недолго шарил — руку обожгло струей. Так и есть, шов разъехался, не знаю — повыше или пониже ватерлинии. Но уж какая тут, к чертям, ватерлиния, когда пароход переваливает с борта на борт и при каждом крене вливается чистых три ведра в трюм.

Я еще протиснулся, прощупал шов сверху вниз, но так и не достал до конца — то ли руки не хватило, то ли пальцы онемели, не чувствовали.

Те две бочки, между которых я лежал, я понемногу оттиснул назад, стало чуть посвободнее, и я тогда сполз пониже. Вода просачивалась с шипением, с хлопом, и мне жутко сделалось: влезть-то я влез, а как теперь выберусь? Бочки мои опять сошлись и напоззли на меня. Ну, это вообще-то можно было и предвидеть, но я же сначала делаю, а потом думаю.

И зачем я, собственно, сюда лез? Ну, нашел я эту дыру, а чем ее заткнешь? Хотя бы подушек натащить из кубрика. Я еще пониже опустился и прижался к щели спиной, а ногою нашарил пиллерс и уперся. Хлюпать как будто перестало, но холодило здорово сквозь куртку. А уж про штаны и говорить нечего. Но все-таки я неплохо устроился, жить можно, и вливалось по полведра, не больше.

Только я успел это подумать, как меня бочкой шарахнуло по лбу. Хорошо еще — донышком, не ребром, но гул пошел будь здоровчик. Вот это дело, думаю. Так и менингит можно заработать, психом на всю жизнь заделаться.

Я уже локти выставил, пускай по ним бьет, рукава все же на меху. А бочки — только и ждали. Тут же мне руки зажали, не вытащить. И пока одни держат, другие лупят почему зря.

В общем, я хорошо вляпался. И что же, так я и буду всю картину сидеть? Жди, куда хватятся. Ну, хватятся-то скоро, на судне если человека в шторм полчаса не видно, его уже ищут. По трансляции вызывают, в гальюны стучатся. Но ведь подумают — меня за борт смыло, станут прожекторами нашаривать. Это на час история, а потом, конечно, в скорбь ударятся, по поводу безвременной моей кончины. Кто ж догадается, что я под палубой сижу, с бочками сражаюсь?

Вдруг слышу: пробежал кто-то — по брезенту, по трюмному. Как будто по голове моей пробацали. Мимо люка пробежал — и не заметил, что он отдраен, вот олух! — скатился в кубрик. За ним еще один. А первый уже вернулся и говорит ему — как раз над люком:

— Ни в кубрике, ни в гальюне.

— Где ж еще? За бортом...

А я вам что говорил? Сперва в гальюне поискали, теперь — за бортом.

Позвали унылыми голосами:

— Сень, ты где прячешься? Сень, мать твою, отзовись!..

Я и хотел отозваться, но тут проклятая бочка меня снова шарахнула, да не по лбу, а прямо в лицо. А эти двое куда-то ушли, не слышно их, только ветер поет и волна катится по палубе, заливает вожаковый трюм.

Но вот опять чьи-то шаги над головой, медленные, грузные, и вдруг звон — споткнулся обо что-то.

— Кто люковину оставил?

По голосу — «дед».

— Какую?

— Таковую, от вожакового... Судить вас мало!

— Да она задраена была.

— Я, значит, отдраил?

Поволокли люковину. Вот те раз, думаю, только я и ждал, когда вы меня закупорите.

Я заорал что было силы:

— Эй, на палубе! Здесь я, живой!

«Дед» наклонился над люком:

— В трюме! Кто там есть?

— Я!

— Кто «я»?

— Да я же, «дед»!

— Ты чего там делаешь? Вылазь.

— Не могу, бочками задавило.

— Черти тебя туда занесли?

— А кто ж еще.

«Дед» полез в трюм, сапоги его застучали по скобам.

— «Дед», не лезь дальше!

Но он уже плюхнулся в воду. Выругался, полез ко мне, стал раздвигать бочки.

— Сильно льет, Алексеич?

— Сейчас помалу. Я спиной держу.

— Так, — сказал «дед». — Затычку изображаешь? Ну, потерпи, милый. Да поберегись — шов дышит, может тебя защемить.

— Ага, спасибо.

«Дед» вылез, закрыл люковину. Опять мне стало страшно. Но там уже какая-то беготня пошла. Пробили водяную тревогу — протяжными гудками и колоколом. Вся палуба загремела от беготни. А я уж совсем закоченел, уже под курточку просочилось до плеч, и локти сплошь избило.

Кто-то опять люковину отдраил:

— Сень, жив там?

Шурка Чмырев.

— Жив. Но бедствую.

— Хреново, значит, тебе живется? Курить небось охота?

Вот, самый верный вопрос задал человек. А я и не знал, отчего мне так хреново.

— Сейчас покуришь. Смена тебе идет.

Шурка прыгнул в воду и охнул. За ним еще кто-то. Вытащили несколько досок из переборки, пошвыряли в воду. Кто-то начал ко мне протискиваться по бочкам.

— Сень, ты там особенно не расстраивайся, ладно? Все починим, все наладим...

Серега Фирстов.

— Э, ты там не молчи. Нам твой голос очень необходим, Сеня.

— Ладно, ползи давай.

У меня уже язык к зубам примерз. А он все полз да полз и спрашивал:

— И чего это ты, Сеня, сюда забрался? Удивляюсь я, как ты только такие места находишь?

Сто лет он ко мне полз. Но правда ему тоже нелегко приходилось. Он языком-то молчал, а сам бочки из-под себя выбирал и подавал назад Шурке.

Дополз наконец, ткнулся мне головой в зубы:

— Извини, Сень. Как твое мнение, полчаса выдержу?

— Я час сидел, не умер.

— Какой час? Полбобины только успели прокрутить.

— Ладно, полбобины...

— Сейчас... Бочки только раскину.

Еще одно столетие он бочки раздвигал. Потом закурить решил, сделал пару затяжек и сунул мне в рот.

— Давай отвались.

Борт поднялся, и вода схлынула, и я тогда отодвинулся от дыры. Серега упал на нее спиной. Потом борт пошел вниз.

— Ой,— говорит он,— холодно!

— А ты думал.

— Рокан прожигает. Ты мне подстели чего-нибудь.

— Что я тебе подстелю?

— А в чем ты сидел? — Он протянул руку и нашарил куртку. — Во, курта своего подстели...

Тут-то я и призадумался.

Мне не курточки было жалко, с ней-то чего могло случиться. Но в ней еще письма были, от Лили. И последнее и те, что она мне в прошлые рейсы присылала. Письма она любила писать, это просто редкость в наше время, и большие, подробные. «Мы все — дети тревоги, что-то в нас все время не может успокоиться, что-то мечется, стонет, меняется. Но больше всего нам хочется успокоиться, на чем-то остановиться душой, и мы не знаем, что, как только мы этого достигнем, приедемся к какому-то берегу, нас уже не будет...» Вот, даже сейчас я их помню. И еще про то, что она во мне увидела, чем я ее особенно поразил. Может, мне этого больше никто никогда и не скажет. И откуда ж мне было знать, что придется их в кулаке переть через залитый трюм. От них бы, конечно, кисель остался. А не вынуть их, оставить в курточке... Не в том дело, что Серега мог бы их там нащупать, а просто — суеверие, понимаете? Как будто что-то случилось бы с ними, вот я такой толчок почувствовал в душе.

— Чего ты? — спросил Серега. — Курточку жалеешь? Не жалею. Мы, может, вообще отсюда не выберемся.

— Брось, не паникуй.

— Да я-то уж чувствую.

Я снял курточку, сложил ее вовнутрь подкладкой. Серега отодвинулся, и мы ее затолкали в шов.

— Теперь порядок. Иди грейся. Шурку через полчаса пришли.

Я выполз по бочкам и тут вспомнил про Фомку. Нельзя птицу в мокром трюме оставлять, мало ли что дальше будет.

Фомка сидел тихо в гнездышке, совсем сухой, но в руки сразу пошел, как я только позвал его: «Фомка, Фомка». И пока я лез по скобам, он весь распластался у меня на ладони, свесил большое крыло. Я хотел его в кубрик отнести, но вдруг он спрыгнул и побежал от меня, вскочил на планшир. Сидел на нем нахохленный, отставив крыло.

— Ну что, Фомка,— сказал я ему,— иди, штормуйся, как можешь.

Волна накатила, захлестнула планшир, а когда схлынула — Фомки уже не было. Я испугался, пробрался к фальшборту. Фомка лежал на крутой волне, сложив крылышки, клювом и грудкой к ветру — как настоящий моряк. Все-таки он выбрал штормящее море, а не трюм, где ему и сытно было, и тепло. Плохи, должно быть, наши дела, я подумал. Потом заряд налетел, и больше я Фомки не видел.

Под кухтыльником кто-то отвязывал помпу, тащили шланги. Я в гальюне напялил чей-то рокан, своего не нашел, выскочил им помогать. Шурка тут был, Васька Буров и Алик.

— А где ж другие?

— Где надо,— сказал Шурка. — В кубрике у механиков натекло. По колену, шмотки плавают. Во до чего картины доводят. Еще не дай бог в машину просочится.

— Не дай бог,— я сказал.

— А чего особенного? Вполне могло и в машину.

— Погибаем, но не сдаемся,— сказал Алик.

Васька Буров на него заорал:

— Плюнь три раза, салага! Плюнь сейчас же!

Алик плюнул.

— Не соображаешь, так помалкивай.

Потащили помпу к жоаковому трюму. Под ногами елозили доски, рыбодел, каталась пустая бочка. Мы спотыкались, падали и снова тащили. Потом опустили шланг и стали качать прямо на палубу — двое на одном плече, двое на другом.

Васька покачал, покачал и спросил:

— Бичи, а бочки-то со шкантами?

— Это к чему ты? — спросил Шурка.

— Дак если они заткнутые, они и держать будут, воду не пустят.

Мы бросили качать.

— Это у бондаря надо спросить, — сказал Шурка. — А где он, бондарь? У механиков там выкачивает. Хрен знает. Которые со шкантами, а которые и без шкантов.

— Они же все равно немоченыс, — сказал Алик.

И верно, немоченая бочка, хоть и заткнута, все равно пропускает.

— Немоченые, дак теперь намочились, — сказал Васька. — Зря качаем.

Шурка подумал и вдруг заорал на него:

— А ну ты в болото, сачок! Я лично тонуть не собираюсь. — И сам закачал как бешеный.

В это время из рубки крикнули:

— Помпу — к машине!

До нас это как-то не сразу дошло.

— А трюма?

— Сказано вам — к машине!

— Дождались, — сказал Васька. — Доехали. А все ты, салага, накаркал: «Погибаем, погибаем»...

Шурка уже тащил помпу от люка. Я выбрал шланг, крикнул туда, в темень:

— Серега, жив там?

Ответа никакого. Я испугался до смерти — не захлебнулся ли он там? Или бочками задавило?

— Серега, гад полосатый!

— Ау! — как из могилы донеслось. — Скоро вы там?

У меня от сердца отлегло.

— Какой «скоро»? — сказал я ему радостно. — Только начинается.

— Мне сидеть?

— Вылазь.

— Пластырь не будете заводить?

— Вылазь, в машине вода.

Он загромыхал там бочками.

— Зачем же мы с тобой сидели, Сеня?

— Выберешься один?

— Да выберусь... Но сидели, спрашивается, зачем?

— Ладно тебе... Люковину задрайшь?

— Да уж задраю. Но учти, Сеня, так ты мне и не ответил...

Я побежал помогать с помпой. Мы ее протащили в узкости, между фальшбортом и рубкой, отдраили дверь в коридор. Комингс тут — чуть не до колена, и пока мы эту дуру перетаскивали, все руки себе пооборвали. Но сразу же и забыли про них.

Из шахтной двери пар валил, а сквозь пар мы увидели воду — черную, в мазутных разводах. Пайолы кое-где всплыли и носились с волной. Именно с волной — целое море разлитое бушевало в шахте: то кидалось на переборку, а то накатывало на фундамент, и из-под машины пыхало паром. Даже дико было, что она еще работает, стучит.

Выходной шланг вывели за дверь, на палубу, а входной опустили в шахту. До воды он не доставал.

Из пара выплыл Юрочка — по колену в воде, но, как всегда, голый.

— Олухи, шланг нарóстить не сообразили?

— Чем его нарóстишь? — спросил Шурка. — У тебя запасные есть?

— А нечем — так на хрена тащили? От главного покачаем.

— А что ж не качаете?

— Как это не качаем? Сразу и начали, как потекло.

Где же ты был, сволочь? — хотелось мне его спросить. Где ты был, когда «потекло»? Сидел небось на верстаке, вытачивал какую-нибудь зажигалочку, пока тебе уже пятку не подмочило. А когда спохватился, так «деда» позвать духу не хватило, сам решил откачать, а сам ты толком не знаешь, как водоотлив включается.

— Чего ж теперь с помпой-то? — спросил Васька. — Опять двадцать пять, назад волоки?

— А кто вам ее велел сюда переть?

— Бичи, — сказал Васька. — Я лучше спать пойду.

Из-за машины вышел «дед» — тоже весь в пару, но в пиджаке, с галстуком.

— Куда помпу отсылаешь? — сказал Юрочке. — Прошляпили мы с тобой, так пусть хоть вручную помогут.

Это он потому сказал «мы с тобой», что на вахте моториста «деду» тоже полагается быть — не всю вахту, но заходить, поглядывать. А «дед» сначала кино смотрел, а потом меня бегал искать. Но шляпил-то, конечно, он, Юрочка.

— Так шланг же у них не достает, Сергей Андреич.

— Ведрами пусть почерпают.

— Гуляйте с вашей техникой, — сказал Юрочка.

Опять мы эту дуру перетаскивали через комингс. Но уж до места не тащили, затолкали в угол, лишь бы не мешала проходу. Стали ведром черпать — один внизу набирал, двое на трапе передавали, четвертый с ним бегал к двери, выплескивал на палубу.

Потом Шурку позвали на руль. Вместо него Серега пришел — рокан зачем-то скинул, телогрейка в снегу.

— Ты б хоть куртку мою надел, — говорю ему.

— А ничего, Сеня, я так. — Он выплеснул ведра три, потом сказал: — Да и нету ее, куртки-то.

— Как нету?

— А высосало к чертям в дыру.

Я прямо обалдел.

— Как ее могло высосать?

— Так...

— А ты куда смотрел?

— А я не смотрел, Сеня. Там же темно, в трюме-то. Я чувствую — жжет. Пощупал — а куртки и нету. То-то я тебя спрашивал: зачем мы там сидели?

— Чертов ты хмырь!

— Будет вам лаяться, — сказал Васька. — Нам бы пароход спасти, а по курточке ты после поплачешь. Думаешь, мне твоей курточки не жалко?

— Мне тоже прямо плакать хотелось, — сказал Серега. — Ты уж прости, Сеня.

Я был озлился по-настоящему, да сил не было. Мы уже ведер тридцать вылили. Или сорок, я не считал. Васька Буров, который считал, сказал, что шестьдесят восемь. А воды и на дюйм не убавилось. И паром

уже всю шахту застлало, только мелькали чьи-то головы, руки, и показывалось, ехало наверх ведро — наполовину, конечно, расплесканное...

Сменили нас кандей с «юношей», бондарь и один из механиков.

— Сходите покушайте, ребята,— сказал нам кандей.— Час вам даем. Я там борща сварил.

Он все же настоящий был повар, всегда у себя на камбузе хозяин. Да нам-то сейчас меньше всего есть хотелось.

— Лучше покемарю я этот час,— сказал Васька Буров.— И вам совету.

Я все же пошел вдоль планшира, хотел поглядеть на волну — может быть, там и волочится моя курточка? — но что увидишь, заряд совсем озверел.

В кубрике повалились в койки, и Васька захрапел тут же. Серега еще поворочался, постонал, но тоже затих. А мне вдруг и спать расхотелось — все я за эти письма переживал. Ну, и за курточку тоже. Вы же помните, чего она мне стоила. Но главное — вот что меня стало мучить: ветер переменится, и она же непременно в Гольфстрим выплывет, а там парходов — яблоку негде упасть, и кто-нибудь мою курточку подберет, и будут читать эти письма, не совсем же они размокнут. И как я тогда перед Лилей буду выглядеть? Ведь это по всему флоту пойдет, какие мы «дети тревоги» и чем я ее там поразил при первом знакомстве. И все это еще легендами обрастет, и никто даже не вспомнит, как их нашли, эти письма, а выйдет — как будто я сам их пустил читать. Я прямо похолодел, как представил себе ее лицо. «Ну что ж, я этого, в общем-то, должна была ждать». Уж лучше б она утонула, проклятая курточка. Но ведь не утонет сразу, шмотки долго носятся по морю, пока из них воздух не выйдет...

Вдруг я услышал — машина сбавила обороты. И сразу начало в борт ударять — не выгребаем, значит, против волны, и лагом нас развернуло.

Я не улежал, пошел из кубрика. Навстречу Шурка бежал с руля.

— Что там делается?

— Бардак полнейший. Кеп с «дедом» сцепились.

— Из-за чего?

— Сходи, стоит послушать.

В коридоре, у шахты, я увидел кепу — в расстегнутом кителе, шапка на затылке, с ним рядом — Жора-штурман. «Дед» стоял на трапе, весь обрызганный маслом, руки заголены до локтя и тоже все черные, в масле.

— Ты понимаешь, что делаешь? — кричал кеп.— Почему обороты сбавил?

— Потому что трещина в картере, масло хлещет.

— Откуда трещина? Почему раньше не было?

«Дед» объяснял терпеливо:

— Была, только не обнаружили сразу. Вода накатила, а он раскаленный, вот и треснул.

— Пусть хлещет, а ты подливай. Заткни ее чем хочешь. Ветошью, тряпками.

— Николаич,— сказал «дед». — Не дури, мне тебя слушать стыдно.

Жора-штурман вылез вперед кепы.

— Ты с кем разговариваешь? — заорал на «деда». — Ты с капитаном разговариваешь. «Не дури»!

— Правильно, Ножов,— сказал «дед» спокойно.— С капитаном. Не с тобой. Так что помолчи, молодой, да ранний. Капитан же обязан понимать, что, если все масло вытечет, двигатель перегреется и заклинит, а хуже того — поршни прогорят, тогда уж его не починишь.

— Ты еще чинить собираешься? — кеп прямо взвизгнул.

— Не знаю еще. Но остановить придется. От «шенибека» будем качать.

— Ты в уме? — спросил кеп. — Нас же на Фареры тащит!

И я почувствовал, как у меня ноги сразу ослабели и холод где-то под ложечкой. Ну, правильно, ветер же обещали остовый, это значит — к Фарерам, на скалы. Сколько ж до них, до этих скал?

— Тебя сети тащат, — сказал «дед». — Ладно, выметал перед штормом, но хоть бы заглубил их. Так ты еще «нулевые» поводцы поставил. Вот теперь и подумай — не обрезаться ли от сетей.

— Прибавь обороты! Я знать ничего не хочу!

«Дед» поморщился, как будто у него зуб заболел, поднялся на ступеньку и закрыл дверь. Жора ее толкнул, но «дед» успел повернуть задрайку.

В шахту еще одна дверь есть, за углом коридора, против «дедовой» каюты; они туда кинулись. Навстречу вылез второй механик, развел руками — мол, рад бы вам подчиниться, но выгнал меня Бабилов. Жора его оттолкнул. Но из двери еще Юрочкин беретик показался, потом Юрочкино круглое плечико, Юрочкина мощнейшая грудь. И уж он вылезал, вылезал — так что «дед» и по этому трапу успел подняться и звякнуть задрайкой.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал Юрочка. — Он там один управится.

Кеп замолотил в дверь кулаками. Жора еще ботинком добавил. Но это уже совсем глупо, мы б эту дверь всей командой не высадили. Побежали наверх, на ростры — туда окна шахты выходят, стеклянные створки, как у парников. Из створок валил пар, мешался со снегом, с брызгами. «Дед» внизу еле различался у машины.

— Бабилов! — закричал кеп. — Ты под суд пойдешь!

«Дед» поднял голову:

— Ты лучше с сетями подумай. Останавливаю главный.

— Не смей, Бабилов!

Машина еще поворчала и смолкла. Теперь лишь вспомогац работал на откачку.

Кеп выпрямился. Где-то уж он свою ушанку потерял, и снег ему падал на лысину, ветер раздраивал китель — он ничего не замечал.

— Тащит на Фареры, — сказал уныло. — Ну что — стрелять в него?

А стрелять у нас было из чего — три боевых винтаря в запломбированной каптерке: нельзя же судно совсем безоружным выпускать в море. И я уже подумал: что мне-то делать? Тут с ними драку затеять, на рострах? Или ребят позвать на помощь?

— Только это не поможет, — сказал кеп. — Ну что? Придется «SOS» давать...

— Что ж остается, — сказал Жора.

Они сошли в рубку. Пар внизу, в шахте, понемногу рассеивался, и я увидел — «дед» согнулся возле машины, сливает масло в огромный противень, и оно хлещет и пенится, брызжет ему на голые руки, в лицо.

— «Дед»! Тебе помочь?

Он поднял голову, сощурился:

— Ты, Алексеич?

— Могу я тебе помочь?

— Ничего, сам попробую. Я двери не хочу отдраивать.

— «Дед», это надолго?

— Да если б раньше! Заварили бы и горя не знали.

— Я тебе сварщика пришлю, первостатейного. Чмырева Шурку. Он тебе трещину заварит — потом не найдете, где и была.

— Давай, пусть постучит три раза.

— Зачем? Я тебе его на штерте смайнаю.

«Дед» сказал весело:

— Это мысль!

Шурку я долго расталкивал, он мычал, брыкался, никак не мог вспомнить, что такое с нами случилось. Я напомнил. Потом мы Серегу подняли. С полатей стащили поводец и пробрались остороженько на ростры. Шурка все еще сонный был, как муха, когда мы его сажали в беседочный узел и просовывали между створок.

— Бичи, вы куда меня, в ад? Я вам этого не прощу.

— В рай,— сказал Серега.— Где тепло и мухи не кусают.

Мы уперлись в комингс и потравливали, а Шурка, кажется, даже успел заснуть в беседке. «Дед» его поймал за ноги и отвел от машины.

— Штерт закинем,— сказал Серега.— На всякий случай.

Мы его закинули в море и пошли с ростр. Серега вдруг встал, схватил меня за рукав. Кто-то маячил на верхнем мостике — без шапки, в раздраженном кителе.

— Кеп,— сказал Серега.

Мы притаились за трубой. Кеп поднял руку и пальнул из ракетницы. Мы только красную вспышку увидели на миг, над самым стволом, и тут же ее как срезало, только шипение донеслось. Он перезарядил и опять пальнул. Опять только вспышка и шипение.

— Доигрались мы, Сеня. Я те говорю: не выберемся.

Мы уже на палубу сошли, а кеп все палил. Отсюда лишь выстрел было слышать, а вспышки уже не видно.

3

Мы вошли в кап. Снизу боцман грохотал, наткнулся на нас.

— Ты и ты. Айда якоря отдадим.

Втроем, держась друг за дружку, мы добрались до брашпиля, потащили с него брезент. Он там за что-то зацепился, никак не лез. Серега тащил его за угол и рычал от натуги, а боцман орал на него, чтоб дал сначала распутать.

Волна перехлестнула фальшборт, окатила нас вместе с брашпилем, и вдруг брезент сам взлетел, как живой, его подхватило и понесло. Ну, пес с ним, с брезентом, но боцман-то куда делся? Как не было боцмана. Уж не за борт ли смыло? Ну, тут одна надежда — что его второй волной зашвырнет обратно. Бывают такие от судьбы подарочки. Нет, приполз откуда-то на карачках.

— Жив, только руку убил. Брезент хотел догнать.

Серега на него накинулся:

— Все скаредничаешь, душу лучше спасай!

— Боцман! — из рубки донеслось.— Шевелись там с якорями.

Мы переждали еще волну и отдали стопор. Якорь пошел, плюхнулся, цепь загрохотала в клюзе. Мы ждали, когда он «заберет». Это всегда чувствуешь по толчку. Иногда и с ног сбивает. Но нас не било.

— Не достал,— сказал Серега.— Глубина там.

— Какая? — спросил боцман.— Эхолот сорок показывает.

— Давай второй.

Опять мы ждали толчка и не дождались.

— Ползут,— сказал боцман уныло.— Дно не якорное. Чистый камушек тут. Плита.

— А слов-то сколько! — сказал Серега.

— Мослов до феньки. Только за них не зацепишься. Пошли, что мы тут выстоим.

Здоровенная волна догнала нас, ударила в спину. Как будто мешком ударило — с мокрым песком, — и я полетел на кап грудью. Там я присел, скорчился, в глазах померкло от боли. Кто-то меня потянул за ворот. Серега мне что-то кричал, я не слышал что. Он меня взял под мышки и рванул:

— Стой вот так, боком! Держись за поручень.

Ага, вот и поручень нашелся. Я и забыл, что он приварен к переборке. Серега меня отодрал от него, потащил за собою, втолкнул в дверь.

Мы стояли в капе, прижавшись друг к дружке, зуб на зуб у нас не попадал. А я еще отдышаться не мог после удара. Боцман сказал:

— Не работают якоря.

— Не ворожи, — сказал Серега. — Я вроде бы рывок слышал.

— Цепь-то звякает. Не натянулась.

Что уж он там слышал? Мы только ветер слышали и как волна ухает в борт.

Из рубки Жора-штурман крикнул:

— Страшной, что там у тебя с якорями?

Боцман сложил у рта ладони:

— Отдали якоря!

— А сносит!

— Не забрали. Ползут.

— Твою мать! — крикнул Жора. — Утильные они у тебя.

— Какие есть!

Жора не ответил, поднял стекло в рубке.

Я вспоминал, как нависали над нами эти скалы, гладкие, как будто их полировали, льдистым снегом покрытые. Все мы, конечно, окажемся в воде, без этого не обойдется, да на нас и сейчас сухой нитки нет, а до ближайшего селения там десять миль идти в лучшем случае, оледенеем на ветру, не дойдем. Да и не придется нам идти, сперва еще нужно на скалы взобраться. На них еще никто не взобрался. А ведь все жить хотели.

— Утильные! — вдруг сказал боцман. — А у меня ведь еще якоришко есть. Вот он-то правда что утильный.

— Свистишь, — сказал Серега. — Где он у тебя?

— Махонький. Килограммов на сто. Где? В боцманской. Запрятал я его. Мне в порту ревизию делали по металлолому и как раз про этот якоришко и спрашивали. А я сказал: утопили его. Вдруг понадобится?

— Ух ты, вологодский! — сказал Серега. — Учетистый.

Первым боцман шагнул из капа, за ним Серега и я. Пошли, согнувшись, держались за стояночный трос. За него вообще-то не то что держаться, а близко нельзя подходить в шторм. Но больше-то за что еще держаться?

Навстречу по тросу двое шли, Васька Буров с Митрохиным. Мы их завернули.

— Еще б двоих, — сказал боцман.

— А салаги где? — спросил Серега.

— Качают у механиков в кубрике. Не надо салаг. Кандея возьмем и «юношу».

Мы дошли до кормы и через заднюю дверь вломились в камбуз. Плита топилась, на ней ездил и попыхивала кастрюля, а кандей спал, сидя на табуретке, голова у него моталась по оцинкованному столу.

Мы его растолкали — он схватил черпак, кинулся к своей кастрюле.

— После, — сказал боцман. — Сейчас помоги нам с якорем. «Юноша» где?

— Спит в салоне. — Кандей скинул передник и напялил телогрейку.

Она у него сохла над плитой, и теперь от нее пар валил.— А может, не надо «юношу»? Он хуже меня умаялся.

— А справимся вшестером?

— Не справимся — разбудим.

И вот мы вшестером взлезли на крыло мостика, отперли дверь в каптерку. Понесло оттуда олифой, плесенью, черт-те чем еще — боцман и правда великий был барахольщик. Мы откидывали какие-то банки, обрывки тросов, цепные звенья, мешки, досточки, а боцман светил фонарем и причитал:

— Осторожно, ребятки, тут добра на три парохода хватит.

— Слушай,— спросил Васька Буров,— а может, его и нету, якоря-то? Ну, померещилось тебе.

Боцман даже обиделся:

— Если хочешь знать, так у боцмана все, что тебе, дураку, померещится, и то должно быть.

Долго мы еще копались в этой каше. Вдруг Васька Буров заорал:

— Есть! Держу его за лапу!

— Держи! — боцман тоже заорал.— Таш-ши веселей!

Но не так-то просто было его тащить. Он второй лапой так застрял, что мы впятером не могли выволочь.

— Вот так бы в грунте держал,— сказал Серега.

Боцман обрадовался:

— Сурово держит? А что думаешь, а может, и в грунте. Только б забрал, забрал бы, родной!

Наконец выволокли его на крыло. Не знаю уж, сколько в нем было весу — может быть, сто, а может, и триста. Упарились мы с ним на все пятьсот. Двое за лапы тащили, трое за веретено, боцман шестым взялся — за скобу.

Потом спускали его по трапу... Как нас тут до смерти не зашибло? Двое внизу подставляли плечи, а другие на них опускали эту тяжесть смертную, да еще одной рукой каждый, другой-то за поручень держались. Потом тащили в узкости, потом по открытой палубе, и он цеплялся за леера, за бакштаг, на прощанье еще за кнехт ухитрился. Руки мы себе хорошо пооборвали.

— Вот вам и утиль! — боцман все радовался.— Погоди, ребятки, сейчас мы его привяжем. На него вся надежа!

«Надежа» лежал на полубаке — самый простой адмиралтейский якорь, легонький, как для прогулочной яхты, теперь-то это видно было, а мы лежали вповалку под фальшбортом. нас тут не било волной, а только окатывало сверху, и ждали, пока он привяжет трос, проведет через швартовный клюз. Никому не дал помогать, сам мудрил.

— Ну, ребятки, поплюем на него.

От всей души мы на него поплевали, на нашу «надежу».

— Боже поможи. Теперь вываливай потихоньку.

Всплеска мы почему-то не услышали. Кто-то даже через планшир заглянул — куда он там делся.

— От троса! — боцман взревел.

Он осветил фонарем, и мы увидели, как трос летит в клюз и бухта разматывается как бешеная. Но вот перестала, и у нас дыхание захватило. Трос дернулся, зазвенел, пошел царапать клюз.

— Забрал, утильный,— боцман это чуть не шепотом сказал, погладил трос варежкой.

В капе мы постояли, опять прижавшись друг к дружке, и слушали, слушали. Нет, не лопался. И било уже в другую скулу, нос поворачивался вокруг троса.

— Знать бы,— сказал боцман,— взяли б его на цепь.

— А у тебя и цепь есть утильная? — спросил Серега.

— У меня все есть.

Стекло в рубке опустилось, Жора закричал весело:

— Страшной, якоря-то — держат!

— Покамест держат.

— А что ж не докладываешь?

— Вот и доложил. — Он все прислушивался. — Шелестит,— сказал уныло. — Кто слышит? Трос в клюзу шелестит. Трется.

— Не перетрется,— сказал Васька Буров. — Может, мешковину подложить?

— Пойду погляжу на него.

Вернулся он весь белый от сосулук, они звенели у него на рокане, как кольчуга.

— Лопнет,— сказал безнадежно. — Немного подержит, конечно. А потом, конечно, лопнет.

— Что ж делать? — спросил Серега. — Мы уж все сделали, что могли.

— Сети надо отдать. Только они там, на «голубятнике», ни за что на это не пойдут.

— Может, сказать им? Они ж не знают, что мы утильный отдали. Всех наших походов не знают.

— Знают они,— сказал Васька Буров. — Когда мы его с реллинга спихивали, кто-то из рубки выглядывал. Я видел.

— А все же... — сказал Серега. — Что они — жить не хотят?

Он первый пошел, мы за ним. Из рубки нас увидели, опустили стекло. Там видно было Жору-штурмана, а за спиной у него — кепка.

— Чего тебе, Страшной? — спросил Жора.

Боцман взлез на трюм, взялся рукой за подстрельник. А мы держались за его рокан.

— Сети надо отдать, Николаич.

Кеп высунулся — в ушанке на бровях, — спросил визгливо:

— Ты думаешь, о чем говоришь?

— Не выдержит трос. Одна хорошая волна — и лопнет.

— А эти? — спросил Жора. — Чем тебе не хороши?

— Я, Ножов, не тебе говорю. Ты еще не видал, поди, как гибнут. А вот так и гибнут.

— Знаем, что делаем,— сказал кеп. — Тут люди тоже с головами.

Боцман еще чего-то хотел сказать, подошел к самой рубке. Но Жора поднял стекло.

— Не ведают, что творят,— боцман затряс головой.

Мы повернули назад, к капу.

— За имущество дрожат, а головы своей не жалко. И на что надеются? А, пусть их, как хотят. Я спать иду.

Он шел по трапу и все тряс головой. Кто-то ему врубил свет, лампочка горела вполнакала, и в тусклом свете боцман наш был совсем горбатый.

— Пошли и мы,— сказал кандей Вася. — Неужели никто борща не покушает?

Мы потащились опять в корму.

В салоне на лавке спал «юноша» — в тельняшке, в застиранных штанах и босой. Голова у него свесилась, и его всего возило по лавке, тельняшка задиралась на животе, но не просыпался.

Кандей нам налил борща, а сам присел на краешке, курил, морщил страдальческое лицо. Миски были горячие зверски, Васька Буров скинул шапку и поставил миску в нее, и так штормовал у груди. Мы тоже так сделали. А кандей все подливал нам, пока мы ему не сказали «хорош».

Потом попросили у него курева, наше все вымокло, и задымили. Плафон светил тускло, и мы качались в дыму, как привидения — на щеках зеленые тени, глаза у всех запали.

— Бичи,— сказал Васька Буров,— когда эта вся мура кончится, я знаете чего сделаю? Я на юг поеду, в Крым.

— В отпуск?— спросил Митрохин.— Рано еще, это бы в мае.

— Насовсем. Хватит с меня этой холодины, разве же люди рождаются, чтоб холод терпеть? Никогда мы к нему не привыкнем. Пацанок брошу, бабу брошу. Первое время только греться буду на песочке. Даже насчет жратвы не буду беспокоиться.

— Там тоже зима бывает,— сказал Митрохин.

— Где? У нас такого лета не бывает, какая там зима. Везет же людям. А как обогреюсь немножко, я, бичи, халабудку себе построю. Прямо на пляже. Ну, поближе к морю. В Гурзуфе.

Сергеа сказал:

— Алушта еще есть, получше твоего Гурзуфа.

— Не знаю. Я в Алуште не был. А Гурзуф — это хорошо, я там два месяца прожил. Только я там с бабой был и с пацанками, вот что хреново. Хату снимать, харч готовить. А одному — ничего мне не надо. Валяйся день целый брюхом к солнышку. И был бы я — Вася Буров из Гурзуфа.

— Так и писать тебе будем,— сказал Сергеа.— Васе Бурову в Гурзуф.

— Не надо писать. Вы лучше в гости ко мне приезжайте. Я всех приму, пляж-то большой. Я вам, так и быть, сообщу по-тихому, как меня там найти. Только бабе моей не говорите. А то она придет и опять меня в Атлантику загонит. А в Гурзуфе я прямо затаюсь, как мыша, нипочем она меня не разыщет. И будем мы там жить, бичи, без баб, без семей. А рыбу ловить — исключительно удочкой. Я там таких лобанов ловил закидушкой, на хлебушек. А барабулька! Копчененькая, а? Сколько наловим, столько и съедим. Здесь же, у костерочка.

— Это ты самую лучшую сказку сочинил,— сказал Митрохин.

Васька удивился:

— Почему же это сказка? Думаешь, люди так не живут?

— А разве не сказка? — сказал Сергеа.— Это как же, без баб? Без них не обойдется.

— А тогда все пропало. Нет, бичи. Уж как-нибудь своей малиной, одни мужики.

— Нет,— сказал Сергеа.— Все-таки нельзя, чтоб без баб. Баба — она самая главная ловушка, никуда от нее не денешься. И все мы это знаем. И все равно не минуем.

— Уж так ты без них не можешь?

— Я-то? Да хоть год. Это они без нас не смогут. Так что — разыщут, не волнуйся. Разобьют малину.

Васька вздохнул:

— Это точно. Поэтому-то, бичи, жизни у нас не получится. Ну, дней десять продержимся, а ради них ехать не стоит, лучше уж сразу и бабу с собой бери, и пацанок.

Мы помолчали, закурили еще по одной.

— Кого-то несет,— сказал Сергеа.

Старпома к нам принесло. Наверное, с вахты, хотя на самом-то деле вместо него там кеп заправлял с Жорой — уже и безрукавку свою мехо-

вую надел, и волосы примочил, и зачесал набок. Кандей пошел на камбуз за борщом. Старпом сидел, постукивал ложкой по столу и глядел на нас насмешливо. Отчего — непонятно.

— Ишь, расселись, курцы!

— А тебе-то что? — спросил Васька. — Мы свое дело сделали. Теперь ты нам не мешай, мы тебя не тронем.

— Да по мне хоть спите, хоть песни пойте.

Опять же — все с каким-то презрением, как будто это мы загубили пароход.

— Ну, как там, на мостике? — спросил Митрохин. — Что слышно?

— Все хотите знать?

— Я-то нет, — сказал Васька. — Я и так все знаю.

— Все, все знаешь?

— А что там? «SOS» дали, теперь подождем, чего мы из него высосем.

— Ну да, у тебя забота маленькая.

— А у тебя — побольше?

Старпом хмыкнул, принялся за борщ. Но при этом еще такую рожу делал — таинственную, значительную.

— Идет к нам кто-нибудь? — спросил Серега. — Хоть один пароходишко? Только ты не кривляйся. Мы тебя как человека спрашиваем.

Старпом покраснел до самых волос. Серега смотрел на него спокойно, даже как будто с жалостью.

— А какой бы ты хотел пароходишко?

— Опять ты кривляешься, — сказал Серега.

— Ну, база повернула. Доволен? Только ей, базе, знаешь, сколько до нас идти?

— А поближе никого нету?

— Ну, есть. Наш один и рижанин. Только им лагом к нам идти¹. Сам понимаешь.

Серега вздохнул.

— Понимаю. Лагом бы я и сам не пошел при такой погоде. Да уж как не повезет, так на все причины.

— А думаешь, мы одни такие невезучие? Иностранец вон еще бедствует, шотландец. Ему еще похуже, под самыми Фарерами болтается.

— Помогите ему бог, — сказал Васька. — Чего ж он, дурак, промышлял, в фиорде не спрятался?

— Вот не спрятался.

— А сколько ж все-таки ей идти? — спросил Митрохин. — Базе-то?

— Сколько, сколько! Семь верст — и все лесом.

— Опять ты за свое, — сказал Серега. — И что ты за пустырь, ей-богу. Человек тебя спрашивает, потому что жизнь от этого зависит. Он у тебя любую глупость может спросить, а ты ему обязан ответить, понял?

Старпом кинул ложку:

— Ну что привязались? Пожрать нельзя. Подите все у кепа спросите.

— А тебе он не отвечает? — спросил Васька.

Старпом встал, пошел к двери. Тут он как будто нашелся, что ответить Ваське, повернулся — и застыл с раскрытым ртом. Толчок был еле слышный, только зазвякали миски. И «юноша», который спал на лавке, вздрогнул и проснулся:

— А? Куда идти?

— Никуда, — сказал Васька. — Теперь уж все. Оборвали трос...

Старпом бухнул дверью, побежал.

¹ То есть бортом к волне.

— Да он и ненадежный был,— сказал Серега.— Трос-то.

Наверху затопали, заорали, и мы только успели докурить, как посыпалась тревога. Уже не водяная, а шлюпочная — длинный гудок, шесть коротких.

«Юноша» спронеся пошел за нами — как был, в тельняшке, в берете. Спихватился, стал напяливать малестинку.

— Ты озверел? — спросил Серега.— Так и в шлюпку сядешь? Поди рокан надень.

— А успею? Ребятки, я быстренько, я прямо мигом.

Кинулся в камбуз, где у него мешок висел и телогрейка. Напялил ее, а в мешок стал закидывать галеты, банки со сгущенкой. Телогрейка у него не застегивалась: все пуговицы были оборваны. Так, полосатый, и пошел за нами на ростры.

Там уже кто-то возился около шлюпок, стаскивал с них брезент. Старпом бегал в рокане и орал:

— Не эту! Другую! Кто же наветренную вываливает? Надо подветренную!..

Из-за шлюпки высунулась фигура, по голосу — дрефтер.

— А сам-то смыслишь — какая теперь с-под ветра?

Пароход разворачивало, вожак и сети его тянули.

— Ты на колдунчик посмогри!

— Сам ты колдунчик. Уйди, без тебя тошно.

— Скородумов, я на тебя управу найду!

— Вот, найди сперва. А покамест я буду командовать.

Снежный заряд перестал, луна блеснула в сизых лохмотьях, и море открылось до горизонта — черные валы с оловянными гребнями. Ветром их разбивало в пылищу. Пароход обрывался вниз, катился по ледяному склону, и новый вал выросал над мачтами. Не приведи бог видеть такое море. Лучше не смотреть, а делать хоть какое-то дело, пока еще душа жива, хоть что-то в ней теплится.

Мы налегли на шлюпбалки. Дрефтер с размаху навалился плечом, хрипел:

— Повело, ребята, повело!

Шлюпбалки скрипели, не поддавались, потом сами пошли с креном. Шлюпка вывалилась и закачалась. Волна прошла гребнем под нею и лизнула в днище.

— Стой! — кричал дрефтер.— Садись трое. Фалинь травы, фалинь!

— А где он, фалинь?

Трое уже перелезли в шлюпку и разбирали весла, а фалинь все не могли найти. Вдруг я увидел — Димка стоит спокойненько, держит его в руках.

— Он же у тебя, салага!

— Это и есть фалинь?

— Да он у него несрошенной! — Серега в темноте разглядел.

Я в это время держал шлюптал, обе руки у меня были заняты.

— Срашивай! — сказал я Димке.— Учили тебя.

— А чем?

— В боцманском ящике штерт возьми. Знаешь где?

Он метнулся куда-то. Я уже пожалел, что послал его. Но тут же он вернулся с бухточкой, и как раз такой толщины, как нужно.

— Брамшкотом вяжи.

Он скинул варежки, заложил под мышку.

— Брамшкот — это двойной шкот?

— Двойной. Только не спеши.

— Быстрей! — орал дрефтер.

Димка его не слушал. И правильно, фалинь наспех не сростишь, на нем всю шлюпку можно захоронить. И мне понравилось, что руки у него не дрожат. И он не торопится в шлюпку.

— Хорошо! — сказал я ему. — Я сам потраплю. Иди вниз.

— Зачем?

— Садиться — зачем.

— Вот так, как есть, без шмоток? — Он поглядел кругом. — Алик, ты где?

— Садись иди, Алик уже там небось!

На рострах осталось нас четверо, по двое на каждую шлюпталю. Эту, я знал, мы не для себя спускаем. Пока сойдем, там уже будет полно. А нам вторую вываливать, для «голубятника». И хорошо, подумал я, как раз будем с «дедом». Если что случится с нашей шлюпкой, мы все-таки вместе.

Дрифтер кричал снизу:

— Трави помалу. Майнай!

Мы потравили на метр, не больше, и — не вовремя. Как раз пароход вышел из крена и начал заваливаться на другой борт. И шлюпка с размаху стукнулась. Те, кто в ней был, попадали на дно. Но как будто никого не зашибло, никто не крикнул.

— Трави веселей, — орал дрифтер, — ничего! Не соломенная!

Вдруг я почувствовал, как ослабли лопаря. Это волна подхватила шлюпку. Теперь уже поздно в нее садиться, а нужно скорее отпихиваться — багром или веслом. А кто-то еще лез через планшир и не мог перелезть... Шлюпку приподняли и ударило об фальшборт с треском.

Мы навалились на шлюпталю, повели обратно. Шлюпка приподнялась, мы чувствовали ее тяжесть.

— Вылазь! — орал дрифтер. — Я удержу!

И правда удержал ее у планшира, пока все не вылезли, потом перескочил сам и отпихнул:

— Вир-рай!

Пока мы ее поднимали, она еще два раза треснулась. Весь борт у ней раскололся, от штевня до штевня, и сквозь трещину ливня текло. А сверху ее и не успело залить, я видел, это она все набрала днищем.

Мы ее поставили опять в киль-блок и закрепили концами лопарей. Но с таким же успехом ее можно было и выкинуть.

Пошли вниз. Старпом встал у нас на дороге:

— Куда? Почему шлюпку оставили?

Я шел первым. Я ему сказал:

— Успокойте шлюпку. Можно кандею отдать на растопку.

— Мореходы, сволочи! А ну — назад, вторую вываливать!

Я прошел мимо него.

— Кому говорю — назад!

«Рыбкин» шел за мною. Сказал ему:

— Вторую тоже успокоим. Даже полегче. Вторая-то — на ветру.

Мы уже до капа добрались, а тифон все ревел, звал на ростры.

В кубрике Шурка укладывал чемоданчик. Я сразу как-то почувствовал, что не вышло у них с машиной. И он тоже понял, что у нас не вышло со шлюпкой.

— Заварили? — спросил Серега.

Шурка закрыл чемоданчик и закинул его на койку.

— Трещина-то что, а вот три поршня прогорело, «дед» через форсунки прошупывал. Это не заваришь.

— Сколько там, девять осталось? — сказал Серега. — На них можно ийти.

— Далеко ли?

Тифон в кубрике все надрывался.

— Выруби его,— сказал Шурка.— Только расстраиивает.

Я подошел и сорвал провод.

— Вот так-то лучше.— Шурка почесал в затылке, опять потянул чемоданчик, достал из него карты.

Сергея сел против него за стол.

— Какой у нас счет? — спросил Шурка.— И в чью пользу, я что-то забыл?

— Сдавай!

Пришел Димка и сел в дверях на комингс. Смотрел, как они играют, приглаживал мокрую челку, и скулы у него темнели. Вдруг он сказал:

— Все-таки вы подонки, не обижайтесь. Я думал: вы хоть побарахтаетесь до конца. Еще что-то можно сделать, а вы уже кончились, на лопатках лежите.

Сергея сказал, глядя в карты:

— Плотик есть, на полатах. С веслами. Хочешь, мы тебе с Аликом его стащим? Может, вы, такие резвые, выгребете.

— Я разве о себе? Мне за вас обидно. Хоть бы вы паниковали, я уж не знаю...

— Это зачем? — спросил Шурка. Он поглядел на Ваську Бурова.— Мы с тобой плавали, когда сто пятый тонул?

— Ну!

— Так у них же лучше было. И нахлебали поменьше, и движок хоть не совсем скис. А все равно не выгребли. Об чем же нам беспокоиться?

— Не об чем, так ходи,— сказал Сергей.

— Отыгаться надеешься?— Шурка спросил злорадно.— Не отыграться.

— Просто слушать вас противно! — сказал Димка.

— А не слушай,— ответил Шурка.

Васька Буров вздохнул — долгим, горестным вздохом,— встал посреди кубрика, ни за что не держась, стащил промокший свитер, нижнюю рубашу. Он, верно, был когда-то силен, а теперь плечи у него обвисли, мускулы сделались, как веревки, когда они много раз порвались, а их снова сплеснивали. Васька обтерся полотенцем с наслаждением, как будто из речки вылез в июльский день, потом из чемоданчика вынул рубашу, сухую, глаженую, примерил на себя.

Димка на него глядел сощурился и скалился:

— Пардон, кажется, состоится обряд надевания белых рубаш? Не ожидал!

— Ох,— сказал Васька.— Белая, серая... лишь бы сухая. А у тебя что — своей нету? А то могу дать.

— О нет, спасибо.

Васька надел рубашу — она ему была чуть не до колен,— откинул одеяло и лег. Вытянулся блаженно. Димка встал с комингса, глядел на него, держась за косяк.

Васька сложил руки на груди, сплел пальцы:

— Бичи, кто закурит даст?

Шурка кинул ему пачку.

— Ох, бичи, до чего сладко! — Васька глотнул дыма и выдохнул медленно в подволок.— Я так думаю: мы носом приложимся. Это лучше, если носом. Никуда бежать не надо. Ни на какую палубу.

Димка сплюнул, пошел из кубрика, грохнул дверью.

А я смотрел на Васькино лицо, такое успокоенное, на Шурку с Сергеем, на четыре переборки, где все это с нами произойдет. Вон та, новосая, сразу разойдется — и хлынет это в трещину. Из двери еще можно

выскочить, но это если у двери и сидеть,— из койки не успеешь. Нет, нам не очень долго мучиться. Может быть, мы и подумать ни о чем не успеем. У берега волна швыряет сильнее, скала в обшивку входит, как в яичную скорлупу...

Так, я подумал, ну, а зачем все это, за что? В чем мы таком провинились?

Я даже засмеялся — со злости. Шурка с Серегой взглянули на меня — и снова в карты.

А разве не за что? — я подумал. Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам? Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. И это нам — за все, в чем мы на самом деле виноваты. Не перед кем-нибудь, перед самими собой.

В кубрике все темней становилось, уже, наверное, сидели там аккумуляторы, а Шурка с Серегой все играли, хотя уже и масть было трудно различить.

— Ничего,— сказал Шурка,— сейчас у тебя нос будет свечой, хоть совсем плафон вырубай.— Он скинул карту и спросил:— Васька, тебе кого жалко? Кроме матери, конечно.

Васька с закрытыми глазами ответил:

— Матери нет у меня. Пацанок жалко.

— Бабу не жалко?

— Не так. Да она-то мне не родная. Маялась со мной, так теперь облегчилось. А пацанки мне родные и любят меня. Вот с ними-то что будет?.. Но вы не спрашивайте меня, бичи. Я молча полежу, подумаю.

— А мне бабу жалко,— сказал Шурка.— Что она от меня видела? Только же записались — и уже лаем. Перед отходом и то поругались.

Сереге скинул карту и сказал:

— Ну, это по-доброму, это ревность.

— Да и не по-доброму тоже хватало... А тебе — кого?

— Многих,— Сереге ответил мрачно.— Всех не вспомнишь.

— А тебе, земля?

Кого же мне было жалко? Если мать не считать и сестренку. Корешей я особенных не нажил... Нинка, наверно, заплачет, когда узнает. Хоть у нас и все кончилось с Нинкой и, может быть, ей с тем скуластенкиным больше повезло — все равно заплачет, это она хорошо умеет. Вот Лиля еще погрузит. Но утешится быстро: я ведь ей ничего не сделал — ни хорошего, ни плохого. Клавке и то я больше сделал, нахамил, как мог... Чего-то мне вдруг вспомнилась Клавкина комната — какие-то подушечки вышитые, салфеточки, картинки из журналов веером по стене. И сама такая была уютная в халатике, милая, все так и загорелось у ней в руках, когда мы к ней вломились. Другая б выставила, а она мне еще стопку поднесла персонально, когда я на пол сел у батарее. Неладно все как получилось с Клавкой! Мне вдруг стыдно стало, так горячо стыдно, когда вспомнил, как она стояла передо мной на холоде с голыми локтями, грудью. Что, если она и вправду не виновата ни в чем? А если и виновата — никакие деньги не стоили, чтобы я так с нею говорил. Что же она про меня запомнит?..

— Девку мне одну жалко,— я сказал.— Обидел ее ни за что.

— Сильно обидел?

— Да хуже нельзя.

— Не простит она тебе?

— Не знаю. Может, и простит. Но забыть не забудет.

— А хорошая девка?

— И этого не знаю...

Я встал, пошел из кубрика.

Наверху, в капе, Алик выливал воду из сапога, Димка его держал за локоть. Я к ним поднялся. Димка взглянул на меня и оскалился:

— Тоже деятели, а? Ну, комики!

— Не надо,— попросил Алик.— Кончай.

— Что — у самого коленки дрожат?

— Ну, дальше? Что из этого?

— Ничего,— сказал Димка.— Как раз ничего, друг мой Алик. Все естественно. Когда есть личность — ей и должно быть страшно. У нее есть что терять.

— Кончай, говорю.

— Нет, но где же все-таки волки? Я думал, они будут спасаться на последнем обломке мачты.

— Ты погоди,— сказал я ему,— до обломков еще не дошло.

— Ах, еще нужно этого дожидаться?

Что мне было ему ответить? Я и сам так же думал, как он.

— С тобой это было уже? — спросил Алик меня.

— Ни разу.

— Поэтому ты и спокоен. Не веришь, да?

— Какая разница — верю я или нет. Чему быть, то и будет.

— А я все-таки до конца не верю.

— Счастлив ты. Так оно легче.

Его будто судорогой передернуло. Я пожалел, что сказал ему это. Ведь такое дитя еще, в смерть никак не поверит. Я-то вот — верю уже. Меня однажды в драке, в Североморске, пряжкой звезданули по голове — я только в госпитале и очнулся. И понял: вот так оно все и происходит. Мог бы и не проснуться. Смерть — это не когда засыпаешь, смерть — это когда не просыпаешься. Вот с тех пор я и верю.

— Идите в кубрик, ребята,— сказал я им.— Пока вас на палубу не выгнали, мой вам совет: падайте в камыши.

— Эту философию мы тоже знаем,— сказал Димка.— Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. А все само собой образуется?

— Конечно,— говорю.— Само собой.

Алик улыбнулся:

— Шеф, твои слова вселяют в нас уверенность.

— А для чего ж я стараюсь?

Пошли. Вот как просто, думаю, людей успокоить. Начни им доказывать, что мы потому-то и потому-то погибнуть не можем, они распросами замучают — как да что. А скажи им: «Авось пронесет» — и есть на чем душе успокоиться.

В капе вдруг посветлело — это, я понял, кто-то из рубки к нам идет и ему светят прожектором. Так и есть — в дождевике кто-то, в штурманском. Увидел меня, откинул капюшон. Жора-штурман.

— Выходить думаете?

— Выходили. Шлюпку одну успокоили. Теперь-то зачем?

Но он был настроен решительно. Еще не намок. А сухой мокрого тоже не разумеет.

— А ну пошли.

Шурка с Серегой в самый раж вошли, даже не посмотрели на Жору. Салаги только начали разуваться. А Васька все так и лежал с закрытыми глазами, пальцы сплетя на груди, но — не спал, что-то нашептывал.

Жора к нему первому подошел:

— Вставай.

Васька поглядел на него равнодушно, как бы сквозь него, и уставился в переборку.

— Тревогу для кого играли?

— Не знаю. Не для меня. Меня-то уже ничего не тревожит.

Тут Жора и увидел этот провод, который я сорвал.

— Хари ленивые! Себя уже спасать неохота! В могилу легче, чем на палубу?

Глаза у него и без того красные, как у кролика. А тут дикой кровью налились.

— Тебе бы автомат,— сказал Серега.— Ты б нас всех тут очередями, да?

Жора шагнул к нему, замахнулся. Серега начал бледнеть, но глаз не отвел. Жора его оставил, опять взялся за Ваську.

— Встанешь, скотина?

Взял его обеими руками за ворот и посадил в койку. А вернее, держал его на весу. Он сильный, Жора. Он бы мог его и к подволоку вздернуть, одной левой. Васька захрипел, ворот ему стянул горло.

Димка и Алик застыли молча. Вдруг Димка стал матовый, сказал, сжав зубы:

— Ну, если б мне так!..

Жора поглядел на него и кинул Ваську опять на койку.

— Можно и тебе.

Димка мотнул головой и весь сжался, стал в стойку — левую выставил вперед, а правой прикрыл челюсть. Но я-то чувствовал, чем это кончится. Жора на ринге не обучался. Но он обучался стоять на палубе в качку. И ни за что не держаться. Он не шатнулся, когда кубрик накренило. А Димка упал спиной на переборку, и от его стойки ничего не осталось.

Кинулся вперед Алик, выставил руку:

— Вы что? Опомнитесь!..

Я увидел — сейчас он будет бить их обоих. Он их будет бить страшно, в кровь, зубы полетят. И мы все вместе этого бугая не одолеем. Я шагнул Жоре наперерез и обеими руками толкнул в живот. Он не устоял и сел в койку. А я наклонился и взял в руку что потяжелее — сапог.

— С битьем ничего не выйдет,— сказал я Жоре.

Он сидел в койке — коленями чуть не к подбородку. Пока бы он встал, я бы успел ему всю рожу разбить сапогом. Да просто пальцем повалил бы обратно.

— Ладно,— сказал Жора.— Пусты.

Я бросил сапог. Он вылез, пошел к двери.

— Через пять минут не выйдете к шлюпке — всем, кто тут есть, по тридцать процентов срежу.

— Что так мало? — сказал Шурка.— Валяй все сто.

Васька вдруг всхлипнул. Глаза у него полны были слез. Шурка повернулся к нему:

— Ты чего, Вась? Не надо.

Васька утер слезы кулаком, а они от этого полились еще сильнее. Это невыносимо смотреть, как бородатый мужик плачет навзрыд. Тут и Жора смутился:

— Не скули, хрена ли я тебе сделал?

— Уйди. В гробу я тебя видел. Урод. Палач.

— Хватит,— сказал Жора.— Кончай, а то...

— Ну, бей, сволочь. Ударь лежачего.

— Ты встань,— Жора усмехнулся,— будешь стоячим.

— Не встану. Подохну здесь, а не встану. Зачем мне жить, когда такие твари живут, как ты...

Слезы Ваську совсем задушили.

— Уйди же, — сказал Серега. — Уйди по-доброму.

Жора оглядел нас всех и перестал усмехаться. Наверное, дошло и до него, что мы кончились, не поднять нас никакой силой.

Он вышиб кулаком дверь, пошел. Прошел половину трапа и крикнул:

— Шалай! Ну-к, выйди.

Я к нему поднялся.

— Ты все про свою судьбу понял? Тебе ж не плавать после этого, кончилась твоя карьера. После того, как ты руку на штурмана поднял. Не руку, а — сапог.

— На штурмана нельзя, — я сказал. — На матроса можно.

— Дурак, я жаловаться не пойду. Я тебя своими мерами калеккой сделаю на всю жизнь. В порту сочтемся, согласен?

— Хорошо бы еще доплыть до него.

— Что за плешь? Что вы все сопли распустили!

Дико мне было слышать, как человек других уговаривает, когда сам не верит ни на копейку. Он повернулся, чтобы идти, и снова встал.

— А не думаешь, Шалай, что вся эта плешь — с тебя началась? Своей вины тут не чувствуешь? Я, между прочим, не доложил никому, как ты кормовой отдал. Так ты бы, дурак, благодарность поимел. А ты мне не даешь людей поднять по тревоге. За такие вещи знаешь, что делают? Шлепают — и будь здоров.

— Жора, сети надо отдать.

— Прекрати! Ты за них не ответчик. — Вдруг он наклонился ко мне, к самому лицу: — А хочешь собой, так сказать, пожертвовать — валяй, руби вожак.

Я не ответил.

— Но не советую, — сказал Жора.

Он вынырнул, побежал по палубе, и свет в капе померк. Я сел на ступеньку. Да, так оно и выходит, что с меня началось. Если Фугле-фиорда не считать, где все решали. Вот в этом все дело, что все. Не на кого пальцем показать. Ну, ладно, пусть на меня. Тогда чего ж я сижу, ведь топор — тут, за капом, в ящике лежит. Раза четыре стукнуть по вожаку — вот и вся жертва. Должен же я что-то для людей сделать, если я же их, оказывается, и погубил.

Вдруг я увидел — Димка стоит внизу, тусклый свет падает на него из кубрика. Не знаю, сколько он там стоял. Может быть, он слышал наш разговор с Жорой.

Димка прикрыл аккуратно дверь, поднялся ко мне, сел рядом:

— Нужно все-таки что-то делать, шеф.

— Это и я думаю. Только, наверно, поздно.

— Шеф... Правда, что плотик есть на полатях?

— А ты не видел? Ну, он всегда поводцами завален. Белый такой, с красным.

— Он надувной?

— Плотик-то? Нет, железный. Пустотелый.

— Там двое смогут?

— Ну... Вообще-то он тузик.

— Ну и что — тузик?

— Одноместный, значит. Но двое тоже смогут. Хотя опасно.

— Утонет?

— Тесно в нем. Трудно грести. Ну, когда жить хочется... А что, решились вы с Аликом?

Он придвинулся ко мне.

— Шеф, послушай. Это не так безумно, как кажется... Два дня мы продержимся, а там нас подберут. Здесь же промысел, проезжая дорога. Ведь глупо же, пойми, ехать в открытый гроб. Ведь все уже лежат, лапами кверху. Только мы двое. Я это сейчас понял... Шеф, мы не умрем. Это я точно говорю, умирают же не от шторма, не от голода. Только от страха. Это доказано, шеф. Об этом книги написаны!. Но мы-то не трусы! Мы хоть побарахтаемся — для очистки совести.

Говорил он прямо как проповедник. Даже глаза у него светились. И я подумал: конечно же, можно. Можно и шлюпку вывалить вторую. Можно лютки сплести из кухтылей, плоты из бочек.

— Да если бы все, как вы,— сказал я ему.

— Шеф, пошли!

Он встал, потащил меня за рукав.

— Куда?

— Пошли сядем в плотик. Пока не поздно.

— Да там же только двое сядут.

— Шеф. Все умерли от страха. А человек жив, пока он хочет жить. Ведь ты хочешь? Если сейчас не рискнем...

— Понимаешь, я еще «деда» хочу вытащить. Я «деда» не брошу. И Шурку... И Серегу... И «маркони»...

— Им легче будет — с тобой заодно?

— Ну, как тебе объяснить? Да чего объяснять? Ты же Алика не бросишь?

Он не глядел на меня.

— Алика я спрашивал. Он не рискнет. Шеф, тут закон простой. В плотик садится, кто хочет. Двое — значит, двое. Иначе не спасается никто.

Он так печально это сказал, безнадежно. Мне даже жалко его стало, вот черт какой...

— Ну, послушай,— я его посадил рядом.— Ну, я тебе скину плотик. И ящик притащу шлюпочный. Там галеты, вода пресная, бинты. Попробуй один. Одному же легче в тузике. Два свитера наденешь под рокан: от холода еще умирают, не только от страха. Может быть, выгребешь. И кто тебя упрекнет, что ты жить хотел?

— Нет,— он заматал головой.— Один умирает. Это я знаю хорошо. Какие же мы все кретины! Какой я кретин!

— Да не убивайся ты, ей-богу. Если б ты по-настоящему хотел, поплыл бы и один.

— А ты?

— И я бы. Если б меня ничто не держало.

Он вздохнул.

— Нет. Ничего не выйдет.

Вышел Алик — в одних носках. Поднялся к нам.

— Ну что? — спросил беспечным голосом.— Не решаетесь, викингги?

— Ты береги тепло,— я ему посоветовал.— Без сапог не ходи, с ног все и начинается.

— Иди спать, Алик,— сказал Димка.— Пойдем и мы ляжем. Лапами кверху.

Алик его проводил глазами и сказал мне:

¹ Дима, очевидно, имеет в виду известные слова Алена Бомбара, заключающие его книгу: «Жертвы легендарных кораблекрушений, умершие преждевременно! Я знаю, зас убило не море. Вас убил не голод. Вас убил не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

— Шеф, если тут дело во мне, то я — пас. Это действительно так. Мы договорились.

Я взялся за голову.

— Не могу я вас понять. Не могу, и всё. Как это так можно договориваться?

— Тут простой расчет, шеф. Простой и трезвый.

— Иди к богу в рай! Уйди. Я вас обоих знать не хочу.

— Зачем же злиться? На кого, шеф?

— На себя одного.

— А мы при чем?

— Оба вы такие хорошие — сил моих нет!

Я взялся за поручень, поднялся, пошел вверх. Вдруг сорвался, полетел назад затылком, но чудом вывернулся, звериным каким-то рывком. Сердце у меня чуть не выпрыгивало.

Дрифтерский ящик я легко нашарил, но пока топор искал в темноте, среди всякого барахла, мне все лицо искололо снегом. Я прижал топор к груди, вытер лицо, а все не решался идти дальше, на полубак. Его и не видно было, полубака,— сплошная белая мгла и рев. Но я-то должен был его рубить, мой вожачок. То есть не самый вожак, пеньку-то что стоит перерубить, а плетеный стояночный трос, из стальной жилы. Он и убить может. Ну, ладно, я подумал, это все-таки мое дело вожачовое, никто за меня его не сделает. Вот разве помог бы кто.

Я увидел — Алик выглядывает, жметесь от холода.

— Пойди,— говорю,— к лебедке, ты все равно намок. Стопор ты знаешь, как отдать. А я рубану на кипе.

— А кто это приказал?

— Э, кто приказал!

Я пошел, как слепой, нашарил трос и потом — по нему, плечом вперед. Натянут он был, как штанга, и когда я добрался до киповой планки и ударил, топор отскочил, как резиновый. А на тросе — я пощупал — и следа не осталось от удара.

— Давай помогу.

Я оглянулся — Алик стоял у меня за спиной, весь облепленный, лицо в снегу.

— Отвались!

— Ну, что злишься? Давай вместе. Чем тебе помочь?

— Иди в кап, убьет же концом!

— А тебя?

— Ты смоешься?

Волна нас накрыла обоих, только я успел пригнуться под планшир, а его потащило, только носки его замелькали. И, представьте, он вскочил и снова начал ко мне подбираться. Ладно, мне не до него было.

По две, по три жилки рвались после каждого удара, и трос звенел, как мандолина, отбрасывал топор, будто живой. А часто и по планширу попадало или по кипе. Но я озверел уже, рубил, как заведенный. Он делался все тоньше, готов уже был лопнуть, и я оглянулся — нет ли кого на палубе. Алик стоял у капа, прижавшись.

— Полундра от вожака!

Одной рукой я подобрал полу телогрейки и накрыл голову, а другой рубил.

Полубак пошел вверх, и трос заскрежетал на кипе — я поостерегся его рубить,— но тут-то он и лопнул сам. Я не видел, как он хлестнул в воздухе, но по капу удар был, как будто клепальным молотом. А от капа — меня по плечу! Я завалился и поехал к трюму. Там только вскочил на ноги. А топора как не было.

Алик стоял на том же месте, держался за поручень. Как его только не задело? Счастливая же у салаги судьба!

— Вот и вся любовь! — сказал я ему почти весело.

Он смотрел на меня молча.

— Пошли.

Я его потащил за собой в кап. Он все смотрел на меня. А я смотрел на рубку, хотел разглядеть стекла.

— Там ничего не слышали, — сказал Алик. — Никто не выглянул.

— Услышат.

— И что тебе за это?

— Как что? Сознательная порча судового имущества. Годков десять, наверно. Ты бы мне сколько дал?

— Никто же не видел.

— А ты?

— Я тоже не видел.

Ах, какой хороший был мальчик! Как он мне нравился!

— Что же ты хочешь? — я спросил. — Чтоб кепка за них разжаловали? Или у всей команды бы вычитали?

— А сколько они стоят?

— Сто тысяч. Хоть видал когда-нибудь столько?

— Новыми?

— Настоящими. Золотом.

— Но он же сам мог порваться.

— Мог бы. Но не порвался. И на планшире от топора след.

— Что ж теперь делать?

— Спать. Или жизнь спасать. Только я думаю — все равно поздно.

В кубрике все почему-то посмотрели на меня. Но никто слова не сказал. Я скинул телогрейку и увидел — все плечо у нее располосовано, вата торчит наружу. Я ее кинул на пол, сел на нее, прислонился к переборке. Плечо еще только начинало разгораться, хоть первая боль и схлынула.

— Знобит, земля? — Шурка поднялся, своей телогрейкой, такой же вымокшей, укрыл мне спину. — Ну-ка, уберем тут.

Он скинул все с камелька, чтоб я мог прислониться, но трубы были чуть теплые. Но, может, даже лучше к холодному прижаться? Я закрыл глаза, стал уговаривать плечо, чтобы утихло. Иногда помогает. Шурка опять отсел к Сереге — играть.

Не знаю, какое дело я сделал — доброе или злое. Но я его сделал.

Вдруг Митрохин — он рядом со мной сидел на полу — спросил испуганно:

— Что это, ребята?

Я открыл глаза. Свет начал меркнуть. Волосок в лампочке был чуть розовый.

— Ребята, — сказал Митрохин, — это ж конец!

— Не блажи, — сказал Шурка. — «Дед» всю энергию на откачку пустил. Или на стартер копит.

— Нет, ребята, — Митрохин заматал головой. — Я тоже все верил, что не конец. Нет, нет! Все уже, ребята, гибнем!

Он забился, как в припадке. А может, это и был припадок: он ведь какой-то чокнутый. Шурка с Серегой кинулись к нему, схватили за руки. Он с такой силой вырывался, что они вдвоем не могли удержать.

— Ребята, я ж во всем виноват! Я вас тогда всех погубил. Из-за меня же вы в порт не пошли. Ребята, простите. Можете вы меня простить?

Он мне попал по больному плечу, я чуть не взвыл, толкнул его ногой.

— Молчал бы теперь, сволочь...

Он еще сильнее забился. Кричал что-то через слезы, слов нельзя было разобрать.

— Свяжите его, ребята,— попросил Васька.— Я с ума сойду.

Шурка зажал Митрохину рот, и он вдруг присмирел, только мычал тихонько. Они его подняли, перенесли на койку.

— Глаза ему закройте,— сказал Васька.— Он же не спит никогда.

— Спит,— сказал Серега.— С открытыми-то он и спит.

А свет совсем погас. И слышно было только волну и жалобный стон всего судна.

Я опять прислонился спиной к батарее и закрыл глаза.

6

Не рассказывал я вам про китенка?

Все-таки я, наверно, заснул, а в шторм всегда плохое снится. Я многих расспрашивал — на одного дома рушатся, и кругом разбитые головы, сломанные руки торчат из-под камней, кровь вперемежку со щепнем; другой — от змей не может избавиться, они по всей комнате ползают, некуда ступить; еще кто-нибудь голым себя видит — на улице, где полно людей. А мне — всегда снится снежное поле.

Я по нему бреду один, а вокруг намело сугробов, и меня самого заметает снегом. И вдруг мне кажется, что ведь эти сугробы — засыпанные люди, я только что с ними рядом шел, через метель, мы из одной фляжки отпивали по очереди, отогревались спиртом. И вот они все замерзли, только я один бреду еще, но и меня сейчас заметет. И меня ужас охватывает, хочу я их всех оторвать, разгребаю снег руками — вот уже чью-то руку нащупал, холодную, вот чью-то голову. А меня всего леденит, и снег набивается в глаза, в рот и опять засыпает тех, кого я только что отрыл. Я уже из сил выбился, и меня тоже всего засыпало, и наваливается сон — такой, что я веки приподнять не могу. На минуту мне даже хорошо делается, тепло, но я-то ведь знаю — вот так и замерзают в степи, надо себя пересилить, выбиться из-под снега. И сколько я ни рвусь — все попадаю то локтем, то коленкой в мертвые животы, в мертвые лица, как будто в мешки с камнями...

Вот тут я просыпаюсь, и так мне нехорошо, и я думаю: о чем бы вспомнить мне, чтоб страшный этот сон развеялся? Хоть бы о какой-нибудь твари живой, которая только радость доставила и ничего другого. Вот про китенка, например, это самое лучшее. Я бы хотел его увидеть во сне. Но ни разу он мне не приснился.

Не знаю уж, как это вышло, что он к нам в сети попал; киты ведь у нас селедку не выедают, как акулы. А этот-то совсем был молочный. Может быть, он мамашу свою потерял, обезумел со страху и носился туда-сюда по морю — пока не напоролся на наш порядок. Запутался, рваться стал и еще больше наматал на себя сетей. Да не одних сетей, а поводцов еще и вожака.

И вот под утро вахтенный штурман прибегает в кубрик: «Ребята, сети выбирать. Срочно!» А что за срочность такая, что час докемарить не даешь? «Да нечисть какая-то попалась, пароход шатает!» Мы прислушались — и правда дергается пароход. Ну что — пошли, вытрясли сколько-то там сетей, подвирали эту нечисть к борту. Оказалось — синий китенок попался, вот и вся-то нечисть, но правда — редкость большая, их уже всех почти выбили. Ну, ладно, а что же с ним делать? Обрезаться от него, выкинуть метров двести порядка? Но жалко всем: ведь погибнет китенок, он же весь спеленутый, плавником не пошевелит. А на нем тоже не разрежешь путы, это водолазов нужно звать, да

к нему и подплыть опасно, убьет и не заметит. «Давай на палубу вывирывать,— кеп приказал.— Что еще остается?»

Один шпиль не взял, врубили еще стояночную лебедку и еще «сушилку», которая между мачтами растянута, на ней мы сети сушим, и сѣтевыборка его тащила. В общем, все машинки, какие только есть на пароходе. Кто-то даже якорный брашпиль предложил приспособить, но побоялись цепью китенка покалечить. Да мы и так его вытащили — и машинками и руками тащили за подбору — сперва хвост, потом все остальное. Молочный-то он молочный, но зверь будь здоров, хвост у него с одного борта свешивался, а головой он лежал на другом. Сети мы на нем обрезали, растащили, а он себе полеживал, иногда лишь подрагивал кожей. Да мы сказали — подрагивал, от этого все лучины скрипели на трюме. Кто-то догадался — поливать его забортной водой, чтоб шкура не сохла, специально вахтенного к нему приставили. И китенок совсем успокоился, только посвистывал дыхалом. Красивых он был цветов — сверху черно-синий, а к брюху постепенно светлел. И что удивительно — все твари в море холодные, а к нему прикоснешься — как будто лошадь гладишь по морде, возле ноздрей.

Но что ж теперь делать с ним? Распеленали, а как обратно стащить в море? Это надо стрелу иметь с вылетом за борт, а такой на СРТ нет. Все работы на пароходе прекратились, рыбу не ищем, сетей не мечем: палуба китенком занята. И не пройти никак, не перепрыгнуть. Пытались через него лазить, но он от этого начинал беситься, сбрасывал с себя людей. Пришлось боцману из досок трап сколотить, и мы по нему бегали через китенка — из кубрика в салон, из салона в кубрик. Тут кто-то мысль поддал: «А давайте его на базу вместо селедки сдадим, в нем же тонн восемь будет весу. Он нам план порушил, он же нам его и выполнит. Все равно без базы мы его не смайнаем».

А уже на всех судах заметили, что мы китенка везем, то и дело нашего «маркони» запрашивают: «Куда тащите кита? В этом возрасте охота на них запрещена, конвенции не знаете?» Насчет конвенции мы как-то не учли. Ну, мы же не китобои, дела с ней не имели. Кеп сразу расстроился: «Выловил кита на свою голову». Но делать-то нечего, все равно к базе идти — у нее машины, у нее стрелы. Чем ближе к базе, тем больше вокруг нас собиралось норвежцев, французов, англичан, фарерцев. Штук восемьдесят судов за нами увязалось, все про свою селедку забыли, один китенок и беспокоит. А он — полеживает и посвистывает, не знает ни про какую конвенцию. Когда уже подходили к базе, наперез нам вышел норвежский крейсер и три вертолета висели в небе — наверно, фотографировали нас с воздуха.

С крейсера приказали нам:

- Немедленно выпустите кита в море.
- Только об этом и мечтаем. Да снять не можем.
- Как же он оказался на борту?
- Сами удивляемся!

Я помню это утро, когда мы пришвартовались. Штиль был полнейший, ветер едва шевелил флажки на мачтах; синее небо, синяя вода, солнце — как в июле в Крыму. И все море — в судах, всех флагов суда, всех цветов, а в небе еще висели вертолеты. С базы нам подали шкентель, и мы китенка рифовым узлом обвязали за хвост. Крейсер нам еще посоветовал мешковину подложить, чтоб не поранить ему шкуру. И стрела его потащила в небо.

Тут он проснулся, китенок, стал рваться, весь извивался в петле. А мы под ним быстренько отшвартовывались и отходили, очищали море. Потом с базы отдали риф, и китенок наш сиганул в воду. Тут же вы-

нырнул, взметнул хвостом, всплеск нам устроил — выше клотика. И ушел — на глубину. И что тут такое сделалось — «ура» на всех парходах, гудки, ракеты, ракеты полетели в небо!

Этот день был как праздник, честно вам говорю. Он и сам был хороший — такой синий и солнечный. И китенок был хороший. И мы все тогда были людьми.

7

Фонарь мне светил в лицо. Я зажмурился, отвел его рукой. Может, и этот мне приснился — маленький, в дождевике, в островерхом капюшоне.

— Мертвый час! А кто вахту стоять будет?

Я по голосу узнал третьего.

— Буров у вас где спит?

— Зачем он тебе?

— «Зачем». Вопросыки задаешь. На руль!

Я протер глаза кулаком.

— Какой может быть руль? У нас хода нет.

— Ты что? Спишь? Или ушки болят?

Я прислушался — и вправду что-то переменялось. Мелко стучит брошенная дверь. Чей-то сапог от вибрации ползает по полу.

— Починил «дед» машину?

— Кашляет. Все равно не выгребает. Так где артельный?

— Зачем же его будить, если я не сплю?

— А он что — больной?

— Не все тебе равно? — Я встал на ноги.

— Список есть, понял? Дисциплинка должна быть. Тогда все в норме, таких бардаков не бывает. Ну, хочешь — иди.

В капе стало слышнее: машина стучит с переборами, как будто вот-вот смолкнет. Чуф, чуф, чшш... Чуф, чуф, чшш...

— Тоже мне работа! — сказал третий. — Смех! — Он вынырнул в темноту, потом вернулся. — Э, ты не спишь? Мне за тобой второй раз идти охоты мало.

— Иду.

— Так и пойдешь в телогрейке? А курточка где?

— Пропала.

— Ну и дурак. Я говорил: махнемся. У меня б не пропала.

Я пошел за ним. Спросонья на его дождевик ориентировался. Сам он был легонький, как мартышка, от волны увертывался лихо, подскакивал, как на пружинке. Мы добрались до кухтыльника, вскарабкались по сетке на крыло. Дверь меня толкнула в спину — я полрубки пролетел и повис на штурвале. Потом огляделся — здесь еще кеп был, Жора-штурман и Граков. В радиорубке сидел «маркони» с наушниками, бормотал в микрофон:

— База, я восемьсот пятнадцатый... Как слышите, база?..

Я взялся за шпаги и навалился на штурвал грудью, а ноги расставил пошире. И тогда уже доложился по форме:

— Матрос Шалай. Разрешите заступить?

— Заступил уже, — сказал кеп. — Почему не Буров? Заболел, что ли?

Жора-штурман вместо меня ответил:

— Знаю я, чем он болен. И чем это лечат, тоже знаю. Ну стой, раз вызвался.

Кеп встал у телеграфа, подвигал рукояткой.

— Руль право клади, — сказал мне. — Право на борт. Не стой лагом.

— Есть.— Я положил руля до отказа. Без хода он совсем легко перекладывался.— Право на борту!

Кеп хмыкнул:

— Не разучился.

— Удивительно,— сказал Граков.— Как они у тебя вообще не разучились на вахту ходить.

Кеп не ответил, вынул свисток из переговорной трубы, которая в машину, и дунул. Там, внизу, свистнуло. Но никто не подошел.

Кеп заткнул трубу.

— Вымерли они там, что ли?..

Дверь распахнулась, кто-то ввалился и встал у крайнего окна, расставив ноги. Я покосился — «дед» обтирал руки ветошью и смотрел в стекло, заляпанное снегом и пеной.

— Что скажешь? — спросил кеп.

«Дед» ответил, не повернув головы:

— Твое теперь слово.

— А ход где?

— Пожалуйста.

«Дед» взялся за трубу, свистнул в нее. Там подошли:

— Второй механик слушает.

«Дед» снова встал у окна.

— Алё! — сказали внизу.— Слушаю.

— Скажите на милость! — Кеп подошел к трубе.— Ну, давай там, подкинь оборотиков. Средним хоть можешь?

«Дед» сказал, не поворачиваясь:

— Средним я ему запретил. Малым может.

— Зачем чинили, спрашивается? Если б ты его не остановил тогда, мы бы уже с базой встретились. Скажешь, опять глупости говорю?

— Опять говоришь.

Кеп вздохнул.

— Ты хоть перед матросом меня не порочь.— Он сказал в трубу: — Малым давай назад.

Шпаги мне надавили на ладони. Качка переменялась, пароход приводился кормой к волне.

— За малый тоже тебе спасибо, Сергей Андреич,— сказал Граков.— Теперь хоть шлюпку можно вывести с-на ветра.

— Шлюпка-то одна теперь? — спросил «дед».— Так... А кто же в нее сядет? Граков, кого посадишь в нее?

— Не понимаю вопроса. Есть инструкция, кому в первую очередь.

— Положено — пассажиров.

Граков сказал, усмехаясь:

— Ну, пассажиров-то, собственно, я один. Могу уступить свою очередь.

— Очередь или шлюпку?

— Сергей Андреич, по-моему, ясней ясного: в первую очередь люди постарше. Ну, а помоложе используют другие плавсредства. Что же делать?

— Ничего,— сказал «дед».— Я к тому, что и молодым жить хочется.

Граков развел руками. Одной верней, другой-то он за петлю на окне держался.

— Ну, не будем предаваться унынию. Насколько я знаю, опыт говорит другое. Люди по несколько часов держались. Кстати, и твой собственный опыт, Сергей Андреич.

— Ну, мне-то легче было,— сказал «дед».— Мне все-таки немцы помогли, ты же знаешь.

— Бросьте вы,— кеп вмешался.— Нашли время счеты сводить.

— Какие счеты, Петр Николаич? Просто Сергею Андреичу угодно подозревать меня, так сказать, в личной грюсти.

— А я не подозреваю,— сказал «дед».— Я это просто наблюдаю визуально.

Граков помолчал и сказал с грустью:

— Николаич, ты, прости меня, здесь хозяин, в рубке. Так что прошу вмешаться. И, может быть, кое-кого удалить. Не обязательно меня. В данном случае мою власть можешь не учитывать. Одного из нас. Это уж на твой выбор.

— Да бросьте вы... Тут без вас голова пухнет!

— Нет уж, Николаич, решай.

Кеп засопел, заходил по рубке от двери до двери.

— Так что? — спросил Граков.

— А ну вас...— Кеп взялся за голову.— Ну, Сергей Андреич, ну будь ты помирнее, ей-богу.

— Так,— сказал Граков.— Одному из нас предложено быть помирнее. Следовательно, удалиться нужно другому. Именно мне. Спасибо, Николаич, добро.

Он пошел из рубки. Но дверью не хлопнул, как я ожидал. Наоборот, очень даже вежливо прикрыл.

«Дед» повернулся от окна.

— Николаич, можно ли так себя терять, как ты потерял? Зачем ты шлюпочную пробил, когда судно еще на плаву и его спасти нужно и на нем спастись?

— Что хочешь сказать? Я людям губитель?

— Себе прежде. Ну, и людям тоже. Ты не подумал, что тебя с ними захлестнуть может, в такую погоду. А ты подумал, что тебе выгоднее все судно потерять вместе с сетями, чем одни сети. Тогда бы тебя не судили — ты команду спасал. А так, поди, и засудят — за то, что выметал перед штормом. Не знаю, сам ты до этого додумался или кто посоветовал... Я твоё положение понимаю. Но уж коли попал между двумя страхами, так хоть выбирай, который побольше! И уж его одного бойся.

Кеп походил молча по рубке, встал у меня за спиной.

— Так и будешь держать право на борту? Одерживай.

Я отпустил штурвал, и он сам раскрутился. Я не удержал его локтем, навалился грудью, едва поймал его за шпаги.

— Поберегись, рулевой,— сказал «дед».— При заднем ходе и руки поломать может... Оно, конечно, лучше бы носом пойти, как люди ходят, да сети жалко бросить.

— Насчет сетей,— сказал кеп,— дебатов не будем разводить.

Опять он заходил от двери к двери. Прямо как тигр по клетке. Нервировал он меня здорово.

В переговорной трубе свистнуло — из его каюты. Кеп вынул свисток, приложился ухом. Труба ему что-то вещала раскатисто, с дребезгом.

— Добро,— кеп заткнул трубу.— Напоминает — глубину смерить. Нужны мне его напоминания. Ну-к, смерть-ка там.

Третий зашел в штурманскую. Запищал эхолот.

— Тридцать пять. Даже меньше.

— Скоро вожак начнет задевать,— сказал кеп.— Может, он удержит?

— Такого еще в мировой практике не было,— сказал «дед».— Так мы, глядишь, и в новаторы выйдем.

Мы смотрели молча в черные окна. Колко звенел об них снег, потом его смывало пеной.

Вдруг запищал передатчик, и «маркони» быстренько забормотал:

— База, база, я восемьсот пятнадцатый, вас слушаю.

— Как себя чувствуете, восемьсот пятнадцатый? — спросила база.

Кеп кинулся в радиорубку, схватил микрофон.

— На вас надеемся. Куда вы там делись?

— С буксирами тут поговорили. Два буксира спасательных к вам идут из Северного моря. «Отчаянный» и «Молодой». Не исключено, что они раньше нас подойдут.

— Исключено,— сказал кеп.— Знаю я эти калоши, «Отчаянный» и «Молодой». Мы все же на вас надеемся.

— Идем полным ходом. Вы тоже там двигайтесь веселее. Как слышите?

— Слышим-то хорошо. Двигаться не можем.

— Что с машиной? Не удалось починить?

— Да починили. Только не выгребаем.

— Не понимаю.

— Чуть только тормозимся. Что тут не понимать.

— Дайте максимальные обороты. Как слышите?

— Нет у нас максимальных. Малым идем.

— Ясно,— сказала база.— Ясно.

— Тут еще сети,— сказал кеп.— Сети нас тащат.

Там помолчали.

— При чем тут сети? Они у вас за бортом?

— В том-то и дело. И поводцы «нулевые».

— Почему метали? Было же штормовое предупреждение?

Кеп вздохнул.

— Слышали предупреждение. Да не всегда же они сбываются...

Ну, рискнули. Пожадничали. Теперь-то что делать?

— Двигайтесь встречным курсом. Как слышите?

— А сети?

— Двигайтесь встречным курсом. Насчет сетей решайте.

Послышался треск, все в нем пропало, слов не различить. Кеп пождал и вышел в ходовую.

Но база опять к нам пробилась:

— ...сот пятнадцатый ...ая глубина под килем? Глубину сообщите.

«Маркони» ей ответил.

— Ясно,— сказала база.— Ясно. Да, с сетями надо решать.— И пропала.

— Вот и решай,— сказал кеп.— Сами-то и совета не дадут.

«Дед» к нему повернулся от окна:

— Не это надо тебе решать. И база не о сетях твоих думает. Сейчас у тебя под килем тридцать пять. Скоро двадцать будет. База туда не пойдет.

— На двадцать — пойдет.

— Не уверен. Учти еще волну.

Кеп встал у меня за спиной:

— Рыскает он у тебя. Точней на курсе.

— Есть.

Он отошел. В рации у «маркони» завывало, попискивало, потом прозвалось:

— ...сот пятнадцатый... ак слышите? — и пропало, запищала чья-то морзянка. Кеп даже не успел добежать.

— Что там у тебя?

— Да этот же плачет,— сказал «маркони».— Шотландец.

— Опять? Вот уж не вовремя.

— Почему? Как раз время.

Я повернул голову, посмотрел на часы — у него над столом. Было без четверти три, большая стрелка пришла в красный сектор.

Началась первая минута молчания.

8

— Ну, послушай, если охота, — сказал кеп. — Нам тоже поведай. Морзянка еле прослушивалась.

— Не удалось ему движок запустить, — сказал «маркони». — Сносит.

Кеп повернулся ко мне. Я думал — он опять придерется, и завертел штурвалом.

— Помнишь его? «Герл Пегги».

Я удивился — не забыл он, кто тогда на руле стоял. Я-то думал — он лиц наших не различает.

— Помню.

Я-то помнил, как он прошел справа, синенький и белоснежный, чистенький, как со стапеля, и обошел, как стоячих, и как вышел из камбуза повар, выплеснул ведро помоев — у нас перед носом.

— Грубиян, — сказал кеп. — Ну... ему тоже хреново. Какие его-то координаты сейчас?

«Маркони» сказал ему. Третий ушел в штурманскую, зашелестел картой.

— Ого! Совсем труба. Килем, наверно, чешет по грунту.

— Он уж небось и скалы видит, — сказал кеп.

— Пока не видит. Скоро увидит. — Третий вышел в ходовую, сказал «маркони»: — Спроси его, видит он Фареры?

— И не вздумай, — сказал кеп. — Не вступай с ним.

— Да я и не могу, — ответил «маркони». — Это надо шибко грамотным быть, английский знать. Я только на жаргоне.

— И на жаргоне не нужно. Да, хорош у нас радист, английского не знает.

— Вы мне подскажите.

— Ладно, — кеп вздохнул. — Слезай с этой волны, с шестисот. Базу поищи. Все равно мы ему не поможем.

— Сейчас... Еще две минуты.

Я опять посмотрел на часы — стрелка еще была в красном секторе. Пошла вторая минута молчания.

— Да что толку, — сказал кеп.

«Маркони» не ответил, заработал ключом.

— Что ты ему там передаешь? Я тебе сказал: не вступай с ним.

— Я не с ним. Я с берегашами. Может, они его так и не услышали. У нас-то помощней рация.

— Ну, валяй, черт с ним. Поможем, чем можем.

— Тише, — попросил «маркони».

Кто-то заговорил в эфире — прямо изумительный был голос, бархатный, рокочущий.

— Понимаешь что-нибудь? — спросил кеп.

— Так... С пятого на десятое. Он сейчас по-русски скажет.

Но по-русски уже не мужчина говорил, а женщина. С чуть заметным акцентом, только сильно картавила. Но слышно было, как будто она тут с нами стояла, в рубке:

— Всем, всем. Береговая радиостанция Ютландского полуострова просит слушать море. Всем судам, плавающим в Северной Атлантике и стоящим на приколе в портах континента и островов. Вертолетам береговой охраны и патрульной службы спасения. Двое просят о помощи —

русский и шотландец. Их несет волною и ветром на Фарерские скалы. Примите их координаты...

- Третий вдруг сказал:
 — Правильный бабец. Эмигрантка, наверно.
 — Все б тебе про бабцов,— сказал Жора.— Нашел времечко.
 — Это я так. Про себя.
 — И держи при себе.

Женщина умолкла. Я опять посмотрел на часы. Пошла третья минута молчания.

- Что-то никто не откликается,— сказал кеп.
 — А что откликаться? — спросил Жора.— У всех карты есть.
 — Да,— сказал кеп.— И забрался же он... Где никого нету. Одни мы болтаемся.

Стрелка на часах вышла из красного сектора.
 — Слезай,— сказал кеп.— Ищи базу.

«Маркони» опять нащупал базу, послышалось:
 — Восемьсот пятнадцатый, как дела?..

Но тут же морзянка стала ее забивать. Зацокала, рассыпалась, как соловьиная трель.

- Во чудик,— сказал «маркони». — И сюда всунулся.
 — Кто?
 — Да он же. «Герл Пегги».

Кеп удивился:

- Как же он эту волну нашел? Скажи, какой шустрый!
 — Жить хочется,— сказал Жора.— Будешь тут шустрым.

Слов за морзянкой нельзя было различить. Потом и база начала переговариваться с шотландцем — тоже ключом.

- Что они там ему? — спросил кеп.
 — Да то же, что и нам. Просят идти навстречу.

Свистнуло в переговорной трубе — из кеповой каюты. Кеп приложился ухом.

— Нет пока связи,— сказал в трубу.— Тут еще этот забивает, любитель морских ванн. С базой ему удалось связаться. Ну, пусть поговорит... — Он заткнул трубу свистком.

«Дед» вдруг повернулся к нему:

- Ну что, Николаич? Самое время теперь обрезать.
 — Ты все про одно. Заладил. Может, мы их еще и выручим, сети.

Что-то у меня как-то надежда появилась.

— С чего бы? Оттого, что другим похуже?.. — «Дед» вдруг рассердился.— Не понимаю я! Который час он тебе «сосит», а у тебя все голова за сети болит!

Кеп встал посреди рубки:

- Кто из нас не в уме? Скажи мне, Бабилов.
 — Да кто же, если не ты? Моряк мне нашелся!..

— Капитан этого судна,— сказал кеп торжественно,— если надо, всегда помогал. Но когда у него ход был! И корпус не дырявый! А сейчас меня никто не осудит.

— Николаич,— сказал «дед». — Ты же позора не оберешься. Если ты сети выручишь, а людей — оставишь. На всю жизнь позора. Зачем тебе такая жизнь?

Кеп вдруг заорал на него:

- Ну где у меня ход? Ты мне его дал?
 — Ход у тебя есть. Спуститься нужно по волне. Тебя к нему ветром принесет.

— А потом что? Тем же ветром — да об скалу! В фиорды ж теперь не пробьешься.

— Николаич, об этом потом и думают. А сначала — спасают.

— Позора не оберешься! — опять заорал кеп. Он стащил шапку и стал перед «дедом», на голову ниже его. — Да у меня лысина во какая, видал? К ней уж ничего не пристанет!

— Что же ты кричишь? Я вижу плохо, но не глухой еще.

— Я не кричу!

— Кричишь. Ты себя не слышишь. А в рубке не кричат. А командуют.

Кеп спросил тихо:

— Что я, по-твоему, должен скомандовать? Что я скажу экипажу? Идем за компанию погибать?

«Дед» молча на него смотрел.

Кеп себя постучал по лысине. Потом надел шапку.

— А чего? — вдруг спросил третий. — Парус поставим и рванем! Надо — резко! Моряки мы или не моряки?

— Ты помолчи, — сказал кеп. — Если на то пошло, «поцелуй» на твоей вахте случился... Ты это помни.

— Где ж на моей?

— Помолчи, — сказал Жора.

Третий закутался в доху с носом и засопел.

— Семеро их, — сказал «маркони». — Роковое, говорят, число. Мотоботик, поди. С автомобильным движком.

Кеп подошел к радиорубке.

— Ты что там с ним перестукиваешься? А базу не ищешь.

— Он же с ней на одной волне работает.

— Ты тоже ему чего-то стучишь, я слышу.

— Уже нет.

— Позывные свои небось сообщил ему?

— А как же не назваться? — спросил «маркони». — Он бы мне и координаты не сообщил.

— Вот он теперь в журнальчике и запишет: восемьсот пятнадцатый от меня «SOS» принял. А не пришел. На кой ты с ним связался? Мог же ты его не услышать.

«Маркони» к нему повернулся вместе со стулом:

— Но мы же его услышали.

— Сами полные штаны нахлебали. Имеем право не принимать.

— Но мы же его приняли!

Кеп не ответил, отошел. В трубе опять свистнуло.

— Нету, нету связи, — сказал кеп в трубу. — Да и чего людям надоедать. Делают, что могут... Да я не нервничаю. Это тут некоторые... Шотландцу вот хотят помогать... Я и говорю: ополоумели.

«Дед» вдруг шагнул к нему, отодвинул, сграбастал трубу обеими руками:

— Слушай-ка, Родионыч. Это Бабилов с тобой... Не гнети человека. Я с тобой не собирался говорить, нам не о чем, но приходится. Не гнети ты его. Он себя потерял — с тех пор как ты на судне. Зачем ты из него дерьмо делаешь? Я тебя прошу, и все тебя просят...

Труба не дослушала, заверещала. «Дед» поморщился, взял у кепы свисток и заткнул ее. Труба тут же свистнула. Тогда «дед» вынул свисток и вместо него затолкал ветошь, которой он руки обтирал.

— Грубый ты, — сказал кеп. — Ты хоть кого-нибудь уважаешь?

Я вспомнил про компас — картушка у меня сильно залезла вправо — и завертел штурвалом.

— Ты что, матрос? — спросил кеп. — Ты лево не ходи. Так и вожак порвать недолго.

— Есть не порвать.

«Маркони» опять искал базу: «Я восемьсот пятнадцатый, как слышите?», а когда она откликнулась, и мы все замирали, и кеп кидался в радиорубку, вдруг снова влезал шотландец со своей морзянкой и щебетал, выстукивал. Три точки, три тире, три точки. Мне страшно, несет на скалы, глубина под килем... координаты... Я зову вас, а вы не откликаетесь!

Они, наверное, тысячу раз проходили под этими скалами, знали, что их ждет. И, наверное, все надежды уже потеряли. Тут ничего не поделаешь. И ангел не явится, и чайка не прилетит. Просто рука у ихнего «маркони» сама выстукивала: три точки, три тире, три точки.

Потом все смолкло. Но это не шотландец умолк, это наш «маркони» перешел на шестьсот метров, потому что была уже четверть четвертого и стрелка снова пришла в красный сектор.

Там он опять защебетал. Его слушали целую минуту. Потом заговорила береговая:

— Примите радио шотландского траулера. Всем, кто пытался нас спасти. Вы сделали все, что могли. Мы понимаем. Мы всем вам желаем счастья. Передайте приветы нашим близким.

И никто на это не откликнулся. Это правда, у всех были карты.

Кеп встал против окна, заложил руки за спину. По стеклам ляпало пеной, потом снегом и снова пеной.

Я сказал:

— Их там уже нету, сетей.

И почувствовал, как у меня задрожали ладони на шпагах. Все, кто был в рубке, уставились на меня.

Кеп спросил:

— Почему думаешь?

— Он жожаковый,— сказал Жора.— Ему видней.

Кеп смотрел на меня:

— Ты что, трос пощупал?

— Да.

— А чем ты его щупал? — спросил Жора.— Не топориком?

Я сказал:

— Да.

— То-то слышно было,— сказал Жора,— по капку звездануло.

Кеп снял шапку, вытер ею лицо. Он даже вспотеть успел в один миг.

— Почему же молчал?

«Дед» за меня ответил:

— Николаич, он тоже страху подвержен.

— Ты знаешь,— спросил кеп,— что ты под суд пойдешь?

— Знаю.

— И что я с тобой вместе?

— Когда рубил — не знал.

«Дед» сказал:

— Он правду говорит.

— Ну что, вместе посидим. На одной скамеечке. Как думаешь, веселей нам вдвоем будет? — Кеп снова надел шапку.— Поверни пароход носом. Пойдем, как люди. Клади лево руля.

Я положил. «Дед» переключил телеграф на передний. Рубка накренилась почти отвесно — когда мы повернулись лагом,— потом выровнялась.

— Одержжи,— сказал кеп.— Вот так. Спасибо, рулевой. А теперь выйди к собачьим чертям из рубки. И чтоб я тебя больше никогда в ней не видел.

— Выйди,— сказал «лед».

Жора-штурман принял у меня штурвал.

— Разбуди там Фирстова.

Когда я выходил, кеп сказал «деду»:

— Ты еще про шотландца заикаешься. А мы и без сетей-то, оказывается, не выгребали...

Я шел напрямик, от волны уже не спасался. Даже подумалось: а пусть смоеет к чертям. Вот именно, к чертям собачьим. Меня еще с вахты не выгоняли.

В кубрике еле светился плафон. Карты валялись на полу. Не знаю, чем они там кончили, Шурка с Серегой, кто кого.

Я растолкал Серегу, он сказал: «Ага, сейчас иду» — и опять заснул. Я его стащил с верхней койки на стол. Он покачался, спросил с закрытыми глазами:

— Идем куда-нибудь?

— Полным ходом к базе.

Я сунул ему в зубы папиросу и зажег. Он затянулся и совсем очухался, стал одеваться. Я его выпроводил и полез к себе в койку.

— Сень,— вдруг спросил Митрохин,— что там на мостике говорят: потонем мы или нет?

Тут я немножко взбесился:

— А что на мостике, больше твоего знают? Свой «голубятник» не работает?

Он не обиделся. Сказал мне печально:

— А я, знаешь, письмо нашел в телогрейке. Свое, домой. Хотел на базе отдать и забыл.

— Ну, братана ты хоть встретил.

— Да. С ним-то я попрощался. А баба письма не получит.

— Ты спи давай. Хочешь — я свет вырублю?

— Не надо.

— Ты ж не заснешь со светом.

— Я и так не засну. А со светом все-таки легче.

Я лег в койку и вытянулся. Устал я, как ни разу в жизни.

— Слушай,— я вдруг спросил, сам от себя не ждал.— А ты почему с открытыми глазами спишь? Ты это знаешь?

— Знаю. Это давно у меня. Я уже тонул раз. И так же вот свет погас. Потом даже в психическую попал.

— Ну, ведь тогда же все-таки спасся. Может, и теперь...

— Сколько ж веревочке виться, Сеня?

Он что-то начал рассказывать мне, про какие-то свои предчувствия, но я уж не слушал, дремал. И не мешало мне, что перекачивает в койке.

Сколько я проспал? Мне показалось — минуту. Так оно, верно, и было.

Я услышал — кто-то бежит, врывается в кап. И сапоги бацают по трапу, наши, полуболотные. Двадцать ступенек трапа — двадцать ударов мне в уши. И крик:

— Бичи! Подымайсь, есть работа на палубе! — Это Серегу орал, как будто мертвых будил на кладбище. — Шотландец тонет! Шотландца идем спасать!

Глава пятая

ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ЧТОБЫ УЙТИ

1

Я лез по трапу и видел — оба прожектора врублены, но светят, что называется, один другому: заряд валил, какого я не видывал. Снизу его хоть смывало волной, а на мачте, на вантах нарастали бороды, как на соснах в тайге.

Сколько прошло, как Серега обратно побежал на руль, а в кубриках не шевельнулись. Один я вышел сдуру. Вдруг из снега вынырнула фигура — огромная, лица не видно под капюшоном. Надвинулась на меня, и я узнал «деда».

— Ты, Алексеич? — потащил меня вниз. — Почему ж не выходят? Работа есть на палубе.

На комингсе кто-то сидел. «Дед» об него споткнулся, выругался и посветил фонарем. Это Митрохин сидел, тарашил глаза.

— Совсем хорошо. Еще один пробудился.

Но я-то знал, что он спит, хотя оделся и пересел сюда из койки. Я его взял под мышки и отсадил.

— Подымайсь!

Не шевельнулись.

— Да, — сказал «дед». — Так не выйдет.

Он перешагнул в середину кубрика, раскинул сапоги, роканы, телогрейки, стал отдергивать занавески.

— Сварщик! — «Дед» узнал Шурку, стал его трясти. — Замлел, сварщик? Ну, встанем, подыдемся...

Шурка замычал, но глаз не открыл. «Дед» его вытащил, пересадил на стол. Шуркино лицо запрокинулось — совсем неживое.

— Ты подержи его, — сказал «дед». — Этот-то наш, в активе. Я за другого примусь.

Другой был Васька Буров. Лежал он такой успокоенный, руки на груди, бороденка выставилась в подволок. Хоть медяки ему клади на веки. «Дед» к нему присел на койку, взял за плечи и посадил.

— Вставай, артельный! Не спишь ведь.

— Ну, не сплю, — сказал Васька с закрытыми глазами.

— Людям надо помочь, такое положение. Я-то думал — артельный наш, главный бич, первым на палубу вышел, другим пример показал. А ты тут лежишь. В белой рубашоночке, хорошенький такой... Помирать, что ли, собрался?

— Тебе-то что?

— Да зачем же, это само к нам придет. А люди без нас погибнут, если ты не встанешь.

— Какой там еще шотландец! Никуда я не выйду.

— Выйдешь. Я не шутя говорю.

— «Дед», — я сказал, — ты только не бей его.

— Зачем? Он сам встанет.

Шуркина голова перевалилась ко мне на плечо. Он мычал и понемногу охухивался. А «дед» встряхнул Ваську, и Васька открыл глаза. Лицо у него сморщилось, вот-вот он заплачет.

— Сами-то уже пузыри пускаем.

— Но у нас-то хоть надежда есть. А у них — никакой. Ну, артельный! О чем ты думаешь, мне хоть скажи...

— Мало ли о чем... Чего ты с меня начал? Молодые есть. А я — старый.

— Сколько же тебе?

— Сорок два.

— Вот те здорово! Что ж про меня-то говорить? Совсем, значит, песочница? Нет, это у нас неинтересный разговор.

«Дед» его вытащил из койки. Васька встал на ноги и всхлипнул.

— Где его шапка? Ты, сварщик!

Шурка наклонился молча и поднял Васькину шапку.

— На! — сказал «дед». — Лысину прикрой, молодой будешь.

Васька, под нахлобученной шапкой, опять закрыл глаза и всхлипнул:

— Все равно же я опять лягу.

— Ложись, черт с тобой,— «дед» рассердился.— Смотреть на тебя, чучело!..

Васька наклонился за своей телогрейкой. «Дед» подошел к салагам:

— Ну, а как романтики наши? Сами встанут или помочь?

— Встали уже.— Димка с запухшими глазами покачался сидя и спустил ноги.— Алик, не спишь?

Алик молча полез из койки. «Дед» пошел в соседний кубрик. Там дверь была на крючке, он подергал, потом навалился плечом и вломился в темноту.

— Почему лежим, когда артельный встал?

— Иди ты...— бондарь ему ответил. И сказал, куда идти. В такое жуткое и далекое, что и не придумаешь.

«Дед» ему не дал закончить. Смачно ударил кулак по лицу, и рев раздался, дикое какое-то рычание, и чье-то тело шмякнулось. Там свалка началась, сапоги стучали, хриплая ругань доносилась. Я вмиг озверел и кинулся за «дедом». До смерти испугался, что они там его забьют— ударят чем-нибудь по голове спросонья. Но «дед» вышел мне навстречу.

— Ступай на палубу. Ты у меня первым должен выйти.

Я пошел и оглянулся — «дед» вламывался в боцманскую каюту. Оттуда метнулся свет, а в луче вылетел дрефтер — босоногий, в исподнем, вслизился в переборку и завопил. Затем дрефтеровы сапоги вылетели и дрефтерова телогрейка, а после тем же порядком боцманское хозяйство полетело и напоследок — сам боцман.

— Встаем, чего драться-то?

Боцман держался за скулу и сплевывал. «Дед» вышел, толкнул его обратно в каюту и поднялся ко мне. Лицо у него было белое, страшное, на лбу выступили крупные капли. Он дышал хрипло и вдруг закрыл глаза, навалился на меня — тяжелый и вялый. Я хотел его посадить на трап. Но он отдышался.

— Ничего,— сказал,— подымутся, не могут не подняться. Повезло нам с этим шотландцем.

— Как ты? Стоять можешь? Плохо тебе?

— Стою... Проследить надо, чтоб все вышли.

Он опять спустился. Там шла уже мирная возня, хотя кто-то еще поругивался, отводил душу,— но поднимались, как на выметку.

В кап вылез дрефтер — с помятой рожей. Стоял, ежился, грел руки под мышками, а vareжки зажал между колен.

— Все, дриф,— сказал я ему.— Труба твоему сизалю.

Он спросил равнодушно:

— Сети обрубил? И дурак. Такая рыба сидела. Ты буй-то хоть привязал, горящий?

— А что он их — удержит?

— Подобрали бы... Если живы будем.

— Где? На скалах?

Вылез в кап бондарь.

— Слыхал? — дрефтер его спросил.— Отличился наш Сеня-вожак-овый, порядок угробил. Всю команду без коньяка оставил.

Бондарь покосился на меня.

— От него только и жди вреда.— Но увидел мое растерзанное плечо и сказал, глядя в сторону: — Растирай, а то рука онемает. Будешь ты нам помощничек!

Боцман тоже поднялся, покачался с ноги на ногу.

— Вот дьявол-то паршивый,— сказал,— нашел же время тонуть! Ну, чо стоим? Раз уж не спим, работать будем.

— Сейчас «дед» ЦУ¹ даст, — сказал дрефтер.

— А что нам «дед», сами не сладим? — Боцман приложил ладони ко рту: — Эй, на мостике! Питание на брашпиль!

Из рубки донеслось:

— Даем питание...

И сразу прожектора потускнели. Вот тебе и питание. Брашпиль еле тянул, двух якорей не потащил сразу, да и по одному едва-едва.

— Скисла машиненка, — сказал дрефтер. — Так только кота тащить. Ох, и надоел же мне этот пароход! — Взял багор с полатей, зацеплял и подтягивал якорную цепь за звенья, вроде бы помогал машине. Мучение было тут стоять, под зарядом и брызгами.

— Боцман! — позвал «дед». — Ты парус-то — помнишь, где у тебя?

Боцман заворчал:

— В форпике! Где ж ему быть?

«Дед» заснеженной глыбой пробрался к нам на полубак, нашарил форпиковый люк сапогом, зазвякал задрайкой.

— Погоди ты! — боцман не вынес. — Ты в мое-то хозяйство не лазий. В форпик нахлебаем, так это нам в кубрике натечет.

Он сам его отдраил, а мы — кто присел на корточки, кто лег на палубу, чтоб хоть защитить немного форпик от носовой волны. Боцман там долго возился в темноте, чем-то гремел, звякал.

— Где ж он тут есть, мой хороший? Где ж я его сложил? Да посветите хоть, черти!

«Дед» просунул в люк руку с фонарем. Боцман сидел на каких-то канистрах, с парусом на коленях.

— Да он же у тебя!

— Ну! Так ты думаешь — я его ищу? Я фаловый угол ищу. Специально я его сложил, кверху дощечкой, а вот не нахожу. Нет, это шкотовый...

Дрифтер заорал:

— Да тащи! Тут разберемся!

— Разберешься ты. Вот, нашел! — Протиснул сложенную парусину в люк. — Руку-то не оборвите, я за фаловый держусь.

Он его не отпускал, ухитрился одной рукой задраить люк, а потом бежал за нами по палубе, спотыкался и все-таки держал. Парусина развернулась у нас, углы волочились по воде и набухали, тяжелели, дрефтер в них запутался и упал. К нам еще несколько кинулись навстречу, подхватили, поволокли к мачте. А боцман все держался за свой угол.

— Держу, держу, ребятки! Главное — фаловый не потерять.

Парусину свалили на трюмный брезент. Она уже почти вся распеленалась, разлезлась тяжелыми складками и покрывалась снегом, покуда он ее привязывал к грота-фалу.

Из рубки кричали:

— Боцман! Что там с парусом? Есть парус?

— Будет!

Он подпрыгнул и повис на фале, с ним еще двое повисли, и парусина — намокшая, тяжелая тряпица — дернулась, поползла вверх по мачте, а книзу спадала серыми складками, почти даже не гнущимися. А мы, времени не теряя, разносили нижнюю шкаторину по стреле, которая теперь стала гиком, и привязывали гика-шкот за утку на фальшборте. Те трое еще и еще подпрыгивали и перехватывали фал, передняя шкаторина ползла, вытягивалась вдоль мачты, и постепенно складки расправлялись, уже начали набиваться ветром, уже и гик начал дергаться, и наконец передняя шкаторина вытянулась вся, ударилась в оковку

¹ Ценные указания.

топенанта. И тут парусина ожила, первый хлопóк был — как будто кувалдой по бревну, потом заполоскала, мерзлый грота-шкот заскрежетал в оледеневших люверсах, и разом выперлось пузо — косой дугой, латы на нем затрещали, с них посыпались сосульки. Холод палил нам лица, сжигал брови и губы, но мы стояли, задравши головы, и что-то в эту минуту переменялось в нас самих: ведь это была уже не тряпка, а — парус, парус, белое крыло над черной погибелью; такой же он был, как триста лет назад, когда мы по свету бродили героями и не знали еще этих вонючих машин, которые и отказывают в неподходящую минуту. И даже поверилось, что раз мы это чудо сделали — еще, быть может, не все потеряно, мы еще выберемса и поживем, еще увидим берег.

«Дед» послунил палец — хотя зачем его было слюнить? — поднял кверху, сказал:

— Полный бакштаг левого галса!

Я увидел его лицо под капюшоном — все в морщинах и молодое. И еще он сказал:

— Боцман! Спасибо тебе за парус!

— Да кой-чего смыслим! — боцман ему ответил. — Не совсем по ж... деревянные.

— Молодец! Давай мне теперь четверых на откачку.

2

Помпа была там же, где мы ее и бросили — в узкости, под фальш-бортом, — только еще снегом засыпана и завалена брезентом — с браш-пиля. Вон его куда занесло.

Вчетвером — Шурка еще, Алик и Васька Буров — мы эту дуру опять перевалили через комингс. Опустили шланг и тут лишь вспомнили, что он же не достает до воды.

— А хрен с ним, не достает! — сказал Шурка. — Сейчас придумаем, чтоб доставал. Вниз ее, сволочь, смайнаем. — Он уже лез по трапу и помпу рвал на себя.

— Нелогично, — сказал Алик. — Он тогда доверху не достанет. Что от носа до хвоста, что от хвоста до носа — тот же крокодил.

— Тащи, крокодил!

— Да чего ты хочешь? — я спросил.

— Чего, чего! На верстак поставим, все же повыше. А ты, салага, вниз не ходи, шланг будешь держать.

Стащили на верстак. Я на одном плече встал, Шурка на другом, а Васька внизу, в воде, нажимал то на мой рычаг, то на Шуркин. Шланг зашевелился, помпа пошла тяжело.

— Качаем, ребята! — Шурка обрадовался. — Ну, как там, салага, не достает?

— Прелестно! — Алик ответил сверху. — Только его держать не надо. Я его просто дверью прижал. А сам буду ведром помалу. — Спустил ведро на штертике, зачерпнул и потащил кверху.

Очень нам это понравилось. Хоть и расплескивалась половина. Алик смеялся:

— Малая механизация!

— Растет салага, — сказал Шурка. — Такой умный стал — прямо дельфин.

— Дельфины — интеллектуалы моря. Нам до них далеко!

— Ты качай, качай! Не откачаемся — так будем близко.

— Скажи мне, Шура, почему же мы раньше до этого не додумались?

— До чего?

— Помпу на верстак.

— Не всё ж сразу. Ты качай!

— А все-таки, Шура?

— Уймись ты, салага. Там люди гибнут, а ты разговоры разговариваешь. Качай!

Салага, однако ж, не унимался.

— Бедные мои бичи,— сказал он,— вот сейчас вы мне нравитесь.

— Ну? — спросил Васька.— Чем же?

— Вы мне сильно нравитесь, бичи! Я прямо влюблен в вас.

Шурка спросил:

— Ты, часом, не рехнулся? А то скажи, сменят тебя.

— Не исключено. Все мы немножко рехнулись. Но я запомню эту минуту, бичи.

— Чем же хороша?

— И вы тоже запомните, пожалуйста. В ней есть момент истины!

— Чего? — Шурка даже качать бросил.

Славное было лицо у салаги, но и правда — как у малость свихнутого.

— Как вам объяснить, что такое «момент истины»? Ну, это... когда матадор хорошо убивает быка. Красиво, по всем правилам.

— И что ж тут хорошего? — спросил Васька.— Животную убить?

Алик призадумался:

— Да, это не совсем то... Но я остаюсь при своем мнении.

— Ничо, салага.— Шурка опять стал качать.— Мы тебя все равно любим. Но ты качай все-таки.

— Между прочим,— спросил Алик,— до каких пор я буду салага?

Мы опять бросили качать.

— Действительно,— сказал Шурка.— Оморячим его? Понимаешь, мы б тебя сейчас на штертике окунули, да ты и так мокрый. Считай — на берег ступишь, бич будешь промысловый по всей форме.

— Я это сделаю символически. С вашего разрешения.

— Как, как?

— Ну, вместо себя — окуну ведро.

— Во! — сказал Шурка.— Это самое лучшее. Качай, не салага! Качай!..

Мы закачали, как начисто свихнутые. Потом начали выдыхаться. Васька меня сменил на верстаке, а я стал в воду. Во всякой работе должен же быть где-то и отдых. Так он у нас был в воде.

Васька поплевал на руки и сказал:

— Семьдесят качков сделаю и помру.

Он и правда стал считать, да сбился. Потом Шурка стал в воду, а я полез на верстак. Целый век мы качали, все паром окутанные, и двигатель нам уши забивал стуком, и дыхание заходило в груди — такой воздух был в шахте. Странное появилось чувство — будто кто-то другой, не я, качал этой дурацкой помпой — вверх, вниз, вверх, вниз, — только б не упаст с верстака, когда он ходуном ходит под ногами и доски вот-вот разойдутся. Все это с кем-то другим происходило, а я со стороны наблюдал, когда же у него все внутри оборвется? Очень близко было к этому...

— Алексенч,— позвал «дед» сверху.— Поди ко мне.

По трапу нам смена спускалась — дрефтер с бондарем и Митрохин.

«Дед» меня вытащил за руку и наклонился над шахтой:

— Шепилов! Ты там, что ли, мерцаешь?

«Мотыль» Юрочка выплыл из пара, как из облака.

— Давай-ка подкинь оборотиков.

— Сергей Андреич, опять перекалим движок.

— Ничего не поделаешь,— сказал «дед».— Теперь уж давай на износ.

«Дед» пошел наверх, на крыло рубки. Я за ним.

— Зачем звал, «дед»?

— К шотландцу подходим. Стыкнуться надо.

— Это как?

— Вот вместе и подумаем.

Всю дорогу — когда поднимали парус и когда тащили помпу и качали,— все это время я думал: как же мы с ними стыкнемся? На такой волне подойти — смерть. Ну, а на что мы еще шли? Вот уж действительно — все мы рехнулись.

Мы вышли на крыло. Иллюминатор в радиорубке светился. Я припал к нему — «маркони» сидел за столом, упершись локтями, в ладонях зажал голову с наушниками. Губы у него шевелились, как у припадочного. Кеп расхаживал мимо двери, заложив руки за спину. Вошел, что-то сказал «маркони». Старенький он стал, наш кеп, весь сгорбился. Снял шапку и вытер лысину платком.

— Где ты там? — спросил «дед».

Он полез выше, на ростры. Там ветер с ног валил. И ни зги не видно. «Дед» светил фонарем — на полметра, не больше.

— Что ты ему сказал? — спросил я «деда».

— Кому?

— Кепу. Почему он вдруг повернул?

— Так, ничего особенного. Сказал: с тобой в «Арктике» за столик никто не сядет.

Смешно мне стало — чем можно человека напугать, чтоб он все другие страхи забыл.

— Ты не смейся над ним,— сказал «дед».— Он еще за твои подвиги ответит. Тебя-то легче выручить... Где он тут его держит?

— Чего?

— Да линемет.

«Дед» стоял над боцманским ящиком, светил туда, шарил среди штертов, всяких там гачков, талрепов, чекилей.

— Вот он.— Вытащил линемет с самого дна.— Смотри-ка, и пиропатронов комплект. Ну, боцман!

— Леерное сообщение будем налаживать?

— Пожалуй. Только гильзы к чертям просырели, мнутся.

— Крышка была открыта?

— Была. Ох, найти бы, кто... Ладно. Все глупостей наделали. А я первый. Ну что — пальнем один, для смеха?

«Дед» заложил патрон, выставил линемет в корму и нажал на спуск. Только курок шелкнул.

— Осрамимся,— сказал «дед».— Осрамимся перед иностранцами.

— Может, подсушим?

— Это надолго. Это — не подмочить; там, поди, и пяти минут хватило.

— Больше. Он, знаешь, сколько стоял открытый? Как шлюпку вываливали.

Я теперь точно знал, кто ящик не закрыл. Димка, кто же еще? Когда сплеснивал фалинь. Ну, черт с ним, все глупостей наделали.

— Придется руками,— сказал «дед».

— А добросим?

— Я — нет. Ты добросишь. Ты молодой, зоркий.

Мы вытащили бухту манильского троса, койлали ее на две вольными шлагами, к середине я пиратским узлом привязал блок и бросательный конец — тоже из манилы, но тоненький, с грузиком.

— Отдохни,— сказал «дед».

Я сел прямо на палубу, спиной к ящику, а грузик держал в руке. Тут я опять вспомнил про свое плечо. На помпе я еще натрудил его, а как же бросать теперь: ведь оно у меня правое. Может, сказать «деду», тут ничего стыдного. И вдруг я услышал шотландца. Мы ему погудели, и вот он откликнулся — слабенским гудком.

«Дед» отвел капюшон, приставил к уху ладонь. Значит, и он слышал, не померещилось мне.

— Ну, здрасьте,— сказал «дед». — Вот и мы.

Загудело откуда-то сбоку. Едва мы не проскочили.

— Парус! — закричал «дед». — Парус зарифили?

С палубы кто-то ответил:

— Убрали уже, сами не глухие.

«Дед» кинулся на верхний мостик, припал к трубе:

— Справа по курсу — судно. Питание на прожектора!

Он сам взялся за прожектор, направил его, и я увидел — сквозь брызги, сквозь заряд — зыбкую тень на волне.

— Видишь его, Николаич? — спросил «дед».

Пароход весь содрогнулся от реверса. Медленно-медленно мы подваливали к шотландцу.

Теперь уже ясно было видно — он к нам стоял кормой. Ох, если бы стоял! А то ведь взлетал выше нас, к небу, а после проваливался к чертям в преисподнюю.

— Ближе не можешь? — кричал «дед». — Ну-ну, Николаич, и за это спасибо.

Там в корме показались люди — в черных роканах с белой опушкой. Я еще отдыхал пока, с грузиком в руке, прислонясь плечом к ящику. А наши уже там высыпали, сгрудились по правому борту.

— Бичи, их-то, их-то как залило! Ну как перекосились!..

— На «Пегги»! — боцмана глас прорезался. — Концы ваши — где? Концами я, что ли, должен запастись? Салаги, синбабы, олухи царя небесного!..

«Дед» перегнулся через поручень:

— Потише, Страшной! Здесь конец. Мы будем подавать.

— Это почему же — мы?

— Потому что они — бедствующее судно.

— А мы не бедствующее?

— Помолчи, Страшной!

— Я-то помолчу. Только почему всегда рус Ивану должно быть хуже?

— Это много ты хочешь знать, Страшной,— кричал «дед» весело. — Слишком даже!

Корма шотландца еще чуть приблизилась.

— Бросай, Алексеич!

Я пошел с грузиком к поручням. «Дед» мне поднес обе бухты к ногам, и я их пощупал сапогом для верности. «Дед» на меня направил прожектор, чтобы шотландцы меня увидели с бросательным, другим прожектором повел к ним на корму.

— Бросай, не медли!

Там их стояло трое. В середине — чуть повыше. Кто же из них поймает? Бросательный был почти весь у меня в руке, скойлан меленькими шлагами, а обе бухты под сапогом, я их еще раз пощупал. Животом прижался к поручням и кинул.

Бросательный с грузиком мелькнул в луче, как змейка, и упал к ним на поручни. Они засуетились там, захлопали рукавицами. И помешали

друг другу же. Или не разглядели как следует конца. Я почувствовал, как он ослаб у меня в руке.

Я вытянул его и снова скойлат себе в левую руку маленькими шлагами, а грузик взял в правую. Зато уж я точно теперь знал, сколько мне надо длины.

Из рубки уже орать начали:

— Что там с концом?

— Ты не слушай, — сказал мне «дед». — И не торопись.

Может быть, просто рука у меня поехала, из-за проклятого плеча. Он упал у них под самой кормой. Тут и багром не достанешь.

— Торопись! — сказал «дед».

Я теперь койлат его, сжав зубы, чтобы не дать себе заспешить. И кинул я хорошо. Размахнулся не спеша, а кинул рывком, с подхлестом, чтоб грузик завертелся в воздухе.

Он упал длинному на плечо, я это преотлично видел. А он захлопал себя рукавицами по груди, как будто комаров бил... И пропал из луча. Корма у них взлетела, а мы стали проваливаться, и у меня сердце провалилось, когда почувствовал, как он опять ослаб у меня в руке.

— Сволочь ты косорукая! — я ему крикнул, долгому. Мне плакать хотелось, что он такой конец упустил. — Убить тебя мало!

— Что тебя так развезло? — «дед» на меня заорал. — Истерику закатил, как девушка в положении. Бросай!

— Сколько ж я буду бросать — раз они не ловят?

— Будешь бросать, пока не словят!

Я его опять вытянул, взял в правую, сколько нужно по весу. И ждал, когда мы сравняемся.

Грузик ему полетел в лицо. Это я очень даже прекрасно рассчитал. Он увидел, что грузик летит ему в рожу, и отпрянул, и грузик перелетел через поручень. Как словили, я уже не видел, корма у них снова пошла вверх и пропала. Но конец полетел у меня из руки, ожег ладонь.

— Есть! — заорал я «деду». — Работает кончик!

Обе бухты стали разматываться.

«Дед» кинулся ко мне, сграбастал одну в охапку и понес к поручням, швырнул вниз.

— Держи, Страшной! Это тебе — ходовой. — Потом вторую: — Это тебе — коренной. Плотик приготовили?

— Плотик? Это сейчас, это у нас бы-ыстренько!..

— Мать вашу! Сами вы синбабы. Нет чтобы дело сделать...

Я только следил, чтобы леер прошел по всем поручням без задева.

— Пошли, — сказал «дед». — Или ты сомлел?

— Немного.

— Все равно вниз иди, на ветру не стой. Мы еще жить собираемся!

Я сошел за ним на палубу. Кто-то там на полатах возился, скидывал поводцы с плотика, и боцман причитал, чтоб добром не раскидывались, аккуратно бы складывали в капе. Наконец стащили плотик, привязали к ходовому концу штертом, вывалили за борт. И плотик исчез из глаз, ребята лишь потихоньку подвирывали к себе коренной. Потихоньку — это так только говорится, с каждой волной его рвало из рук, и весь он обвис примерзшими варежками.

А я ничего не делал. Вот просто сел на трюм, держался за какую-то скобу и смотрел. И никто не орал на меня, что я сижу, ничего не делаю. Бондарь — и то не орал. Ну, я свое дело сделал. А теперь посижу, на других посмотрю.

Леера у них рвались из рук, возили их по палубе, били животами о фальшборт.

— Васька! — орал дрифтер. — Буров, ты где там сачкуешь? У ты брюхо-то моего толще, давай вперед, амортизируй!

Васька, конечно, сзади сачковал. Но вылез самоотверженно.

— Ох, бичи, что ж от моего брюха-то останется? Шибает!

— Стой там, ничего, амортизируй!..

Дрифтер с «дедом» над всеми высились. Похоже было, они-то и держали концы, остальные только «амортизировали».

Вдруг Васька закричал:

— Стой! Стой, бичи, дергают! Сигнал дают — плотик назад тащить. Вирай теперь ходовой!

Поташили. Кто-то спросил:

— Пустой идет?

— Вроде нет, потяжелее стал.

— Сидит в нем какая-то личность!

Боцман выскочил из этой оравы, сложил ладони у рта:

— Мостике! Прожектор — на плотик!

В рубке грохнула дверь, кто-то забалачил сапогами — к верхнему мостику. Луч побежал — по вспененной злой воде, по черным оврагам — и в секущих брызгах нашарил плотик. Как будто схватил его рукою — крохотный плотик, белый с красным... И человека в плотике.

3

Весь он был черный, только мех белел вокруг лица и на манжетах. Уже видно было, что руки у него без варежек и как он вцепился в петли и жмурился от прожектора.

— Полундра, ребята! — сказал «дед». — Человека не разбить. Натяни оба.

Плотик уже был под бортом и снова отошел. Выжидали волну. А несчастный шотландец болтался — то вверх, то вниз, — выпадал из луча, и снова его нашаривали.

— Дриф, — позвал «дед». — Давай-ка с тобой, они концы подержат.

Они вдвоем встали к фальшборту, перегнулись. Остальные назад отошли, уперлись ногами в палубу, спружинивали концы. «Дед» командовал:

— Левый потрави... Теперь правый помалу.

— Держу! — дрифтер взревел.

— Держи, не упускай! Вот и я держу...

Они рванули разом, и шотландец прямо взлетел над планширом.

— Скользкие у них рокана! — сказал дрифтер. — Как маслом облитые.

«Дед» перехватил шотландца под мышки, рванул на себя и повалился с ним на палубу. Бичи кинулись поднимать.

— Куда! — заорал «дед». — Концы держать, сами встанем.

«Дед»-то поднялся, а шотландец так и остался сидеть под фальшбортом, только ноги поджал, чтоб не отдавили.

— Алексеич, — позвал «дед». — Сведи человека в салон. Вишь, он мослы не волочит.

Шотландец улыбнулся мне — как-то виновато, замученно. Лицо у него было как мел. Поднял руку — всю в крови, содранная кожа висела клочьями. Что-то сказал мне, я не понял. Несколько слов я знаю.

— Хелло! Плиз ин салон.

Он помотал головой: нет, не пойдет никуда. Волна его залила по пояс, он в ней пополоскал руку и показал мне — самое лучшее лечение. Ну что с ним сделаешь?

— Да пусть сидит, — сказал дрифтер.

Второй еще как-то благополучно прошел, а с третьим пришлось-таки поуродоваться. Он сам два раза прыгал на борт и срывался, пока его дрейфтер не поймал за локоть. Так он его и кинул, за локоть, лицом в палубу. Мы с Аликом растормошили шотландца, подтащили к фальшборту, посадили с тем, первым, рядышком. Понемногу он очухался, стал помогать ребятам.

Последним тащили ихнего кеп. Он маленький был и цепкий, как обезьяна. И смелый. Как подвели плотик, он весь подобрался, выждал волну и прыгнул. Просто снайперский был прыжок — руками и животом на планшир. Он бы, пожалуй, и через планшир сам перелез, да Васька Буров ему помог нестати — схватил сзади за штаны и перевалил головой книзу. Как-то не учли, что кеп.

Васька потом вспоминал:

— Не клеилась у меня на флоте карьера. Голова-то лысая, а до боцмана так и не дослужился. Но есть достижения, бичи: кеп за кормовой свес держал! Правда, не нашего, шотландского...

Кеп привел себя в божеский вид и подал знак рукою: все, мол, никого не осталось. Дрейфтер вытащил нож — обрезать концы.

Кеп что-то сказал своим. Они встали, держась друг за друга, глядели на свою «Герл Пегги». Она уже отплывала от нас. Прожектор иногда ее ловил и снова упускал. Кеп расстегнул капюшон, откинул на спину. Голова у него была лысейшая, как шар. Как у нашего кеп. И все они тоже откинули капюшоны, постояли молча, крестились. Форменным образом.

— «Герл Пегги» карашо, да? — спросил дрейфтер так жалостно.

Кеп-шотландец кивнул и снова перекрестился.

Потом пошел в салон. Сам, никто его не повел. Он наши СРТ знал, знал, поди, где что находится. Остальные шотландцы за ним. Самого первого, который на ногах едва держался, двое тащили под локти.

Я поглядел — «Герл Пегги» уже пропала из виду. Только гудок еще ревел прерывисто. Это они нарочно оставили, чтоб никто на нее в темноте не навалился. Как будто живая тварь жаловалась на свою погибель.

В салоне, конечно, все наши набились — стояли в дверях, жались по переборкам. Шотландцы сидели все в ряд, на одной лавке — с красными лицами, такими же, как у нас, только вот глаза были другие. И чем-то у всех одинаковые — хотя кто помоложе был, а кто постарше, а кеп так совсем пожилой, лет за полста наверняка. Я даже сказать вам не берусь, что у них было в глазах. Как у молочных телят, когда у них еще пленка голубая не сошла. Как будто они чего-то не знали и не хотели даже знать. Прожитой жизни не чувствовалось.

Кандей с «юношей» обносили их мисками с борщом. Они улыбались, кивали, но есть не спешили — показывали на своего раненого. Кто-то уже за третьим штурманом сбегал, и он из рубки приволок свою наволочку.

— Волосан ты, — сказал Васька Буров. — На кой ты всю наволочку тащил? Чем ты его лечить будешь, зеленой? Так и принес бы в пузырьке, с этикеточкой, оно и красиво.

Раненый шотландец взял пузырек, разглядел этикетку и кивнул. Третий ему стал прижигать руку ваткой, а они все внимательно смотрели. Тот морщился, вскрикивал, но — как будто даже понарошку.

— Оу! Ау! Ой-ой-ой! — и улыбался. И все улыбались.

Третий ему кое-как намотал бинтов, и он, конечно, всем показал, какая прекрасная бинтовка, какая толстая, сенкью вэри мач.

Тогда они стали есть. Совсем как и мы, штормовали миски у груди. Только раненый не мог, его товарищ кормил из своей миски. А тот дурачился — набрасывался всей пастью на ложку, и нам подмигивал, и язы-

ком цокал — оу, вкуснотища какая, только мало ему достается, жадничает, мол, кореш, себе ложку полнее набирает.

Димка чего-то сказал ихнему кепу. Тот слушал его, наклонив голову, потом ответил — длинно-длинно. Димка уже с середины руками стал отмахиваться: не понял.

— Такой английский — первый раз слышу.

Шурка сообразил:

— «Маркони» надо позвать. Уж он-то с ихним «маркони» как-нито договорится.

Побежали за «маркони». А мы пока глядели на них и улыбались. Что еще прикажете делать?

«Маркони» пришел — уж заранее красный. А как его вытолкнули к шотландцам, он совсем вспотел, как мышь.

— Кто у них радист? — спросил. — Ху из «маркони»?

Радист у них этот маленький оказался, раненый.

— А! — сказал «маркони». — Так это ты мне, подлец, радиограммку отбил: «Иван, собирай комсомольское собрание»?!

Тот закивал радостно, попробовал даже отбить рукой на столе. И тут они оба затараторили. На таком английском, что Димка только плечами пожимал. У того какой-то там шотландский акцент, а у нашего вообще никакого акцента, он прямо так и молол, как пишется: «оур», «тимае», «саве».

Кеп-шотландец что-то спросил у своего «маркони», тот «перевел» нашему.

— Чо он там? — спросил Шурка.

— Спрашивают, что у нас тут происходит. Он так понял, что мы сами терпим бедствие.

— Глупости, — сказал Шурка. — Ты ему ответь: мы этого терпеть не можем.

— А «SOS» тогда кто давал?

— Другой там какой-то «сосал», не из нашего даже отряда. А мы, значит, тренируемся в спасательных работах.

— Они что, дураки? — спросил «маркони». — Они ж воду видели в шахте.

— Ну, правильно, — сказал Шурка. — Налили через кингстон. Теперь откачиваем. Как же еще тренироваться?

— Все им знать обязательно? — спросил Васька. — И так они страху натерпелись.

Шотландцы слушали, даже есть перестали. «Маркони» им перевел, как мы просили. Они переглянулись между собою, и кеп что-то спросил, улыбаясь. Долго что-то говорил, а «маркони» ихний втолковывал нашему.

— Спрашивает, почему не взяли на буксир. Если все у нас так хорошо. Так вроде? Ну да могли бы, говорит, потренироваться в буксирной практике в штормовых условиях. Я вам говорю, врать не стоит, все понимают, черти.

Они и вправду все понимали. Это у них на лицах было написано.

— Скажи ему, — попросил Шурка, — у нас по программе воду откачивать. И леерное сообщение. А буксировка — это в следующее занятие.

«Маркони» им сказал. Кеп ихний послушал, покивал, потом встал, потянулся через стол и пожал ему руку.

— Как сказать? Ви — моряки!

«Маркони» совсем от смущения взмок.

— Да ну их к бесу. И в рубку мне пора.

Другие тоже вскочили, потянулись к нам. Мне этот пожал, длин-

ный, которому я конец бросал. Он, оказывается, совсем юный был парнишка, с пушком на губе — наверно, и не брился еще ни разу. Запомнил он меня все-таки, разглядел под прожектором — изобразил теперь наглядно, как все было. Ихний «маркони» что-то втолковывал нашему, прикладывая руку к сердцу — извинялся, наверно, за ту радиограммку.

— Да ерунда,— наш говорил.

Тот глазами засверкал:

— Не ерунда! Не ерунда!

Старпом явился — с приглашением от нашего кепа шотландскому: расположиться в его каюте. Сам он, к сожалению, прийти не может: занят на мостике. Шотландец поблагодарил и отказался.

— Я,— говорит,— очень уважаю вашего капитана и благодарю за оказанное спасение, но я знаю, какая у него тесная каюта. Кроме того, мне очень интересно пообщаться с экипажем.

И всех как будто током ударило, когда включилась трансляция, мы как-то съежились и притихли. Шотландцы — тоже. Ну, для них-то уже никакой тайны не было.

Жора-штурман пробасил в динамике:

— «Маркони» — в рубку. «Маркони» — в рубку.

«Маркони» заизвинялся перед шотландцами, приложил руку к сердцу:

— Ай эм сори, джаб.

Шотландцы опять вскакивали, опять пожимали ему руку, улыбались,— все понятно, джаб — значит, джаб.

Я вышел за ним, спросил:

— С базой говорить?

— Определяться, наверно. По радиомаякам. Что ты, Сеня! Какая база нам теперь поможет? Мы уж, наверно, в миле от Фарер.

— Куда же теперь?

Он пошел вверх по трапу.

— Ох, Сеня, спроси чего полегче. Осталось нам только — на скалу выброситься.— И побежал.

Через наружную дверь ввалились боцман с Аликом — тащили нагрудники. Они их внесли в салон и сложили в угол, под простыней, которая вместо экрана. Как я понял, они их из шлюпки приволокли — для шотландцев.

Опять включилась трансляция, и Жора-штурман сказал:

— Команде — приготовиться! По местам стоять!

К чему приготовиться? И где теперь наши места? Никто ничего не спросил. Но все пошли из салона. Все, кроме шотландцев и кандея.

4

Рассвет еще не брезжил — хотя до него, наверно, рукой уже было подать,— и оба прожектора зажглись, осветили на мачту. Вокруг же была чернота, из нее сыпался снег, и брызги сверкали в луче.

Боцман кричал уже где-то под мачтой:

— Парус убирать!

Мы добежали, дохлопали по воде. Парус трепыхался, хлопал, гикашкотом обжигало руки, а потом гик вырвался у нас и полетел от борта до борта. Кто-то поехал на нем, не успел бросить руки, и мы уже не гик, а его поймали за рокан, и тогда уже все схватились за гик и усмирили его. И парус обвис, пошел к мачте покорно, лег на трюмный презент, как поваленная палатка.

Над палубой раскатилось из динамиком:

— Всем покинуть носовые кубрики! Боцману — проверить!

Но мы-то все были здесь, маячили друг перед другом, в кубриках никого не осталось, только шмотки наши. И все как раз и кинулись за ними. Каждому что-нибудь хотелось же взять.

Мне-то ничего не хотелось, раз курточка погибла. Чемоданчик — что в нем толку, пара сорочек да носки, я решил не морочиться. Я взял только нагрудник, надел сразу и завязал тесемки.

Шурка взял карты, затиснул под рокан. Чемоданчик он тоже не взял. Васька Буров потащил из-под койки ящик с мандаринами, да Шурка ему отсоветовал:

— Разобьются на палубе, а тут, может, и уцелеют, если не приложимся...

Мы выскочили, стали на трюме, каждый держался за что мог. И друг за друга. Прожектора теперь светили вперед и упирались в черноту.

Из рубки кричали:

— Кто в носовых остался?

— Никого! — ответил Шурка. — Все вышли!

И в эту же буквально секунду Серега на нас налетел — бежал с руля.

— Я еще не вышел!

Вбежал в кап. Минута прошла, другая, а его все не было. Мы с Шуркой кинулись за ним.

И что же он там делал, в кубрике? А он, представьте, коллекцию свою отдирает с переборки — Валечек, Надечек, Зиночек, — да не отдирает, а откопывал аккуратненько и прикладывает к пачечке. Только еще половину успел собрать.

— Серега, ты озверел?

Шурка на него напялил нагрудник, мы его схватили за рукава и потащили, и он всю пачку выронил на трапе. Стал вырываться, чтобы собрать, насилу мы его вытолкали.

Про что мы еще забыли? Про кого?

— У рулевого нагрудник есть? — спросил Шурка у Сереги. — Тебя кто сменил?

— Кеп.

— Сам кеп?

Мы поглядели на стекла рубки: в слабеньком свете из нактоуза — кепово лицо над штурвалом. Черные ямы вместо глаз, подбородок светится. Рядом с ним Жора стоял и третий.

— А «дед»? — я спросил.

— В машине, у реверса.

— У него есть?

— Дурак ты, — сказал Васька Буров. — Помогут нам всем нагрудники!

Я опять кинулся в кубрик. И пока они добежали, схватил один лишний — с ваньки-ободовой койки — и выскочил.

...«Дед» стоял у реверса по колено в масляной черной воде, держал руку на рычаге. А глазами прилип к телеграфу. На верстаке качали помпой полуголый Юрочка и какой-то шотландец в черном рокане. Снизу их окутывало паром.

— «Дед», — я крикнул в шахту, — нагрудник возьми!

Не услышал он меня, наверно. Машина стучала — с большими сбоями, — и он, верно, к ней больше прислушивался.

— «Дед»!

Он ответил, не оборачиваясь:

— Ступай на палубу, Алексеич. Наплавался я с нагрудником.

Мне хотелось, чтоб он хоть посмотрел на меня в последний раз.

А «дед» все смотрел на шкалу телеграфа и держал руку на реверсе. Я снова его позвал, и он не обернулся.

Вдруг я увидел — в полутемном коридоре кто-то толкается в наружную дверь, звякает задрайкой.

— Куда? — я ему заорал. — Куда отдраиваешь? С этого ж борта кренит, мало мы в шахту нахлебали?

Он мычал что-то и толкался в дверь. Я подумал — не обезумел ли кто?..

— Смоет же тебя к такой матери! — Я подошел, рванул его за плечо.

Граков это был. В расстегнутом кителе, волосы спутаны... Он мне дышал тяжело в лицо, и я вдруг почувал: он же пьяный в усмерть. Я прямо обалдел — неужели ж напился? В такую минуту напился! Когда мы все валились с ног и опять вставали — спасти наши жизни и его драгоценную тоже...

— Ступайте в каюту! — я ему сказал. — Надо будет — придут за вами, не оставят.

— Плохо, матрос? — Глаза у него были мутны, лицо набрякло багрово.

— Да уж куда хуже.

— Гибнем? Скажи честно.

Я ему протянул нагрудник.

— Авось, — говорю, — выплывем.

— Кто это приказал?

— Что?

— Нагрудник... мне...

— Капитан.

— Врешь, матрос...

— Сказал бы я вам!

Я на него надел нагрудник и завязал тесемки.

— Зря все это, матрос...

Я подумал — действительно, зря. Ты-то ведь каким-то дуриком, а выплывешь, а вот «деда» никто не спасет, разве что Юрочка. Да пока он на свои бицепсы хоть фуфайку напялит, всю шахту зальет. Я бы остался здесь, но мое место — палуба. Может быть, там я понадобится. Но я все-таки постараюсь. Я добегу. Вытащу «деда».

— Я довел Гракова до каюты, втолкнул в дверь.

— Матрос, так ты забежишь за мной? Ты обещал...

Я побежал на палубу, встал на трюме, рядом с Серегой и Шуркой. Палубу трясло — от машины, и зубы у меня стучали, нагрудник трясся и бил по животу. Снег и брызги хлестали в лицо, но глаза я не мог закрыть, не смел — потому что увидел камни. Мы все их увидели.

Прожектора их ошупывали во тьме. Волна прилиwała к ним, взлетала пенистыми фонтанами, и было видно, как шатаются эти камни — черные, осклизлые. Вдруг они ушли из виду, ушли вниз, полубак высоко задрался и пошел прямо на них, на скалу. Машина взревела, как будто пошла вразнос, и винт повернулся в воздухе, а потом ударился об воду. «Дед», наверное, дал реверс, потому что, когда мы снова увидели камни, они уже были подальше.

Я оглянулся — стекло в рубке опустили, кеп стоял у штурвала без шапки, в раздраенной телогрейке. Шпаги завертелись, он прислонился к штурвалу грудью и не мог его удержать. Жора и третий кинулись к нему на помощь.

Нос опять подался на камни. Я стоял как раз за мачтой и видел, как она шла в сторону, приводилась к середине между камнями. И разглядел черную щель фиорда — прямо против нас; волна на нее нака-

тывала косо и закручивалась по стене; от этого нас стало заносить и развернуло, и мачта прошла мимо. Двигатель снова зачистил, сотряс всю палубу и нас на ней, и мы опять отошли. Прожектора заметались — то в небо, то упирались в камни. Грунт под камнями был изрыт водоворотами, из воронок летел гравий, барабанил нам в скулу.

Мы опять развернулись — медленно-медленно — и снова стояли против черной щели, ни назад, ни вперед. Двигатель ревел и чистил, когда обнажало винт, и вдруг нас рвануло, приподняло — все выше, выше — и понесло на гребне. Камни промелькнули с обеих сторон, а потом волна их накрыла с ревом. Я только успел подумать — пронесло, — и увидел скалу, черную, пропадающую в небе. По ней ручьями текло, и она была совсем рядом, да просто тут же, на палубе. Те, кто стоял у фальшборта, отпрянул к середине. А нос опять стало заносить, и скала пошла прямо на мачту, на нас, на наши головы...

Я зажмурился и встал на колени. И как-то я чувствовал — все тоже присели и скорчились. И у меня губы сами зашевелились — что-то я такое шептал? Молился я, что ли? Если ты только есть, спаси нас! Спаси, не ударь!

Над головой у меня затрещало, сверху упало что-то, скользнуло по руке, проволока какая-то — ох, это же антенна, «маркониева» антенна! — и что-то тяжелое, железное, упало на трюмный брезент рядом с нами, как будто верхушка мачты. Но еще ж не конец, не смерть! И я открыл глаза.

Грохотало уже позади, и двигатель урчал и покашливал в узкости. Прожектора шарили между нависшими стенами, отыскивали поворот. Море храпело за кормой, а мы прошли поворот, и теперь только хлюпало под скалами. Это от нас расходились волны — от носа и от винта, а шторм для нас — кончился.

Я встал на ноги, взялся за бакштаг. Колени у меня дрожали, нагрудник тянул книзу пудовой тяжестью. Я развязал тесемки и скинул его, взялся и другой рукой за бакштаг. Шурка тоже его скинул. И Серега. И все.

Потом открылась бухта — стоячая вода, без морщинки. В маленькой поселке светились два или три огонька, и тишина была такая, что в ушах звенело.

Мы вышли на середину, и двигатель смолк. Прожектора сразу начали тускнеть, потом их кто-то вырубил совсем, и стало видно, что рассвет уже недалеко, уже посерели сопки, домишки в поселке, суденышки у короткого причала. На трюме валялся обломок мачты, и проволока висела кольцами. Кто-то ее зачем-то сматывал.

Потом боцман ушел к брашпилю. Пошел молча, с собой никого не звал. Слышен был всплеск и как зазвякала цепь. В рубке опустили все стекла, кто-то высунулся, смотрел на поселок.

А пароход покачивался еще, по инерции. Сутки простои — он успокоится.

Вот тут я и сплеховал. Никогда этого со мной не случилось, с первого дня, как я пришел на море. Едва я успел дойти и свеситься через планшир, «дед» подошел ко мне, весь дымящийся, в пару, подержал за плечо. Потом дал свой платок — вытереть рот — и кинул его в воду.

— Ничего, — сказал «дед». — Все, Алексеич, нормально. Моряк, на стоячей воде травишь.

До чего же мне было плохо. И стыдно же до чего — хотя никто как будто на меня не смотрел.

Стукнула дверь — шотландцы выходили на палубу в черных своих роках-комбинезонах, по двое, по трое, обнявшись, как братья.

Люди как люди. И я ушел с палубы.

Почему-то меня не трогали. Я сквозь сон слышал — кого-то еще зывали на откачку, кто-то возвращался, хлопал дверью, скидывал сапоги. Потом еще, помню, кричали: «Молодой» пришел!.. Примите кончики!..», и я никак понять не мог, какой там еще молодой... И стук помню машины, только не нашей, и где-то под бортом хлюпало, а потом все стихло, и я провалился в черноту.

А проснулся, когда совсем светло было в кубрике. Ну, совсем-то светло у нас не бывает — иллюминатор в подволоке крохотный, — но все можно было различить. Ребята лежали, все почти в телогрейках, поверх одеял. В ваньки-ободовой койке спал какой-то шотландец в рокане, лицом вниз, даже капюшон не откинул.

А я отчего проснулся? От холода, наверно. Или оттого, что где-то сопело, хлюпало, и я подумал: снова там нахлебали.

Я вышел — увидел бухту, молочно-голубую, всю залитую солнцем. Редкие-редкие неслись облака по голубому небу. Поселок уже проснулся, чернели человечки на снегу, и домишки были уже не серые, а ярко-красные, зеленые, желтенькие, и от причала отходили суденышки.

Вот что, оказывается, сопело — у нашего борта буксир стоял, «Молодой». От одного названия мне весело стало — только поглядеть на эту калошу, на трубу ее высоченную. Трюма у нас были открыты, валялись на палубе вынутые бочки, а с «Молодого» тянулись к нам толстые шланги — в оба трюма и в шахту, через дверь.

В трюме двое мужиков заделывали шов. Один в беседке висел, другой ходил по пайолам. Воды там уже осталось по щиколотку.

Я присел на комингс, закурил.

— Смотри-ка, — этот сказал, в беседке, — один живой обнаружил!

— Живой, — говорю. — Только не вашей милостью. Вы-то чего там в Северном оказались, где никто не тонул?

— Да кто ж вас знал, ребятки, что вы с курса уйдете? Мы-то успели, а вас и во всем квадрате нету. И связи нету. Мы уж подумали: на дно ушли.

— Поспели вы! На нашу панихиду.

Тот, снизу, с пайол, сказал угрюмо:

— Да мы такие, знаешь, спасатели: как никто не тонет, так мы хороши.

— Ничего, — сказал в беседке, — зато долго жить будете, ребята.

— Да, — говорю. — Это нам не помешает.

Я курил, смотрел на их работу. Они уже закончили опалубку, теперь ляпали в нее цементом.

— Нас, — я спросил, — не позовете помогать?

— Что ты! — сказал этот, в беседке. — Мы вам теперь и пальчиком не дадим пошевелить. Спите, орлы боевые.

Что-то я еще у них хотел спросить?

— Курточку я тут потерял. Не находили?

— Которую? — спросил в беседке.

Я вздохнул.

— Да что ж рассказывать, если не нашли. Хорошая была, душу грела.

— Да если б нашли — не заначили, какая б ни была. — Что-то он вспомнил. Лицо сделалось такое мечтательное. — Слышь-ка, тут шотландец один рокан снимал. Такой свитерок у него под роканом. Мечта моей жизни. Ты похвали — может, подарит.

— Так он же мне подарит, не тебе.

— Все равно приятно. А я б с тобой на чего-нибудь обмахнулся.

— Да нет уж, просить не буду.

— Зря. Момент упускаешь.

Снизу, угрюмый, спросил:

— Как же ты ее потерял? Шов небось курточкой затыкали?

— Да вроде того.

Он покачал головой:

— Это бы вам, ребятаки, много курточек понадобилось. В трех местах текли. В трюма набирали, в машину и через ахтерпик.

— Это, значит, к механикам в кубрик с кормы текло?

— Ну!

— Скажи пожалуйста! А мы и не знали.

В беседе еще спросил:

— Ну, а этот-то, этот-то, Родионыч — ничо себя вел? Зверствовал небось, когда поволноваться пришлось?

— Ничего. Когда тонули, смирный был.

— Смирный! — сказал угрюмый. — Волки в паводок тоже смирные бывают, зайчиков не трогают. А как ступят на бережок, так сразу про свои зубы-то вспоминают.

— Может, и так, — говорю. — Все же он урок получил.

— На таких, знаешь, уроки не действуют.

Я не спорил. Вот уж про кого мне меньше всего хотелось думать, так про этого Родионыча. И отчего-то я все никак не мог согреться. Хотя вроде на солнышке сидел. Ну, да какое уж тут солнышко! Этот, в беседе, и то заметил, что я зубами стучу.

— Ты, парень, прямо как в лихорадке. Ну, натерпелись вы! Сходи на камбуз, там плита топится.

— Кандей неужто встал?

— Ну!

Я уж хотел сходить, но тут к нам катер стал причаливать, с базы. Я от него принял концы.

— Вахтенный! — кричали мне с катера. — Позови-ка там Гракова.

Вот я уже и вахтенным заделался. Но звать не пришлось: Граков мне сам навстречу вышел из «голубятника» — побритый, китель на все пуговики, лицо только чуть помятое с перепоя. За ним вышел кеп — тоже в кителе, и штурмана — Жора и третий. Старпом их провожал — в меховой своей безрукавочке — до самого трапа.

И еще с ними боцман вышел — хмурый, с пятнышком зеленки на скуле, и чокнутый наш, Митрохин. Оба в пальтишках, в шапках. Эти-то зачем отчаливали, я так и не понял.

— Как с гостями-то? — старпом спрашивал у Гракова.

— Да уж не буди, пока спят. И своим дай выспаться. Вечером их сами на базу свезете. Только чтоб они как-нибудь отдельно, понял?

Третий помахал старпому с катера.

— Ты теперь-то хоть не шляпь, когда на буксире.

— Оправдывай доверие! — крикнул Жора.

Кеп ничего не сказал, только сплонул в воду.

Катер отчалил. Меня Граков так и не заметил. Старпом ко мне повернулся сияющий:

— Слышь, жожаковский? Может, все и обойдется. — Зашлепал к себе вприпрыжку.

Отчего же нет? — я подумал. Конечно, обойдется, дураков же мы до отчаянья любим. Такой же ты старпом, как я — заслуженный композитор. Поставь тебя на мостик — то курс через берег проложишь, то назад отработаешь не глядя, то даже шлюпку не различишь, какую

прежде вываливать. Еще глядишь — и в кепы выйдешь. Не дай мне, конечно, бог с таким кепом плавать. А другие, кто поспособнее, будут под тобою ходить — вон хотя бы Жора или даже третий. Не понять мне этого никогда.

И холодно мне было зверски. Не так чтобы от воздуха, день-то намечался не морозный, а как-то внутри холодно. Я пошел на камбуз.

А кандей, оказывается, пирог затеял. Поставил тесто, в кастрюльке крем сбивал — из масла и сахара.

— Для гостей? — я спросил.

— Зачем? Для вас. Ну, и для гостей тоже. Для меня-то вы все одинаковые.

Постепенно бичи повылезали в салон. Потом пришли шотландцы. И мы этот пирог умяли вместе, на радость кандею, с чаем. Жаль только, выпить было нечего, а то б совсем стали родные. Кандей все печалился:

— Раньше бы знать — наливочку сотворил бы из конфитюра. И рецепт у меня есть, и конфитюр есть, а вот времени не было — для заквасочки.

Но мы и без заквасочки пообщались. Каждый себе по шотландцу отхватил — и общались, не знаю уж на каком языке. Васька Буров — тот себя пальцем тыкал в грудь и говорил:

— Вот я — да? Я — Васька Буров. Такое у меня форнаме. А по должности так я на этом шипе главный бич, по-русски сказать: артельный. Теперь говори, ты кто? У тебя какое наме и форнаме? Джаб у тебя на шипе какой?

И, между прочим, он-то больше всех и выяснил про этих шотландцев.

— Бичи, — говорит, — тут, считайте, одно семейство плавает. Кеп у них — всеобщий папаша. Вон этот, долгий-то, которому Сеня-вожаковый конец бросал, так он — младший потрох. Вон те два рыжанчика — старшенький и средний. А те — зятья, у кепы еще две дочки имеются. Один у них только чужой — «маркони», они ему деньгами платят, а себе улов берут. А судно у них — не свое, владельцу еще пятьдесят процентов улова отдают как штык.

— Что ж они ему теперь-то отдадут? — спросил Шурка. Очень ему жалко было семейства.

— А ни шиша. Все ж застраховано. Они еще за свою «Пегушку» компенсацию получают. — «Пегушкой» он «Герл Пегги» называл. — И с фирмы еще штраф возьмут, которая им двигатель поставила дефектный.

Нам как-то легче стало, что не совсем они пропащие, наши шотландцы.

— А нам, бичи, знаете, сколько бы премии отвалили, если бы мы ихний пароход спасли? Пять тыщ фунтов, не меньше.

— Ладно, — сказала Серега. — Нашел, о чем спрашивать.

— А я разве спрашиваю? Сами говорят.

Потом они стали нас к себе в Шотландию приглашать, в гости. Изпод роканов вынули шариковые ручки и записали свои адресочки, а ручки нам подарили. Адресочки мы взяли, на всякий случай. Их тоже пригласили — кто во Мценск, кто в Вологду, кто в село Макарьево Пензенской области.

А дело там, на палубе, само делалось. Слесаря с «Молодого» и правда не дали нам пальцем пошевелить. Сами и парус убрали в форпик, и бочки убрали, и обломок мачты к месту приварили — это рей оказался, мачта только чуть погнулась. Даже антенну «маркониеву» натянули. «Дед» только сходил поглядеть и рукой махнул:

— Как-нибудь дошлепаем.

Потом мы опять спали. И мы и шотландцы. Проснулись только под вечер, когда «Молодой» нас потащил через фиорд. В Атлантике шторм уже послабел, я это по птицам видел — опять они усеяли скалы и гор-ланили, когда мы под ними проходили. В шторм они прячутся куда-то.

Когда вышли, солнце светило косо и океан темнел грозно, поблескивал невысокой волной. Но скалы уже припорошило снегом, и были они снова белые, с лиловыми извилинами, с оранжевыми верхушками, и даже не верилось, что мы-то их видели черными, и не так давно. В миле примерно от фиорда мотались в прибое чьи-то обломки. От «Герл Пегги»; наверно, или чьи-нибудь другие. Шотландцы наши помрачнели и снова стали креститься.

База нас ожидала на горизонте — вся в огнях. На мачтах, на таке-лаже — огни и в десять рядов иллюминаторы. Целый город стоял посре-ди моря, а в воде его отражение. Когда подошли поближе, стало видно, как светится голубым светом вода вокруг ее днища, как будто ее под-свечивали из глубины. Весь борт усеян был людьми, вдоль всего план-шира торчали головы и на верхних палубах, в надстройках. Между мачт висел флажный сигнал по международному коду, снизу его подсвечи-вали прожектора: «Привет спасенным отважным морякам Шотлан-дии». Я на крейсере сигнальщиком служил, так я бичам и перевел. «Молодой» нас притер аккуратно к базе, матросы с него перескочили к нам и закрепили концы. Они же и сетку приняли от ухмана. Мы ни к чему не прикасались. Прямо как пассажиры.

Шотландцы стояли уже наготове. Мы вышли с ними попрощаться.

— По пятеро пускай цепляются! — крикнул ухман. — Вы уж им объясните, ребятки.

Кто-то с базы по-английски в мегафон прокричал. Наверное, то же самое.

— А ты штормтрап не мог подать? — спросил дрифтер. — Э, грамо-тей!

Ухман себя только рукавицами похлопал. Оплошал, мол, бывает.

Двое шотландцев посадили маленького, помогли ему ноги продеть в ячею. Он вцепился одной рукой, а другой, забинтованной, помахал нам на прощание. Вдруг они о чем-то перекинулись, и один соскочил, показал нам на сетку. Они нас приглашали с собой.

— Да нам-то чего там делать? — спросил Васька Буров.

— Э, чего делать! — сказал Шурка. — Ехать, и все.

Он первый вцепился в сетку и меня потянул за собой:

— Земеля, поехали, раз приглашают.

Пятым вскочил Васька. И сетка понеслась. Была не была!

Ухман кинулся к нам:

— А вы-то куда? Впереди гостей...

— Ай лав ю, мистер ухман! — Шурка ему сказал.

Маленький шотландец тоже чего-то подвякнул. Очень, наверно, тол-ковое. Нас и этот, с мегафоном, не стал задерживать. Ухман махнул варежкой.

Со второй сеткой поднялись из наших Серега с дрифтером и «мар-кони». Потом салаги и дрифтеров помощник Геша. А последними — с ихним кепом, представьте, — «Рыбкин» и «мотыль» Юрочка. И так мы всей капеллой и пошли по живому коридору. Тут, конечно, все высы-пали на шотландцев поглядеть — и комсоставские, и матросы, и дев-чата-тузлучницы, и прачки, и медики. Ну, и мы, конечно, пользовались успехом.

Мы сошли — по главному трапу — вниз куда-то, палубы на три, и тут вахтенный — в китеде с двумя шевронами — распахнул перед нами стеклянные двери и показал, куда идти — по длинному-длинному кори-

дору, по красным коврам, прямо к кают-компани. А там уже двери были настежь и стол накрыт для банкета — не соврать вам, персон на сто двадцать, — весь сверкающий, уставленный бутылками, графинчиками, тортами, еще черт-те какой закусью, утыканный флажками — нашими и шотландскими.

Тут-то мы и заробели. Шотландцы — во всем черном, лоснящемся — прошли, а мы поотстали, чтоб их пропустить. И вахтенный, тоже с двумя шевронами, нас-то и узрел.

— Что вы, ребятки! Куда в таком виде? Вы б хоть почистились, прибрались...

Дрифтер чего-то ему промямлил, но очень неубедительно. Это он на палубе горластый, а тут заалел, как майская роза, и сник. Один «мотыль» Юрочка проскочил дуриком. Но оп-то в курточке был и в ботиночках. Не такая курточка, как моя, но все же приличная. А мы-то все в телогреечках, кто даже в сапогах полуболотных, под ними хлюпало, а у меня еще и вата повылезла из плеча.

Мы встали тесной кучкой у переборки, смотрели на всю эту толкотню и уж как чувствовали себя, даже говорить не хочется. И уйти нельзя — как попрешь против толпы, во всем сыром?

— Бичи, — сказал «маркони». — Я так понимаю ситуацию. Теперь, если только девки нас не проведут, топать нам восвосяи.

Это он верную мысль подал. Вахтенный все-таки моряк был, и очень даже галантный. И ведь почти у каждого они тут есть — то ли медничка какая-нибудь, то ли рыбообработчица.

Первым Васька Буров высмотрел.

— А вон, — говорит, — Ирочка идет.

Ирочка не шла, а прямо летела на шпильках, юбка черная колоколом, блузка белая с кружевами, в ушах красненькие клипсы. Если только на руки поглядеть и на шею, видно было, что работает она на ветру, на палубе. Может быть, гузлук разливает по ящикам.

Ирочка нам понравилась.

— Надежная? — спросили мы Ваську.

— По квартире соседка! Ирочка, ты меня не узнаешь?

Ирочка взмахнула покрашенными ресницами.

— Васенька! Вот встреча неожиданная!..

Но тут она на Шурку посмотрела, и Васькиных надежд сильно поубавилось. На Шурку же нельзя не засмотреться. И она как прилипла к нему — все на свете забыла.

— Кстати, Василий. Очень я хотела бы с твоими товарищами познакомиться.

Шурка поглядел на Ваську, Васька — на Шурку. Все тут было ясно.

— Пошли. — Шурка взял Ирочку под локоть. — Там познакомимся.

Вахтенный поморщился, но пустил их.

Дальше все парами шли, чистый убыток. Наконец еще одна пава выплыла, одиночная. Под газовым шарфиком. Вся такая, что мы чуть не ослепли. На голове было наворочено — как только шея не подламывалась?

Дрифтер на нее нацелился.

— Это же — Юля-парикмахерша. Она же мне челочку подстригла. В прошлую экспедицию.

И что-то нам эта «прошлая экспедиция» сомнение заронила.

— Как жизнь, Юля? — он ее спросил. Таким палубным голосом.

Юля даже вздрогнула. Посмотрела на него холодно — голубыми-голубыми.

— Это ты меня зовешь?

- Тебя, Юленька. Кого ж еще?
- Какая я тебе Юля? Я не Юля, а Верочка.
- Ах, Верочка!..
- Вот именно. Ты свою Юлю и окликай.

И прошла Верочка. Дрифтер себя хлопнул по лбу и уж начисто сник.

— Бичи,— сказал Васька,— потопали? В этом вопросе нам не светит.

— Всем по-разному,— сказал «маркони».— Я все же надеюсь.

Это он еще двоих углядел, которые из каюты вышли, от нас неподалеку.

— Минные аппараты — товсь! Уж если эти нас не затралят, двоих как минимум...

Бичи чуть вперед подались. Но я-то уже разглядел, кто это, и стал подальше, за их спинами. Одна — Лиля, неспетая песня моя, другая — Галя.

По походке я ее узнал, Лилю. Ну, и по цвету, конечно, зеленому, неизменному. А походка у нее была занятная — не прямая, а чуть синусоидой, какая-то неуверенная. Ах, как мне это нравилось когда-то — как она ко мне идет. Как будто не хочет и все-таки что-то тянет ее. И все же она красива была, это я должен сознаться. Ну, не такая, как Клавка, на которую таксистник засмотрится и в столб при этом врежется. У ней — свое было, что и не всякий заметит. Но мне и не нужно, чтоб всякий.

Она вдруг улыбнулась, сразу как-то вспыхнуло у нее лицо, и пошла к нам с протянутой рукой.

— Мальчики! — Это она салаг узнала.— Ну, знаете... Теперь-то, надеюсь, вам для биографии достаточно?

— Подробности потом,— сказал Димка.— Сейчас, старуха, вся надежда на тебя. Проведи уж нас по старой памяти.

— Туда? Почему же нет? А он вас пустит, вахтенный?

— Что за вопросы, старуха. Чего хочет женщина, того хочет бог. Ну, и вахтенный, естественно.

— Ой, ну я так рада вас видеть!..

Она еще посмотрела на нас, скользнула взглядом по моему лицу — тут я не мог ошибиться — и не узнала меня. Ну, вообще-то она немножко близорукая. И немножко стеснялась — столько тут мужиков стояло.

Алик обернулся ко мне. Я помотал головой. Тоже тут все было ясно.

Вахтенный их с большой неохотой пропустил — двоих с одной дамой. Ей пришлось улыбнуться ему — так мило, смущенно, — и, конечно, она его убила.

А «маркони» провела Галя.

— Галочка,— он ей сказал,— память о вас не умирает в моем сердце.

— Больше на щке,— сказала Галочка.

— Но тут-то заживет, а в сердце...

— Пошли, трепло несчастное.

«Маркони» к нам повернулся, развел руками:

— Жслаю вам, бичи, всего того же самого.

— Валяй,— сказал дрифтер. А нам он сказал: — Потопали, нечего тут по переборочке жаться.

И правда нечего. Толкотня эта уже поредела слегка, и вполне мы могли отвалить. А больше всего мне этого хотелось. Знобило меня отчаянно. Самое милое сейчас — в койку забраться, все одеяла накинуть, какие есть.

Оттуда, из зала, вышла Клавка, бросила веселый взор на вахтенного, и он ей чуть поклонился, слегка заалел. Я уже рад был, что хоть за чужими спинами стою, не хотелось бы, чтоб она меня сейчас видела. А мне даже приятно было ее видеть — такую живую, раскрасневшуюся, нарядную, в синем платье с кружевом каким-то на груди или с воланом, я в этих штуках слабо разбираюсь, в ушах — сережки золотые покачивались. Даже в лице у ней, я заметил, что-то переменялось — оно как-то яснее стало; может быть, оттого, что она волосы зачесала назад, в узел, и лоб у нее весь открылся.

Клавка нас увидела и подошла.

— Бичи, вы не со «Скакуна»?

— Королева моя! — сказал дрефтер. Опять же палубным голосом. — Да мы же с эфтого самого парохода!

— Где ж этот рыженький, что с вами плавал, сердитый такой? Что-то я не вижу его. Он, часом, не утоп ли?

— Сердитых у нас много. А рыженьких — нету. Может, я его заменяю?

Клавка ему улыбнулась.

— Да нет, тебя мне слишком много... Ну, это я его «рыженьким» зову, а он светленький такой, шалавый. В курточке еще красивой ходил.

— Так это Сеня, что ли?

— Ну-ну, Сеня.

Дрифтер махнул своей лапищей, сказал мрачно:

— По волнам его курточка плавает.

Клавка взглянула испуганно — и меня как по сердцу резануло: так она быстро побелела, вскинула руки к груди.

— Да не сообщали же... Типун тебе на язык, проклятый!

Дрифтер уже не рад был, что так сказал.

— Погоди, груди-то не сминай, никто у нас не утоп. Сень, ты где? Ну-ка, выходи там. Выходи, когда баба требует.

Бичи меня вытолкнули вперед.

Клавка смотрела на меня и молчала. Клавкино лицо, такое ясное, опять порозовело, но отчего-то она вдруг поежилась и обняла себя за локти — как в тот раз, на палубе.

— А чего же вы тут стоите? — спросила. — Вахтенный, ты почему их здесь томишь? Они же со «Скакуна» ребята.

— Ну, Клавочка, — вахтенный малость подрастерялся, — это же на них не написано... Представители от команды должны быть, безусловно. Но не в таком же виде.

— А какой ты еще хотел — от героев моря? Да пропусти, я их в хорошем уголке посажу, сама подам.

— Ну, Клавочка... На твою ответственность.

— На мою, конечно, на чью же еще. Ступайте, ребята, — она их подталкивала в плечи, — ступайте.

Бичи повалили в зал. Но меня он все-таки задержал, вахтенный.

— А вата-то, — говорит, — зачем? — Выдернул из меня клок и показал ей. — Зашить нельзя? И был бы герой как герой.

— Да, это не годится. — Клавка кинула руку к груди, поискала иголку, но не нашла, потащила меня за рукав. — Пойдем, зашью тебя, рыженький.

Навстречу нам уже какое-то начальство шло, с четырьмя шевронами. Граков прошел — опять меня не заметил, за ним кеп и штурмана. Третий всю Клавку обсосал глазами снизу доверху и покачал мне головой. Еще второй механик наш прошел и доцман с Митрохиным, все прикостюмленные. Вот, значит, наши представители...

Мы сошли вниз — еще на несколько палуб, пошли по такому же ко-

ридору, только с зеленым ковром. Клавка выпустила мой рукав и взяла за руку.

— Холодная, — она вдруг остановилась. — Слушай, ты, может, в душик хочешь? Я тебя сведу. Погреешься, пока зашью. Что-то ты у меня совсем холодный.

— Да хорошо бы.

— Ну, чего же лучше!

Из душа какое-то ржанье доносилось. Клавка постучала в дверь туплей — ответа никакого, сплошное ржанье.

— Ну, да, — сказала Клавка, — жеребцы парятся, это надолго. Лучше я тебя в женский устрою, там-то сейчас никого.

— Да ну его, в женский...

— Пойдем! — опять она меня тащила. — Держись за Клавку, с Клавкой не пропадешь.

По дороге споткнулась, стала поправлять чулок. Я ее поддерживал за локоть.

— Ну, и когда ты меня держишь, — улыбнулась, — это тоже, представь себе, приятно.

В женском и правда никого не оказалось. Клавка — опять же туплей — откинула дверь, втолкнула меня.

— Мойся тут смело, никто не сунется. Успеешь еще, к самому интересному.

— Как я тебя потом найду?

— Я сама тебя найду. Телогрейку скидывай.

Сама мне ее расстегивала и морщилась. Потом стащила с плеч.

— Надоело — в соли ходить?

— Да уж надоело...

— Ну вот, как я хорошо-то придумала. Ну, я — живенько.

Клавка убежала с телогрейкой, и я тогда скинул с себя все, бросил шмотки в угол у двери. Там для них и было настоящее место. Кабинка была просторная, не то что наша на СРТ, и с зеркальцем. Я себя увидел — волосы слиплись от соленой воды, щеки запали, глаза как-то дико блестят. Тут поежишься! И куда еще такого пускать в приличную кают-компанию? Я встал под душ. Но пошла какая-то тепленькая, как я ни крутил, и я все не мог согреться. Или такой уж холод во мне сидел — в костях, наверное. Или там, где душа помещается. Я все зубами дробь выбивал и дрожал, как на морозе.

Кто-то ко мне постучался. Я и вспомнить не успел, задвинул я там щеколду или нет, как дверь откинулась. И Клавка сказала:

— Я не смотрю. Вот я тебе зашла. И полотенце тут возьми.

— Спасибо.

Я к ней стоял спиной. Клавка спросила:

— Что у тебя с плечом?

— Ничего.

— Вот именно — «ничего»! Оно же у тебя все синее. Просто черное. Господи, что там с вами было?

— Да все прошло. Вода вот еле теплая.

Клавка подошла, завернула рукав и попробовала воду. Потом выкрутила кран, постучала кулаком по смесителю. И там заклокотал пар. Пробку, наверно, прорвало — из ржавчины.

— Видишь, тут все с хитростью. Ну, теперь хорошо?

— Еще погорячей нельзя?

— Что ты! Я бы и минутки не вытерпела. Вон как ты намерзся! — Она помолчала и вдруг припала к моему плечу, к больной лопатке. Я ее волосы почувствовал и как чуть покалывает сережка. — Такой красивый, а плечо синее. Зачем же так жить глупо!

— Намокнешь, — я сказал.

— Намокну — высушусь. Дай я тебе разотру.

Но не потеряла, а только гладила по плечу мокрой ладонью, и это-то, наверно, и нужно было, боль понемногу проходила. И холод тоже.

Она сказала:

— Ты дождись меня. Ладно?

— Куда ты?

— Ну, надо мне. Посидишь, отдохнешь... Запрись только. А то тебя еще кто-нибудь увидит.

Опять она куда-то умчалась. А я посидел на скамейке, пока меня снова не зазнобило. И я даже заплакал — от слабости, что ли. И опять стал под душ. Я решил стоять, пока она не придет. Целый век ее не было. И я вдруг увидел, что мне все равно без нее не уйти — она все мое ба- рахло куда-то унесла.

Наконец она пришла.

— Хватит, миленький, ты уж багровый весь, сердцу же вредно.

— Куда унесла? — я спросил.

— В прачечную, в барабан кинула. Все тебе живенько и постирают и высушат, я попросила. Ты не спеши, там еще долго речи будут тол- кать. Халат мой пока накинешь.

— Тот самый? С тюльпанами?

— Тот самый. Какая разница? Девка ты, что ли?

Я попросил:

— Ты отвернись все-таки.

— Да уж отвернулась. В халатике ты мне совсем, совсем не инте- ресен. Не то что в курточке. Правда она утонула?

— Да.

— Ну, приходи давай. Четвертая дверь у меня налево, по этой же стороне.

Коридор весь как вымер, и я до четвертой двери дошлепал спо- койно. В каюте горел ночник на столике, и чуть из коридора пробивался свет — сквозь матовое стекло над дверью. Иллюминатор заплескивало волной, и она тоже светилась — голубым светом. Клавка стояла у сто- лика спиной ко мне.

— С кем ты тут? — Я две койки увидел.

— Вот на эту садись. Валечка еще тут, прачка. Которая как раз тебе стирает. Как говорится, две свободные с отдельным входом.

— Две — это уже не с отдельным.

— На то, миленький, существуют вахты. Шучу, конечно. Ну, со- грелся хоть?

— Как будто.

— Поешь теперь? Так мне тебя покормить хочется.

Клавка повернулась ко мне. На столике у нее поднос стоял, накры- тый салфеткой.

— Спасибо. Да мне-то не хочется.

— Ну, попозже. Просто ты перенервничал. Ну, а что ты хочешь? Выпить — хочешь? Совсем захорошеешь.

— Это вот — да.

— Водочки тебе? Или розовенького?

— У тебя и то и то есть?

— Зачем же Клавка живет на свете?

— Как это ты всюду успела?

— Миленький, на флоте же надо бегом.

Я засмеялся. Я уже пьян был заранее.

— Налей розовенького.

Клавка быстро ввинтила штопор, бутылку зажала в коленях, чуть покривилась и выдернула пробку. Я смотрел, как она наливает в фужеры.

— Себе тоже полный.

— Конечно, полный. За то, что ты жив остался. Ну, дай я тебя поцелую.— Клавка ко мне нагнулась, голой рукой обняла за шею, поцеловала сильно и долго-долго. Даже задохнулась.—Ну, живи теперь. Меня хоть переживи.

Она на меня смотрела, прикусив губы. И я себя снова чувствовал молодым и крепким, жизнь ко мне вернулась. Я уже пьян был по-настоящему — и вином, и теплом, и Клавкой.

— Клавка, тебе идти надо?

— Конечно, надо. Но ты ж меня дождешься?

— Дождусь.

— Не умри, пожалуйста. Не умрешь?

Она подошла к двери — без туфель, в чулках,— задвинула замок.

— Клавка, тебя же там хватятся.

— Ну, хватятся. Разве это важно?

— Что же важно, Клавка?

Она мне не ответила. А важно было — как женщина повернула голову. Ничего важнее на свете не было. Как она повернула голову и вынула сережки, положила на столик; как вскинула руки и посыпались шпильки, а она на них и не взглянула, и весь узел распался у нее по плечам; как она смотрела на иллюминатор и улыбалась — наверное, что-то еще там видела, кроме голубой воды,— как завернула руку за спину, а другой наклонила ночник, и как быстро сбросила с себя все на пол и переступила. И как пошла ко мне в руки и прижалась — теперь уже вся, а не только губами.

6

— Понравилась я тебе? Скажи мне, ради бога!..

Она ко мне прильнула, вытянулась, положила голову мне на плечо.

— Ты же знаешь.

— Но услышать-то — как хочется! Сильно понравилась?

— Да.

— Ну вот,— она вздохнула.— Ты выпил, и Клавку еще получил, теперь тебе хорошо. Я знаю, как тебе хорошо. За это мне все простится. Все хорошо было, только вот плечо у меня дрожало. Намахался я с этими треклятыми шотландцами, черт бы их драл.

— Болит все? Какая ж я дура, с этой стороны легла. Надо бы с той. Нехорошо я устроилась?

— Ничего, так лучше... Клавка, за что тебя прокляли?

— Кто, миленький?

— Родители. Ты говорила тогда.

— Ну вот. Зачем ты сейчас про это?

— Скажи.

Она помолчала.

— Да я такая шалава была, теперь вспомнить страшно... Ну, я уж помирилась с ними. Это ты потому спросил, что я сказала: «Мне все простится»? Что ты еще хочешь про меня спросить?

— Про себя хочу. Когда же я тебе понравился?

Она ответила удивленно:

— Сразу! Ты разве не понял, что сразу? Как я только тебя увидела. Ты там сидел в углу с бичами, с каким-то еще торгашиком, а я к тебе через всю залу шла и на тебя только и смотрела. Такой ты хороший сидел в курточке! Щедрый, и все тебе нипочем, лицо — такое светлое!

— Неправда, я злой был, как черт.

— Ну, ведь с пропащими сидел. Их же никто за людей не считает, Вовчика этого с Аскольдом. Все только и бегают они ко мне: то — «Клавка, покорми в долг», то — «Клавка, похмели, завтра в море идем, с аванса разочтемся». Про меня уже чего только не думают, а я их просто жалею. С ними-то будешь злой!.. А плохо, что ты меня не заметил. Я перед тобою и со скатерки чистой смела, и уж так, и так... А сказал бы ты мне тогда: «Поедем со мной, Клавка», тут же бы поехала, куда хочешь. Скинула б только передник.

Она смотрела на иллюминатор, улыбалась, глаза у нее блестели влажно. Я спросил:

— А дальше что было?

— Дальше-то?.. Может, не нужно?

— Теперь уж — все нужно.

— А дальше — ты меня перед этими пропащими позорил. Пригласил, за ушком поцеловал... Я вся намылилась, марафет навела, в большом порядке пришла к тебе девочка! А ты, оказывается, специалистку свою ждал, ни по рыбе, ни по мясу... ты уж прости. А потом еще на Абрам-мыс ездил. Видела я уже — и ту и другую, — да разве они меня лучше? Да никогда! И уж после того, как они тебе не отпустили, ни та, ни другая, ты ко мне являешься: «Клавочка, без тебя жить не могу!»

— Пьян же я был.

— Да уж хорош. Как собака. Я так и поняла: ты — это уже не ты. Мне даже как-то и не жалко было, когда они тебя били. Не убью же, думаю, таких не убивают... Я уже потом спохватилась, как узнала от них, что ты в море ушел — из-за этих денег. Я-то думала — проспишься, придешь за ними, и мы при этом поговорим хоть по-человечески. Ведь мы ж не говорили! Так я ревела тогда. И себя проклинала. Тоже я хороша была!

— Себя-то за что?

— Ну... наверно, любил же ты эту... специалистку. Не все так просто было. Я тоже нехорошо про нее говорю. Любил, да?

— Теперь не знаю.

— Это ты так не говори. Это ты и про меня когда-нибудь скажешь: «Не помню, хорошо ли мне было с Клавкой».

Я ее обнял.

— Не скажешь ты этого, — она засмеялась. — Ни за что не скажешь!

Я ее обнял сильнее.

— Подожди. Ну, подожди же, куда я не денусь. И устал же ты. Так сильно она меня обнимала — и уже не помнила про мое плечо, и себя не помнила. Как будто жизнью со мною делилась.

— Хорошие мы, — она сказала. — Хорошие друг для друга.

А потом:

— Ну, это ведь и не чудо, нам же не по шестнадцать. Нет, все-таки чудо.

И опять лежала — головой на моем плече, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом. И у меня самого голова кружилась. И так славно укачивало нас волною, когда она наплескивалась на стекло.

Кто-то к нам постучался тихонько. Вот уж действительно как с другой планеты.

— Ох... — Клавка замотала головой и выругалась сквозь зубы. — Ну что поделаешь, открою.

— Ты что?

— Да это же Валечка. Твои постирушки принесла. Ну какой ты у меня еще мальчик! Думаешь, она без романов тут живет? Не-ет, Валечка у нас не такая!

Она приоткрыла дверь. Валечка оттуда спросила:

— Все хорошо? — И засмеялась.

Клавка ей ответила чуть хрипло:

— Лучше не бывает. Спасибо тебе, Валечка.

— Да уж если на банкет не пошли...

— Ох, какой уж тут банкет. Свой у нас банкет. Спасибо тебе большое.

Клавка уже не вернулась ко мне, стала одеваться, подобрала все с полу. Я спросил:

— Она тоже из-за меня не пошла?

— Ну что ты. Не все из-за тебя. Двое у ней тут встретились, в одном рейсе. Один бывший, другой теперешний. Передрались еще могут, лучше в красном уголочке посидеть.

— Не растреплет?

— Кто, Валечка? — Клавка рассмеялась, взъерошила мне волосы. — Миленький, успокойся. Уже про то, что я тут с тобой, вся плавбаза знает. От килы, как говорят, до клотика. Что нам после этого — Валечка!

Я тоже засмеялся.

— Выходит — поженились мы с тобой?

— Да уж поженились...

Я помолчал и сказал:

— Я не просто спрашиваю, Клавка.

— О чем ты?

— Какими же мы отсюда выйдем? Как я завтра без тебя буду?

— Ой, вот уж про чего не надо. Я тебя умоляю! Таким же и будешь, как сегодня утречком.

— Нет. Ни за что.

Клавка ко мне присела.

— Ну зачем это тебе в голову-то пришло? Вот взял и все испортил. Зачем, спрашивается? Ты подумай-ка — еще и не началось у нас ничего, а уж все было испохаблено. Бедные мы с тобой! И что нам такого хорошенького впереди светит? Ну, буду я тебе — моряцкая жена. Будешь ты уходить на три с половиной месяца! А я тебя — до трапа провожать, в платочек сморкаться. Или же в коечке, до Тювы. Потом, значит, верность соблюдать, вот так сидеть и соблюдать. Песенки для тебя заказывать по радио. «Сеня, ты меня слышишь? Сейчас для тебя исполнят «С матросом танцует матрос». В кадры звонить — как мой-то там, не упал еще «по собственному желанию»?.. Потом встречать тебя, толпиться там, а в кошелке уже маленькая лежит чекушечка, сразу в рот тебе сунуть, чтоб ты не закосил никуда бы, аванс бы не пропил. Приведу тебя пьяненького домой на кушеточку и полежим наконец-то рядышком. Так вот для этого-то счастья — все остальное было? Чем я тебе не угодила, что ты мне такой жизни пожелал!

Я сказал:

— Уехать можно куда-нибудь, другого чего поискать...

— Можно... Да и про это, наверно, можно по-другому рассказать. И очень даже распрекрасно. Да ты ведь другим не родишься!

— Какой же я, Клавка?

— Все сказать? Не обидишься?

— Нет.

— Не такой ты, за кого выходят. Влюбиться в тебя можно, голову даже потерять. В одних твоих глазыньках зеленых утонешь... Но выйти за тебя — это же лучше на рельсы лечь. Или вот отсюда, из иллюмина-

тора, вот так, в чем есть, выброситься. Ты знаешь, ты — кто? Одинокая душа! Один посреди поля. Вот руки у тебя хорошие.— Взяла мою руку, прижала к своей щеке.— А душа — ледышка. И ни в каком душике не отогреть мне ее никогда. Страшно мне было, когда ты на меня кричал.

— Я не кричал.

— Уж лучше б кричал. Лучше бы даже побил. А ты так... по-змеиному, шепотом. Ты все на меня мог подумать. Но ты что — не видел, как я на тебя смотрела? Я же на палубе, на ветру стояла! Тут не подделаешься.

Это я просто видел сейчас, как она смотрела. А вспомнилось мне, как Алик нам кричал сверху: «Бичи, вы мне нравитесь, это момент истины!» Наверно, есть что-то, чего не подделаешь,— только ведь различить!.. И еще про шотландца, на которого я орал. А он, наверно, просто спал в корме. Страхом намучился, устал... Руки-то делали, что надо, а душа была — ледышка.

Я сказал:

— Может, потому все, что жизнь у меня такая... Колесом заверченная.

— А у меня она — другая? Тоже вертись. Но живем же мы еще для чего-нибудь, не только чтобы вертеться. Иной раз посмотришь...

— И звездочка качается...

— Какая звездочка?

— Клавка,— я сказал.— Я теперь без тебя не жилец!

— Не надо так. Я тебе же хорошего желаю. Я ведь сбегу от тебя, это у меня живенько. Второй раз такое лицо твое увидеть... как тогда, помнишь, когда я тебя спрашивала: «Рыженький, что ты против меня имеешь?» А ведь увижу, увижу! Что другое, а это я увижу. Наговорят тебе про меня — и увижу. И далеко мне придется от тебя бежать! От милого-то подальше бежишь, чем от немилого.

— Клавка, зачем же все было?

— Что было? А ничего такого не было.— Уже она другая стала, когда накинула платье, далекая — вот с этим кружевом на груди. И самое-то лучшее уже прошло — когда она в первый раз ко мне припала, к плечу.— Ну, что ты спрашиваешь? Зачем любовь была? Да так... Пусто мне в последнее время. Ты в эту пустоту и залетел, такой непрошенный. А тут еще ты смерть пережил. Ну, прости. Наверно, не надо было...

Нет, я подумал, все было надо. Хотя бы затем, чтоб ты мне все рассказала. И впредь бы я не думал, что можно пройти мимо любого и коснуться его — хоть рукой, хоть словом — и совсем следа не оставить. Но почему же ты пришла, чтобы уйти? Сама же спрашивала: «Зачем так жить глупо?» Уходим мы, чтобы вернуться. Возвращаемся, чтобы уйти. А мне-то уже подумалось — я прибил к какой-то пристани, и она была, что называется, «обетованная». Где-то я такое слышал: «Земля обетованная». Не знаю, что это. Но, наверно, хорошая земля. Только и она от меня уходила.

Я это хотел ей сказать — и не успел. Потому что тут, в каюте, тоже был динамик. И по трансляции объявили: наших шотландских гостей приглашают на верхнюю палубу. Причалил норвежский крейсер, который отвезет их на родину.

— Их еще долго будут провожать,— сказала Клавка.— Обниматься, миловаться... Ты отдохни еще, все-таки я тебя покормлю. Вас-то пока не дергают.

— Это не задержится.

И точно, не задержалось. Ниже поименованных товарищей попро-

сили вернуться на свое судно — для несения буксирной вахты. Перечислили всех почти, кроме машинной команды.

— И тебя позвали?

— Разве не слышала?

Клавка ушла к столику, закинула руки, встряхнула всю копну волос. И снова рассыпала по спине. Потом стала собирать в узел.

— Я же не знаю твою фамилию. Знаю только, что Сеня.

Я сказал ей.

— Вот теперь буду знать. Надо тебе идти?

— Вахта все-таки. Хотя и буксирная.

— Жалко, я думала: мы хоть вместе доплывем. Я бы тебя где-нибудь устроила.

— Я бы и сам устроился. Только ни к чему.

Я теперь должен был встать и уйти. Но встать мне было — как на казнь, и куда я должен был идти от нее — я тоже не знал.

Все-таки я оделся. И все-таки еще одну глупость сделал. Спросил ее:

— Не встретимся больше совсем?

— Не знаю. Запуталась я. Уехать бы мне куда-нибудь!.. Ну, иди, пожалуйста. Иди, не терзай меня. Я даже не знаю, как я отсюда выйду. И хлопот мне еще прибавилось.

— Каких же хлопот, Клавка?

Она улыбнулась через силу:

— Маленький? Не знаешь, с чего дети начинаются?.. Ох, нельзя мне было сегодня!..

Никогда я не знал, что в таких случаях говорят. Я хотел подойти к ней. Она попросила:

— Не надо, не целуй меня. А то я совсем расклеюсь.

— Прощай тогда...

Когда я уходил, она отвернулась к столику, вдевала сережки.

Я дошел до главного трапа и остановился. Может быть, здесь она и спрашивала: «Что ты против меня имеешь?» Я встал в тени, за огнетушителем. Мне хотелось еще раз на нее посмотреть.

Клавка шла по коридору — медленно и как пьяная. Не как те пьяные, которых шатает. А как сильно пьяные, которые уже прямо идут. Шаркала каблуками по ковру. Остановилась, поправила волосы и улыбнулась сама себе. Но улыбка тоже вышла пьяная и жалкая какая-то.

От других — когда я уходил после этого — мне больше всего отдохнуть хотелось душой, весь я пустой делался. А ее — как будто с кожей от меня оторвали. Я даже позвать ее не смог, когда она мимо прошла, не заметила. Лучше мне было не смотреть на нее.

Я вышел на верхнюю палубу — там шумно было, светло и весь левый борт, где причалил крейсер, запружен людьми. Там все еще провожали шотландцев, никак не могли отпустить. Обнимались с ними, фотографировались при прожекторах.

Я туда не пошел. Мне хотелось с первой же сеткой спуститься, чтобы не увидеть Лилю, когда она выйдет провожать салаг. Слава богу, они где-то задержались, а первыми Шурка пришел и «маркони». Урман нам подал сетку, и мы взлетели. «Маркони» Галка вышла проводить, она ему помахивала платочком и хохотала. Шурку провожала Ирочка, но как будто ей не до смеха было.

Мы летели, и «маркони» мне кричал:

— Сеня, ты с прибылью? Тебя поздравить можно?

— А ты как?

— Все так же, Сеня. Но говорит, с третьего захода еще надежней.

Принял нас «дед». Он в чьей-то телогрейке был внакидку и в шлепанцах на босу ногу. Понюхал нас и скривился.

— Портвишки накушались, славяне. Ай, как не стыдно! Хоть бы водяры...

... Я смутился.

— «Дед», забыл про тебя.

— Ты-то забыл, а я нет,— Шурка из телогрейки достал поллитру «столичной». — Ну, не я, а просили передать в подарочек.

— Кто ж это, интересно?

— Просили не говорить.

— Таинственно,— сказал «дед». — Еще тут два инкогнито мне по бутылке армянского смайнали на штертике. Между прочим, пока не начато.

Спустились еще Серега и Васька Буров. Васька на лету вспоминал про бутылку вермута итальянского — так она и осталась на столе распечатанная, а дотянуться руки не хватило.

— А попросить, чтоб передали, нельзя было? — спросил «дед».

— Да постеснялись. И так нас вахтенный пускать не хотел.

— И правильно он вас не пускал,— сказал «дед». — Куда вас таких шелудивых пускать? Да и вести себя не умеете. А ты-то чего полез, «маркони»? Оба мы с тобой в списочке состояли, оба отказались дружно, а ты — взял да полез.

«Маркони» себя почесал за ухом.

— Сам удивляюсь. Ну, все полезли — и я.

— Ох, бичи, когда же вы достоинство-то будете иметь? Ну, вот что. Насчет двух бутылок армянского не пропущено без внимания? Так вот, я вас, бичи, к себе приглашаю. Понимаете — при-гла-ша-ю. Но учтите — я вас тоже к себе шелудивыми не пущу.

«Дед» зашлепал к себе. Бичи тоже разбежались сразу. А я еще задержался — взглянуть на борт плавбазы: не может ли быть все-таки, чтоб Клавка вышла поглядеть на меня. Нет, так не было.

Вдруг я заметил — в тени, возле капа — одинокая фигура. Личико неприметное, капелюха на глазах.

— Обод, ты, что ли?

— Ну!

Он как-то нехотя ко мне подошел, такой нескладный, в пальто ниже колен.

— Ты почему не на базе?

— А чего там хорошего? Я с вами до порта поплыву. Пассажиром. Примете?

— Плыви. Мы теперь все тут пассажиры.

«Маркони» мне крикнул из рубки:

— Сень, ты не забыл — мы к «деду» приглашены. Галстук у тебя есть? А то могу свой дать, японский.

— Ну, если японский...

Шурка мне еще пуловер одолжил, так что я прилично выглядел. Васька Буров костюм свой вынул — не знаю уж, на кого там шили: в плечах тесно, зато через штанины по Ваське можно протащить. Серега ему посоветовал хоть галстука не надевать, а то он со своей бородежкой совсем будет чучело.

И отчего-то мы даже волновались слегка, хотя, спрашивается, чего мы там не видели в «дедовой» каютке? Пошли к нему — как на медкомиссию. «Дед» перед нами извинился, что вынужден принять нас без пиджака, костюм у него маслом заляпан, а в кителе — это как-то слишком официально. Мы набились тесно на диванчике и на «дедовой» койке. А за нами еще Ванька Обод увязался, тихий, как тень. Спросил робко:

— Меня-то примете? Я тоже не порожним пришел.— Вынул из пальто поллитру, завернутую в газетку.

— Входи, беглец несчастный,— сказал «дед».— Как, примем его? Приняли мы беглеца, голько пальтишко предложили скинуть и шапку. «Дед» показал на столик:

— Прошу, славяне.

Но закуси было — тарелка с ветчиной и хлеб на газетке. Шурка вскочил:

— Сейчас пойду кандея раскулачу.

Возвратился с немалой добычей — в одной руке полведра компота, в другой, на локте, два круга колбасы, на пальцах кружки, под мышками — по буханке белого.

— Хоть шаром покати на камбузе. Все кореши-иностранцы подели, а ужин кандей не варил. кум у него обнаружился на «Молодом».

Васька Буров сказал:

— Вон как. В первый раз кандей с вахгы сбежал, а трагедия. Но простим кандею, бичи.

Простили мы кандею. «Дед» понюхал ведро и спросил:

— Из-под чего ведерко?

— Из-под угля,— сказал Шурка.— Да я помыл его.

— Ох, кашалоты,— «дед» засмеялся,— как вас только море терпит!

«Маркони» разлил по кружкам коньяк, первую протянул Ваньке Ободу. Ванька ее взял осторожно.

— Почему ж это мне сначала?

— А первый тост — за вернувшихся,— сказал «дед».— Пока что ты у нас вернулся, беглец. Мы еще нет.

Ванька пошмыгал носом, вздохнул:

— Я, ребята, не беглец. Я узел хотел развязать семейный.

— Топориком? — «Маркони» нам подмигнул.

— Да, если бы застал.— Ванька опять вздохнул.— Втемяшилось чего-то... А кто у меня есть, кроме нее? Развяжешь, а сам — сиротой вроде останешься.

— Не остался бы,— сказал «маркони»,— уже твоей Кларочке отбито, что ты возвращаешься. Кстати, полтинник с тебя за радиogramмку.

Ванька совсем расстроился. Поглядел в свою кружку и сказал глухо:

— Вы меня простите, ребята. Вы, можно сказать, герои, а я кто?

— Не кайся,— сказал Серега.— Такие же мы, как и ты.

«Дед» поднял кружку.

— Поплыли, славяне?

Мы «сплавали» и вернулись. Возвращение наше отметили колбасой и запили компотом, из тех же кружек.

«Маркони» стал рассказывать, как было на банкете, какую там Граков речь толкал и как он припомнил радиogramму шотландцев, где они благодарили всех, кто пытался их спасти, просили передать приветы близким. Все это он в вахтенном журнале утречком прочел и запомнил же слово в слово. И как все начали шуметь — зачем он это зачитывает, а он еще спрашивал: «Что же вы, дорогие гости, не надеялись на советских моряков? У нас ведь так — сам погибай, а товарища... ну, и зарубежного товарища тоже — выручай». И как ему кеп-шотландец отвечал, что он благодарит русских моряков и надеется, что ему никогда больше не придется посылать такие радиogramмы господину Гракову.

Я поглядел на «деда» — он морщился, как будто у него зуб болел. Однажды мы с ним говорили, и он тогда странную фразу сказал: «И жалко же мне этого жалкого человека». Я спросил: «Притерпелся

уже к нему за годы?» — «Ну... все-таки одного мы с ним возраста, чуть он меня постарше... Ведь ничего делать не умеет. Всю жизнь — ничего, только вот глупости говорить. Прогони его завтра — под забором мослы сложит. Разве что пенсия...» Ах, «дед», я подумал теперь, неизвестно еще, кто из вас больше умеет!..

«Маркони», однако, и веселое вспомнил:

— Да, Страшной-то наш, Страшной как отличился!

— Потрави! — Васька оживился. — Потрави про боцмана.

— Ну, потеха! Он же к нам-то пересел, один Митрохин возле Родионича остался. Тоже, между прочим, выступил, отметил кепа и действия всей команды. А боцман все накаляется: «Сейчас, говорит, я всю правду скажу». Я его подначиваю: «Умрешь ведь, не скажешь». — «Правильно, говорит, покуда еще рано, вот пропущу стопарь и — скажу». Пропустил. «Закусить, говорит, надо... Нет, еще один пропущу, уж очень страшно». Второй хлопает — тоже рано. Но уж не так страшно. А после третьего — «совсем, говорит, не страшно, только закусывать не буду». Полез выступать. «Что ж, говорит, все верно, сам погибай — товарища выручай, но мы-то и сами не надеялись, что вот за этим столом будем сидеть, у нас такой уверенности не было. А кое у кого, не буду указывать, столько ее было, что он уже заранее этот банкет начал, коньячок попивал в каюте».

— Ай, Страшной! — «дед» усмехался. — Ну, по традиции, теперь надо за боцмана сплавать. Чтоб ему хоть в боцманах остаться.

— А еще он про тебя сказал. «Мы, говорит, видели Бабилова в шахте, мы его видели в рубке, на палубе видели, в кубриках... я сам от него фингал имею, хотя не в обиде. Но почему-то мы его здесь не видим...»

— Ну, это зря он, — сказал «дед». — Я-то сам не пошел.

Я поглядел опять на «деда» и подумал: как же хитер человек во зле! Списочек составил... Для кого списочек? Для тебя одного, «дед». Чтоб ты поглядел и отказался. Он-то тебя лучше знает, чем ты его.

— За боцмана! — «Дед» поднял кружку. — Поплыли, славяне.

Мы снова «сплавали» и вернулись. И приятно нам было узнать по возвращении, что впереди у нас еще богатые перспективы и мы еще долго не разойдемся.

А в это время слышались команды на отшвартовке, «Молодой» нас отводил от базы. Никто этого не замечал за травлей. А я сидел у окна, как раз против ее борта, и видел, как он отваливает, как иллюминаторов сначала был один ряд, потом два, потом четыре. Но вот когда я увидел, как нижние залпскивает волной, я чуть не застонал.

Я очнулся — «дед» про меня говорил:

— Загрустил что-то наш Алексеич.

«Маркони» подмигнул мне.

— Алексеич прибыль свою подсчитывает. Мне дрейф сказал — там есть, к чему пришвартоваться.

— А может, что посерьезнее? — спросил «дед». — Тогда уж на этот счет травить не будем.

Я махнул рукой.

— Да травите, чего хотите.

Шурка быстренько разлил по кружкам.

— За вожакового сплаваем! За дорогого моего земелю. Пусть ему живется, пусть ему любится.

А это, знаете, дорого стоит, когда такой счастличик вам пожелает.

— Поплыли, славяне!

И опять мы вернулись, чуть больше нагруженные, и Ванька Обод теперь рассказывал, как было на плавбазе, когда мы тонули, и как он

места себе не находил — примета же нехорошая, если кто списывается, вот он с этой приметой нам и удружил,— и как все бегали в машину, просили подкинуть оборотиков, хотя и так уже на предельных шли, и как — будто бы! — кеп плавбазы сказал в рубке вахтенному штурману, что, если даже и кончится благополучно, он все равно свой партбилет выложит, но Граков у него ответит.

— Это уже легенда,— сказал «дед». — Но — приятно и легенду послушать.

Тут постучали в окошко — дрифтер припал к стеклу, нос и губы расплющил, строил нам веселые глазки. Мы ему помахали, чтоб зашел. Но он не один ввалился — с боцманом, с салагами и уж не знаю с кем там еще, все в каютке не поместились, стояли в дверях, в коридорчике, и кружки пошли по рукам. И началось, конечно, все по новой — и разговоры и тосты...

...Я с ними сидел, выпивал, смеялся. И было мне опять хорошо. Да, пожалуй, что так мне и было.

7

Веселое течение — Гольфстрим!

Две тысячи миль от промысла до порта, но Гольфстрим подгоняет, и ветер еще в корму — не знаю уж, по какой такой милости,— и летим мы так до самого Кильдина, главная забота — свой залив не проскочить. И приходим на сутки раньше.

Ну, теперь-то нас «Молодой» тащил. Мы только на буксирный трос поплывывали, чтоб не рвался. Первые сутки еще базу видели перед собою: днем ее дымки, ночью — ее огни. Потом она ушла за горизонт.

И мы отсыпались, крутили фильмы. Те же самые, конечно. А на третье утро дорогой наш боцман Страшной вылез на палубу, поглядел на солнышко, на синюю водичку, на снежные лофотенские скалы — и так молвил:

— А задам-ка я вам, бичам, работу. Ишь рыла наели, как кухтыли. А судно прибирать кто за вас будет?

— Ты, боцман, сходи посни,— Серега ему посоветовал.— Нас же по приходе в док поставят.

— До дока мы еще в порт должны прийти. А на чем? Срам, а не пароход.

Ну, мы, конечно, повякали, душу отвели, а потом, конечно, взяли шкрябки, стальные щетки, флейцы, начали прибирать пароход. Шкрябали от ржавчины борта, переборки, потом суричили, потом красили. А кто кубрики мыл содой, кто рубку вылизывал, кто гальюны драил. Салаги зачем-то на верхотуру напросились, на мачту, красили там «воронье гнездо» белилами и чернью, покрякивали зычными голосами:

— Алик, поддержи ведро, я на клотик слазаю, надо его мумией покрасить.

— Держу, Дима. Все покрасим — от кия и до клотика!

Дрифтер с помощничком свою сетевыборку выкрасили — такой зеленью, что поглядеть кисло. Третий из рубки смотрел зверем и плевался:

— Во, деревня! В шаровый полагается механизмы красить. Вкуса морского — ни на копейку.

А дрифтер, чтоб ему совсем угодить, и шпиль выкрасил зеленью.

Нам с Шуркой Чмыревым досталось камбуз снаружи прибирать. Милое дело. В корме хорошо, ветра не слышно. Переборка от солнца греется и от начальства заслоняет. Попозже и Васька Буров к нам перебрался — значит, и правда лучшего места не найдешь.

— Бичи,— говорит,— можно, я у вас тут честно посажкую?

— Сачкуй,— Шурка ему разрешил.— Флейц только в руку возьми. И за полундрой следи.

— Что ты, я полундру за милю унюхают!

И Васька во всю дорогу так и не взял флейца. Сидел, блаженствовал.

Кандей с «юношей» прибирали камбуз внутри и часто к нам выходили — посидеть на кнехте, потравить за жизнь.

— Я, бичи, обратно на завод пойду,— говорит Шурка.— Сварщик же я дипломированный,— такое дело на ветер бросать? А по морям шастать — ну его к бесу! Пусть вон салаги попрыгают, они еще этой романтики не нахлебались. Ты, кандей, со мной согласен?

Кандей Вася не только что согласен, а дальше эту тему развивает:

— Но я тебе скажу, Шура: море нам тоже кое-чего дало. Меня возьми — судовые же повара такой экзамен проходят. Если ты своего дела не профессор, на судне ты не задержишься, не-ет! Кеп тебя в другой рейс не возьмет, ему тоже покушать хочется хорошо. Так что у меня шанс. В ресторан «Горка» пристроиться. Блат, конечно, нужен. Но в принципе?

Не знает Шурка, возьмут ли кандея в «Горку», но кивает, соглашается. Великое дело — погода, солнышко! А тут еще в порт идем.

— Кандей! А, кандей! — говорит Васька Буров.— А я про тебя сказочку сочинил. Божественную.

— Ну-к, потрави!

И Васька плетет невесть какую околесину. Но если прислушаться да респести — забавная сказочка.

Вот так примерно. Закончатся когда-нибудь наши извилистые пути, и все мы придем туда — к господу, которого нету. Там уже будут сидеть космонавты, маршалы, писатели, большие ученые и заслуженные артисты,— им-то прямая путевка в рай. И однажды зайвится туда наш кандей Вася, приведут его на суд божий ангелы и архангелы. И спросит его господь, которого нету, спросит с металлом в голосе: «Кто ты и на что надеешься? Отзовись сию же минуту!» — «Повар я. По-рыбацки сказать — кандей. На милость твою надеюсь, господи. Больше-то мне на что надеяться?» — «Говори, чего натворил ты в жизни земной и морской?» — «Да что ж особенного, господи? Делал, что все делают. Ну, и грешен, конечно. Бабе изменил с ее же подругой, она из деревни погостить приезжала; жена дозналась — и в крик...» — «Это большой грех, кандей. Он тебе зачтется. Но главное — что ты делал?» — «Борща варил, с болгарскими перцами». — «Что ж тут за фокус — борща сварить? Это и баба сумеет, а ты все-таки штаны носил». — «А шторм же был, господи. Одиннадцать баллов ты нам послал!» — «Одиннадцать, говоришь? Тогда это не я — это сатана вам удружил. Я только до шести посылаю, а дальше он». — «Это верно, господи. Это я не подумавши сказал. При шести еще жить можно — и к базе швартануться, и на камбузе управиться». — «А при одиннадцати как?» — «А ты попробуй, господи. Если карданов подвес имеется, еще ничего, а если так, на плите, полкастрюли себе на брюхо прольешь». — «И как бичи — ценили твое искусство?» — «Не жаловались. За уши пищало. Да как не ценить — другие кандеи при семи баллах сухим пайком выдают, им это и по инструкции разрешено, а я исключительно горячим довольствием, да еще каждый день хлеб выпекал. Но честно сказать тебе, господи, тогда им уже не до меня было. Гибли бичи. Совсем пузыри пускали». — «Постой! — скажет господь, которого нету.— Они, значит, смерти ждали? Им же, значит, о душе следовало подумать, приготовиться к суду моему. А ты им — борща! Как же это, кандей? Ты, значит, против меня?» — «Господи, где же мне против тебя! Но разве тебе охота с голодными бичами дело иметь? Ведь

они уже не о душе будут думать, а как бы насчет пожрать. В тюрягах и то ведь перед расстрелом кормят». — «Действительно», — скажет господь, которого нету. «В том-то и дело, господи. Я человек маленький, но я дело знаю. Потонем мы там или выплывем, предстанем пред очи твои или еще подождем, в рай ты нас пошлешь, в золотую палату для симулянтов, или же сковородки заставишь лизать каленые — но я к тебе бичей голодными не пушу. Я их должен накормить сперва, и притом — горячим довольствием. При любом волнении и при любом ветре. А там — суди меня, как знаешь. Но я свою судовую обязанность исполнил». Призадумается тогда господь, которого нету. «Пожалуй, ты прав, кандей. Но у меня еще вопрос к тебе. Сам-то ты верил, что смерть пришла?» — «Какие уж там сомнения, господи! Ветер — на скалы, а машина застопорена и якоря не держат. О чем же я думал, когда на бичей смотрел, как они рубают?» — «И все-таки ты им борща сварил?» — «Истинно так, господи. Хорошего, с перцами. Это мое дело, и я делал на совесть». И скажет господь, которого нету: «Больше вопросов не имею. Подойди ко мне, сын мой, кандей Вася. Посмотри в мои рыжие глаза. Грешен ты, конечно. Да хрен с тобою, не станем мелочиться. В основном же ты — наш человек. И вот я тебе направление выписываю — в самый райский рай, в золотую палату для симулянтов!» И скажет он своим ангелам и архангелам: «Отведите бича под белые руки. И запишите себе там, в инструкции: нету на свете никакого геройства, но есть исполнение обязанности...»

Ну, а если серьезно говорить — я и с Шуркой согласен, и с кандеем, и с «юношей», который в совхоз наметился, гусей разводите, — конечно, не дело это — по морям шастать. Они меня тоже спрашивают:

— А ты, вожак, куда пойдешь?

— Не знаю — еще не решил. Пока в Орел съезжу, к мамане. А там присмотрюсь. Я все же на фрезеровщика когда-то учился.

Шурка обрадовался:

— Точно, земля! На пару в Орел рванем, наши же места. На одном заводе обькоримся и повело — вкалывать! Салаги, салаги пускай поплавают.

Ну вот, мы каждый себе союзничка нашли и радуемся. И мне как-то и вспомнить лень, что я вчера только был у «маркони» и видел все их радиogramмы — Шуркину, кандееву, «юноши». Пишут в управление флота, просят продлить им соглашение еще на год. А я зачем к «маркони» ходил? С такой же самой радиogramмой. Потому что еще за день до этого вызывал нас по одному Жора-штурман, который списки составляет на новый рейс. Меня тоже позвал, спросил, глядя в сторону:

— Команду набирают на новый траулер типа «Океан». В Баренцево под тресочку, под свежью. На двадцать дней. Ты как? Пойдешь?

— Жора, — я напомнил, — мне же под суд идти.

— Ты озверел? Спишут нам эти сети. Это ты до сих пор не жил, страхом мучился? Спросил бы... Только статейку подберут, по какой списать.

— Граков постарался?

— Он.

— Спасибо ему. Хороший человек.

— Ты тоже ничего, — говорит Жора. — И как ты только по свободе ходишь? Ты же верный кандидат в тюрягу. Она же по тебе горькими слезами плачет! Ты хоть контролируй свои поступки.

— Стараюсь.

— Ни хрена ты не стараешься!

Я не в обиде на Жору, что он мне тогда посоветовал вожак порубить. Да он и не советовал, если помните. А намек еще нужно до дела

довести. И его тоже можно понять, Жору: кепа бы за эти сети и разжаловали и судили, а меня бы только судили, разжаловать же меня некуда. К тому же вон как все обошлось.

Я спросил у Жоры:

— А ты пойдешь?

— Да не решил еще. Отдохнуть хочется, после всех волнений.

Но себя он в список вторым поставил. А первым — «маркони». Потому что «маркони» все равно себя первым поставит, когда список будет передавать на порт.

Сам же «маркони» мне так сказал:

— Я тут учебничек подзубриваю, на шофера. В общем-то, невелика премудрость. Ну, правила тяжело запомнить, черт ногу сломит. Но у меня же в ГАИ корешок, выставлю ему банку, сделает мне правишки. Как думаешь?

А я думаю: кто же мы такие? Дети... Больше никто.

8

В порт пришли мы под утро.

«Молодой» нас долго тащил — мимо створных огней, мимо плавдоков, где звякало, визжало, шипела электросварка, мимо сопков, где ни один огонек еще не светился, мимо «Арктики», еще пустоглазой, а в середине гавани он к нам перешвартовался бортом и стал заталкивать в ковш.

Мы уже все стояли на палубе, в последний раз кандеем накормленные, одетые в береговое, только мне пришлось телогрейку у боцмана просить.

Я бы порассказал вам, как это обычно бывает — как траулер вползает в ковш и упирается в причал носом, а второй штурман стоит уже наготове с чемоданчиком и с ходу перепрыгивает на пирс и летит что духу есть в контору — за авансом. А мы пока разворачиваемся и швартуемся уже по-настоящему, крепим все концы — прижимные, продольные, шпринговые — и только лишь заканчиваем это дело, он уже чешет обратно на всех парах и кричит: «Есть!» И мы набиваемся в салон, дышим друг другу в затылки, а он распечатывает пачки на столе, ставит галочки в ведомости и — пожалуйста «сумму прописью», кто сколько заказывал: двести, триста. Потом уже грузчики-берегаши выгрузят нашу рыбу, и нам ее за весь рейс посчитают, и контора выдаст полный расчет. А женщины уже ждут нас толпою на пирсе, чтоб сразу же развести по домам — хватит, наплавались капеллой!

Но в этот раз все по-другому вышло. Ну, если уж повело наискось, так до последней швартовки. Мы посмотрели — и не узнали родного причала. Пусто, некому даже конец принять. Потом явился некто — дробненький, в капелюхе с ушами, как у легавой, — и мрачно нам сказал:

— Это чего это вы левым бортом швартуетесь? Вам диспетчер правым велел стать, радио не слышали? — И скинул нам гашу с тумбы.

— Милый человек, — кеп ему говорит, — у нас же хода нет, мы же с буксиром сутки будем в ковше разворачиваться.

— А мое дело маленькое. Сказано — правым. Хотите на рейде позагорать, так я вам это устрою, суток на двое.

Боцман взял да и накиннул ему гашу на плечи. Тот чего-то затыкал, но мы уже не слушали, перепрыгивали на пирс, на твердую землю.

Мы пошли по причалу — не спеша, разминная ноги, и так звонко снежок скрипел, никогда он на палубе так не скрипит. И вдруг увидели женщин: со всех ног они к нам бежали, с плачами, с охами:

— Васенька, Сереженька, Кеша, а нам-то восьмой причал сказали. А мы, дуры, там стоим, ждем. А чтоб ему, этому диспетчеру...

И пошло, поехало. Они, моряцкие жены, тоже умеют слова выбирать.

Ваське Бурову жена обоих дочек привела — платками замотанные, одни глазенки видны заспанные. Не посовестилась она их в такую темень будить. Или сами напросились: не каждый же день папка из рейса приходит и не в каждом же рейсе он тонет. Васька даже прослезился, когда увидел своих пацанок. Расчмокал их в носы, лобики пощупал.

— Горяченькие чего-то.

— Ты что! — Жена кинулась отнимать. — Да где же «горяченькие», сдурел совсем. У кого еще такие здоровенькие!

Васька их сгреб под мышки себе, одну и другую, и так понес. Потом на плечи пересадил.

— Да отпусти ты их, старый дурак! — жена ему кричит. И плачет отчего-то. — Они ж уже взрослые, сами небось дойдут.

— Не отпущу! Так до дому и донесу. Какие они взрослые, ну какие взрослые, пускай подольше на папке поездят, махонькие...

Она и улыбалась, и слезы утирала платочком. Поворачивала к нам ко всем востренькое личико, виноватое какое-то, будто она оправдывалась за Ваську: «Видите, каково мне с ним».

Зато у Ваньки Обода жена оказалась — чуть не на голову его выше. И разодетая — в сапожках, в шубке из серого каракуля, в кубанке с алым верхом. А из-под кубанки глаз цыганский косит, кудри взбитые вьются, румянец пышет. Этакое богатство, конечно, без топорика не убережешь.

— Ах ты чучело мое! — ударила Ваньку по плечу. — Фокусы устраиваешь? Я тебя с плавбазой встречаю, а ты мне — сюрпризики, штучки-дрючки. — Затискала, затормошила его и сама же хохотала, как от щекотки.

Ванька совсем потерялся:

— Кларочка, ну мы ж не одни, ты б хоть познакомились раньше...

— А чего ж не познакомиться! — И всем нам руку стала совать, с кровавыми ногтями. — Клара Обод, очень приятно. Клара Обод, очень приятно.

Мне пожалала — я чуть не присел. До кепа даже добралась.

— Клара Обод, очень приятно! Неприятности — не огорчайтесь, все будет чудненько!

Кепова жена на нее поглядела испуганно. Клара ее успокоила:

— Ах, мы, женщины, дуры, столько переживаем, а они потом приплывают, такие мордастые, и ничегошеньки с ними не случается. Эх, ребятки, соколики, как мне вас видеть приятно! Денежки вам уже выпишаны, в полтретьего валяйте получать.

Мы пошли дальше с женщинами, повернули от причалов к центральной проходной и понемногу растягивались, разбивались на пары.

Рядом со мною «маркониева» жена шла — не скажу, что подарочек. Переваливалась, как утица, ноги — бутылки, а личико — ну то самое, о котором говорят: «На роже скандал», — такое надменное, губы сухие поджаты, глаза наполовину веками прикрыты, голыми какими-то, без ресниц, белые от злости. Даже и тут она удержаться не могла, пилила шепотом, но таким, что мы все слышали:

— Не понимаю, что у тебя общего — с этими серыми людьми! Пусть они лезут хоть к черту на рога. А ты специалист, радиооператор, с квалификацией. Ровню себе нашел!

— Ну, Раиска, ну, перестань, — он ей говорил, морщась, со страданием в голосе. — Ну, киска. Все ж благополучно...

— Да? А кто мне поправит мою нервную систему? Совершенно расшатанную. Твоими похождениями.

— Ну дома все скажешь.

— Дома я тебе еще не то скажу. Напозволялся там! Наверно, с такими же вульгарными нюхами, как эта? — Кларочке в спину вонзилась взглядом. Как у той шубка не задымилась? — А вспомнить, какая вчера была дата, ты, конечно, не мог?

— Какая? — «маркони» спросил с ужасом. — Елочки зеленые, выпало начисто!

— Ах, выпало! Чем у тебя голова занята, позволь узнать? Что ты два слова не мог отбить — в день рождения моей мамы! Которая, кстати, столько для тебя сделала. Мне все говорят, все говорят: «Твой Андрей — такая свишня, совершенно равнодушный человек!»

Муторно мне стало от ее голосочка. Тут действительно напозволяешься — хоть кусок жизни урвешь. Я вперед ушел, пока они не пердralись.

К Сереге сразу трое явились — ну до чего ж одинаковые! Такие матрешки кругломорденькие — в бурочках все, в коротких пальтишках, волосы у всех красно-рыженькие, пышными начесами, платочки в горошек, как кровельки с высоким коньком. Удивительно, как он их различал.

— Ну, как ты там, Зиночка? — спрашивал тягучим голосом. — Как ты там, Аллочка, Кирочка?

Они только фыркали да хихикали. Не ссорились между собой, однако. Даже ухитрялись виснуть на нем по очереди.

От стенки пакгауза, из тени, вышла под фонаря фигурка. Постояла робко, шагнула к нам навстречу. Но близко постеснялась подойти, стояла, мучила ворот пальтишка.

— Моя дожидается, — Шурка узнал. — Ну, подойди, не съем.

Она к нему подошла на шаг и заплакала.

— Шурик...

— Ну, чо? Ну, не повезло нам.

— Что значит «не повезло»? Ты же умереть мог, Шурик.

— Мало ли что. Не умер же.

— А ты думаешь — я бы жива тогда осталась? Я бы тут же на себя руки...

Шурка ее взял за плечико, сказал нам:

— Вы, ребята, идите. Я ее успокою.

Так вышло, что с Шуркой мы попрощались с первым. Мы помахали Шурке и его жене:

— Встретимся в «Арктике»!

— Как закон, бичи. Мы к восьми будем.

Мы пошли дальше — по грязному снегу, между цехами коптильни и складами. Наперерез нам локомотивчик тащил платформы с обмерзшими бортами. Мы встали, чтоб его пропустить, опять сгрудились в толпу. Но вдруг он застопорил перед нами, сцепка захрохотала в конец состава. Из будки выглянул машинист — беловолосый, с шалыми глазами, кепочка прилипла к затылку. Коля его звали, известный нам человек. И нас он знал, некоторых.

— Чудно мне, — сказал Коля. — Серегу вижу со «Скакуна». Месяца не прошло, как я тебя провожал. Или чего случилось?

— А ты не знаешь?

— Не слыхал. Проморгал новеллу. А в чем суть?

— Да так. Не повезло нам.

— Понятно, — сказал Коля. — Живы-то все?

— Все.

— А за груз, хоть за один-то, получите?

— За один и получим.

— Так чего ж вы огорчаетесь? Вы не огорчайтесь, ребята.

Мы сказали Коле:

— Ну, проезжай. Нас еще дома ждут.

Коля подумал, снял кепочку и снова ее надел.

— Не могу, ребята, перед вами. Порожние везу. Лучше-ка я назад сдам.

И вправду сдал. И мы перешагнули через рельсы. Где вы еще такое увидите, как не в порту?

Третьему нашему переживание досталось: его дама пришла встречать, та самая, что «за полторы сойдет», в пальто с лисой и в шляпе. Однако «морская наблюдательность» его не подвела, он свою «дорогую Александру» заранее высмотрел, как она прогуливается под фонарем, постукивает себя сумкой по коленям. Он поотстал слегка, спрятался за нашими спинами:

— Не прощаюсь. И вообще меня тут не было, ясно? — Забежал за угол, скрылся.

Она пригляделась к нам близоруко, спросила низким голосом:

— Простите, это экипаж восемьсот пятнадцатого? Штурман Черпачков не с вами плавал?

— С нами, с нами, только что видели. Ах, нет, на судне задержался.

— Но он здоров по крайней мере?

— А чего с ним сделается?

Она кивнула:

— Спасибо. Мне этого достаточно. — И ушла вперед широким шагом.

Возле управления флота кеп от нас откололся с женой и Жораштурман. Им там акты нужно было оформлять — приходный и насчет сетей. Жора нам сказал:

— В полтретьего на судне. Адъё!

Мы напомнили:

— А к восьми в «Арктике». Вы тоже, товарищ капитан?

Кеп ответил — насупясь, но торжественно:

— Капитан вашего судна тоже уважает законы.

Чуть попозже, у портового кафе, Васька Буров откололся, кандей, дрейфтеров помощничек с Митрохиным — им к морвокзалу нужно было, через залив переплавляться.

Еще сто шагов прошли, и еще наша когорта поредела: «маркони» и боцман в Нагорное ехали, им нужно было к южной проходной. С ними — один из механиков, Ванька Обод, Серега.

— Встретимся в «Арктике»!..

«Маркониева» жена сказала:

— Точно не обещаем. Как обстоятельства сложатся.

Кларочка на нее цыкнула:

— Ты моряцкая жена или злыдня? Уж так торопишься мужика под туфлю скорей затолкать, дай ему хоть вечер от тебя отдохнуть.

Та смолчала, губы сжала в полоску, лицо побелело от злости. «Маркони» развел руками, улыбнулся виновато:

— Приложу все усилия, бичи.

Потом салаги откололись. Они в общежитие Полярного надеялись устроиться. Я к ним подошел, спросил:

— Ну как? В Баренцево не идете с нами? Надоело?

— Мы еще подумаем, — сказал Дима. — Пока до свидания, шеф.

Я попросил Алика отойти на пару слов. Димка нас ждал, отвернувшись.

— Скорее всего нет, шеф,— сказал Алик.— Мы должны вернуться к своим кораблям.

— Правильно, конечно. Не ваше это все-таки дело.— Но мне совсем другое хотелось у него спросить.— Скажи, почему ты тогда остался? В тузик не сел?

— Как тебе объяснить? — Он смутился, смотрел себе под ноги.— Ты не поймешь, наверно. Ну... хотелось разделить с вами. Что бы там ни случилось. Даже любопытно было. И где-то я до конца не верил. Может быть, на минуту — когда свет погас.

— Что ж тут непонятного? Все как полагается.

— Ты его тоже не осуждай.— Он посмотрел мне в глаза твердо, хоть и покраснел.— А я — как мог его отпустить? Что, если б он решился? И его бы там захлестнуло в плотике. Тут грех обоюдный, шеф. Еще неизвестно, кто кому должен прощать.

Я засмеялся.

— Что вы, ребята, бросьте. Какой грех? Все глупостей наделали, ваша не самая большая.

— Хорошо, если ты так думаешь.

— Уже одно, что вы в море с нами сходили...

— Да, для нас это многое значило. Ты не представляешь...

Я перебил его:

— В «Арктику» же вы придете? Ну вот там все и скажешь. Все послушают, не я один... Да! — я вспомнил.— Лилю увидишь сегодня?

— Передать ей, чтоб пришла?

— Мне все равно.— Я даже удивился, как легко я это сказал.— Захочет — придет. Но привет, конечно, передай. И еще — спасибо. Это уж как она поймет.— Я пожал ему руку, а Димке просто помахал.— Встретимся в «Арктике»!

Совсем уж маленькой кучкой мы прошли через центральную, поднялись наверх, к вокзалу. Здесь, на площади, от нас последние уезжали в Росту — «юноша», дрефтер и бондарь. Сонного таксистника растолкали, приспособили к делу.

— Не поминай лихом,— сказал я бондарю.— Я знаю, ты в Баренцево не идешь, так попрощаемся?

Он руки моей не взял.

— Кто тебя еще поминать-то будет? Много чести, знаешь.— Тронул таксистника.— Езжай, родной.

Дальше мы пошли с «дедом». Он совсем близко от нашей общаги жил. Вот так мы с ним когда-то и познакомились: все разошлись, а мы вдвоем пошли пробиваться через метель, и вдруг разговорились, и он меня к себе затащил обедать. А за весь рейс не сказали друг с другом ни слова.

Я шел с «дедом», и он мне говорил:

— Беспокоит меня твое дальнейшее, Алексеич. Ты все же не бросай флот, зачем тебе жизнь переламаывать надвое. Мы, может, самое трудное уже пережили, а теперь, глядишь, техники поднавалят, «океаны», «тропики», условия наладятся. А я-то — уж кончился, это точно. Кончился я в этом рейсе. Тридцать лет около машины провел, а как посмотрел на парус — вдруг понял: кончился.

— Что ты, «дед»! Мы еще поплаваем вместе. Ты же меня делу обещал научить.

Он не отвечал, усмехался, а я вспоминал: «Приятно и легенду послушать».

У своего переулка он спросил, помявшись:

— Может, ко мне завалимся? Накормят нас, выпить поставят, и спать где найдемся. Чего тебе сразу — с парохода и в общагу?

Но я как вспомнил их комнатешку, диванчик, на который меня положат...

— А я не в общагу,— сказал я ему весело.— Есть еще куда заваляться.

— А! — Он улыбнулся мне.— Ну — в «Арктике»?

Мы пожали друг другу руки, и «дед» зашагал — тяжелый, в коротком своем полушубке, в мохнатой шапке, в сапогах. Еще раз обернулся ко мне, точно знал, что я жду этого, и помахал на прощанье. И я пошел один, сначала одной щекой к ветру, потом другой.

Навстречу мне два чудака шли. Один чего-то бубнил, размахивал длинными мослами, другой — трусил полегоньку, упрятав нос в воротник. Я пригляделся — знакомые силуэты. Кореши мои, Вовчик с Аскольдом. Я вышел к фонарю, сделал им ручкой.

— Приветствую вас, кореши. На промысел топаете?

Встали как вкопанные. Вроде бы дернулись друг от друга. Потом Аскольд заулыбался, губищи распустил.

— Сень, откуда, какими судьбами?

— Да все оттуда же — с моря, где вас никогда не видно.

— А мы тебя в апреле встретить готовились. Как это понять, Сеня? Неохота мне было им рассказывать.

— Поздновато вы сегодня, бичи. Разошлись уже все. Да и не повезло нам, много с нас не выдоишь.

Вовчик вздохнул:

— Мы б хоть посочувствовали.

Мне смешно стало. И никакой же злости я к ним не испытывал. Но и жалости тоже.

— Все те же вы, кореши,— сказал я им.— Все в тех же ушанках драных, в телогреечках. Не пошли вам впрок мои деньги.

Аскольд удивился:

— Какие деньги, Сеня?

— Да уж скажите по правде, дело прошлое... Сколько заначили? Кроме тех, что Клавдия отобрала.

Вовчик, друг мой, кореш верный, поскрипел мозгами и сознался:

— Сень, ну заначили... В такси еще. Ты ж не помнишь даже, как ты роскошно хрустиками кидался. Это ж кого хочешь соблазнит.

— Так... Ну а заначенные — неужели все пропили? Ох, дурни!

— Так, Сень,— сказал Вовчик,— ты ж знаешь, на нее же, проклятую, никаких не хватит.

— Дурни вы, дурни.

Аскольд меня подколоть решил:

— А ведь ты, Сеня, тоже вот в телогреечке. Где ж твоя курточка, подарочек наш?

— От вас,— говорю,— и подарочек не задержится.

Я пошел от них. Вовчик меня окликнул:

— Так, может, проводим курточку?

— Это мысль!

— Значит, приглашаешь?

— Пригласил бы я вас, кореши. Но вас же не было с нами. Мне очень жаль, но вас не было с нами.

Долго они маячили под фонарем.

В городе намело сугробов, и когда я шел, тут же мой след заметало поземкой. На Милицейской ветер гудел, как в трубе, телогрейку мою продувал насквозь. Но я все-таки постоял немного перед крылечком Полярного и с каким-то даже удивлением почувствовал — нет, ничего это для меня не значит. «Спасибо», и только. Неужели так быстро мы излечиваемся?

Перед дверью общаги тоже намело снега, мне его пришлось ботинками разгребать, чтобы вахтерша могла открыть. Та же самая вахтерша, что провожала меня.

— Узнаете, мамаша?

— Вернулся?

Я по глазам видел — нет, не узнала.

— Вернулся и долг принес. Тридцать копеек. Помните?

Вот теперь узнала.

— Что ж ты так скоро? Случилось чего?

— Да так, о чем говорить... Просто нам не повезло.

— Всем бы так не везло — руки-ноги целы. А долг тебе скостили. Новую ведомость завели.

— Да,— говорю,— жизнь не стоит на месте. Поселите меня, мамаша. Желательно у окошка.

— Где захочешь, там и ляжешь. У нас вон целая комната сегодня освободилась. Только приборочку сделаем — и поселяйся.

— А приходов сегодня не ожидается?

— В пять вечера какой-то причалит.

Я прикинул — раньше семи они здесь не будут, а в восемь я сам уйду в «Арктику»,— это значит, я целый день один буду в комнате. Можно запереться, лежать, курить.

— Спасибо, мамаша. Чемоданчик я пока у вас оставлю.

— Оставь, не пропадет.

— А там и пропадать нечему. Пойду погуляю. Очень я по городу соскучился. По нашим северным воротам, бастионам мира и труда.

Она поглядела на меня поверх очков:

— Что-то с вами там стряслось...

— Я же говорю: не повезло.

На вокзале буфет — с шести; я, случалось, туда заживал перед утренними вахтами. Буфетчица вылезла сонная, повязанная серым платком, нацедила мне из титана два стакана кофе, чуть теплого — или мне так показалось с мороза,— и я его пил без хлеба, без ничего, просто чтоб отогнать сон и кое о чем подумать. Потому что мы вечером встретимся в «Арктике» и там, конечно, будем под банкой, и все опять пойдет своим чередом. А хорошо бы все-таки понять — для чего мы живем, зачем ходим в море. И про этих шотландцев — почему мы пошли их спасать, а себя не спасали? И о том, что будет со мной в дальнейшем, как говорил «дед»: может быть, я и пойду к нему на выучку или наберусь духу и в мореходку подам, «резким человеком» стану — в макене-то, с белым шарфиком! — или же мне все-таки переломить ее надвое, мою жизнь?

Я сидел у окошка — площадь перед вокзалом занесло сугробами, и ни души на ней не было, раскачивались на проводах фонари, черные тени шарахались по снегу. Потом из темной-темной улицы вынырнула «Волга» с шашечками, сделала круг и встала посередине: дальше было не проехать. Из такси — задом почему-то — вылезла баба в коричневой толстой шубе, в белом платке, в пимах, вытянула за собою чемодан. Таксишник выглянул и что-то ей сказал, улыбаясь, и что-то она ему ответила — тоже, наверно, веселое, а потом пошла к вокзалу, скосясь от чемодана набок, а он ей глядел вслед и усмехался. Раз она обернулась что-то крикнуть ему, и он ей помахал ладошкой.

Она шла к вокзалу, как раз против окошка, где я сидел, но меня не видела, улыбалась сама себе. Или тому, что ей сказал таксишник. А я вдруг почувствовал, как что-то у меня стучит в виске и дрожат ладони, в которых я держал стакан.

— Все время, замечаю, ты у меня на дороге, рыженький!

— Нет, это ты у меня на дороге.

Клавка повалилась на стул, расстегнула шубу, сдвинула платок на плечи. И тогда уж мне улыбнулась во все лицо. Уже она успела обмерзнуть и покраснеться, пока шла к подъезду.

— Дай глотнуть тепленького, чего ты там пьешь.— Я ей протянул стакан, Клавка отпила и сморщилась.— Бог ты мой, он кофе пустое пьет. Как же так жить можно? Нюрка, ты куда же смотришь?

Буфетчица выглянула из-за витрины, пошлепала губами.

— А что?

— А ничего! Такой парень у тебя сидит, а тебе лень багажник отодрать со стула. Ты картиночку видела — «Человек мой дорогой»? Посмотри, в «Космосе» показывают. Баталов там играет. Так он мне еще дороже.

— Баталов?

— Да не Баталов! Баталов само собой... А вот этот злодей. Сидит у тебя сиротиночкой неприкаянной. Ты хоть поглядела бы на него, какой он. Чудо морское!

Нюрка на меня захлопала глазами.

— Ничего особенного.

— Глаза надо иметь! — сказала Клавка грозно.— И мозгов хоть полпорции. Конечно, «ничего особенного», когда он в телогрейке драной. А пришел бы он в своей курточке — ты б тут легла и не встала.— Клавка мне подмигнула.— Было у меня такое желание.

Нюрка опять ко мне пригляделась и не ответила.

— Что же ты, Нюрка, пива ему не поднесла?

— Да он не просил!

Клавка прямо зашлась смехом:

— Ну, Нюрка, ты мышей не ловишь! «Не просил!» Хороший мужик и не попросит, надо самой давать. Ну-ка, покорми его. Винегрету не вздумай предлагать, он у тебя позавчерашний, я отсюда вижу. Студень небось сама исполняла? Знаю, как ты его исполняешь.

Нюрка там заметалась.

— Балычка могу нарезать осетрового. Колбаски деликатесной.

— Вот балычка куда ни шло... Хочешь балычка? Хочет он, хочет, потолще ему нарежь. Потом сочтемся. Да шевелись, Нюрка, живенько, живенько, на флоте надо бегом!

— Я, слава богу, не на флоте.

— Ты-то нет. Да он у нас на флоте. Э, дай уж я сама!

Клавка сбросила шубу на стул, взяла у Нюрки поднос, собрала мои стаканы. Кофе она выплеснула в мойку, принесла «рижского» и тарелку с балыком и хлебом. Опять завернулась в свою шубу и смотрела на меня, подперев кулаком щеку.

— Ну, как ты жив без меня? Скучал хоть немного?

— Немного — да.

— И то — не зряшная на свете!

Я спросил:

— Куда едешь, Клавка?

— В Североникель, свекра хоронить. Ну, не хоронить, его уж там без меня похоронят, а на девятины еще успею.— Пнула ногой чемо-дан.— Сильно они на меня надеются, одних крабов семь банок везу.

— Погоди,— я спросил,— почему к свекру? У тебя муж есть?

Все лицо у нее вспыхнуло. Отвела глаза.

— Был. Да сплыл.

— Бросил он тебя?

— Да.

— Или ты его?

— Он меня.

Клавка насупилась, закусила губу. До чего же мне было все удивительно.

— Как же он мог тебя бросить?

— А что я — золотая? Так уж вышло. Лучше б, конечно, я его бросила. Тогда бы все ясно было. А так — черт знает... Обиделся и ушел. Ну, конечно, у него основания были.

— Вот, значит, в чем дело.

— Да уж проговорилась.

— Надеешься — вернется?

Клавка повела плечом, не ответила. Стала смотреть в окно.

— Где же он теперь?

— Я ж говорю: сплыл. В море кантуется, вторым механиком на СРТ. Ну, может, еще и вернется... ненадолго. Ему про меня такого не говорили — как ему совсем вернуться? Сам понимаешь.

— Это ты в море ходила — его тоже хотела увидеть?

Клавка еще сильнее покраснела.

— Не надо про это. Да и не вернется он. Это ему снова надо в меня влюбиться. А я уже не та, понял, рыженький? Ты от меня уже одно воспоминание увидел.

Клавка улыбнулась — так что я увидел у нее два золотых зуба сбоку.

— Сколько же тебе?

— Двадцать шестой грянул.

— Да, старуха!

— Все-таки не восемнадцать.

Вот на чем ты нагрелась, я подумал, вот о чем рассказывала тогда, на «Федоре»: «А что нам такого хорошенького впереди светит?» Я его ни разу в глаза не видел, не знал о нем ничего, но вдруг такую злость к нему почувствовал. Какое ему до нас было дело — раз он ушел? За что такая почесть ему, что Клавка его ждет и мучается и у нас с нею ничего быть не может?

— Сколько же ты с ним прожила?

У нее дрогнули губы, и она ответила не сразу:

— Три года. Без семи экспедиций.

Я допил пиво и отставил бутылку.

— Ты когда вернешься, Клавка?

— А ты когда в море уйдешь?

— Неделю отгуляю. В следующую пятницу «Океан» отойдет.

— Я раньше субботы не вернусь.

Я подумал: это ты сейчас решила. Если б я воскресенье назвал, ты бы сказала: понедельник. Ну, так — значит, так. Говорить нам как будто было не о чем.

— Я те деньги, что мы говорили, тебе в общежитие снесла. Спросишь у тети Санечки, кладовщицы.

— Хорошо.

Так вот вышло — как будто я об них спрашивал, когда могу получить. Ну, ладно, значит, нас больше ничего и не связывало.

— Проводишь меня? — она попросила. — Раз уж я тебя встретила.

Я взял чемодан.

— Нюрка, салют!

Мы вышли на террасу. Здесь тоже намело снега, на каменных перилах выросли бугры. Клавка смела варежкой снег с перил, вспрыгнула

и села. Чемодан я ей поставил под ноги. Внизу под нами блестели рельсы, а дальше спуск начинался к Рыбному порту, и там виднелись в ключьях пара трубы и мачты и стоячие огни в черной воде — длинными разноцветными нитями.

Паровозишко, кое-где забросанный снегом, приволок вагоны-коротышки — как раз они остановились под нами. На крышах у них и на стеклах блестел иней. Клавка поглядела на эти вагоны и вздрогнула.

— Там топят хоть?

В вагонах зажегся матовый свет, проступили узоры на стеклах. Черт знает, топили там или нет. Человечек тридцать, с чемоданами, с мешками, потащились на посадку.

— Североникельский,— сказал я Клавке.— Тебе пора. Топят, конечно.

Больше мне нечего было ей сказать. Впрочем, осталось кое о чем спросить.

— Тогда все обошлось?

Клавка поняла.

— Ну вот, зачем тебе про это думать.— Отвернулась.— А может, от тебя бы и стоило заиметь?

— Что б ты с ним делала?

— Что с детьми делают? На ножки бы подняла... Чего смеешься? А вообще-то и правда туман у меня в голове. Ты меня не очень-то и слушай.— Она опять поглядела на вагоны и вздрогнула.— Ну, прощай. Запомнишь меня все-таки? Хоть у нас и недолго любовь была...

— А недолго и нужно.

Она мне посмотрела в глаза.

— Неужели так? Было что-то и хватит?

— Нет,— я помотал головой.— Ты не обижайся... Я, может, не так сказал. Сама ты не знаешь, сколько ты для меня успела сделать. В считанные эти часы. Да что там часы!.. Если б у каждого из нас было б хоть три минуты на дню — помолчать, послушать... Может, кто-нибудь просит, чтоб к нему подошли, подали бы ему, дураку, конец. Если не ты, к нему и ангел не явится, и чайка не прилетит. Разве это так много — всего три минуты! Но понемножку и делаешься человеком.

— Не знаю.— Она помолчала.— Я темная. С темных какой же спрос? Но к тебе-то самому ангел когда-нибудь явится? Или так и будешь один посреди поля?

— Почему же один, Клавка? Когда человек лишь подумает о других, не только о себе, он уже не один. Как бы ему там ни было сиротно, хоть в поле, хоть в море. Вот ты уедешь, не встретимся, а я о тебе буду думать. Какой же я «один»? А ты разве одна будешь в чертовом твоём Североникеле? Тоже ведь про меня вспомнишь. И никуда мы от этого не денемся...

Клавка вздохнула и слезла с перил. Она опять смотрела на мерзлые вагоны, но уже не вздрагивала, смотрела спокойно. Вот и все, я подумал, теперь она хоть с ясной душой уедет. Я бы не хотел, чтоб ее что-то мучило. Чтоб она меня жалела. Пусть сдет с легким сердцем, а не бежит от меня, как от чумного. Пусть вспомнит обо мне хорошо. И я ее так же вспомню. Я не забуду, как нам с нею было тепло. Хотя и недолго.

— Посмотри там,— сказала Клавка.— Таксист не уехал еще?

— Зачем он тебе?

— Поедем на нем. Ко мне в Росту.

— Это что еще, Клавка?

— Поедем, я сказала. Будем жить с тобой.

— Как же девятины? — все, что я догадался спросить.

— А ну их! — Клавка сняла варежку, провела пальцами по гла-

зам.— Там и без меня не заскучают. А тут ты все-таки — живой. Тебя кормить нужно, дело серьезное... Эх, сделаю еще одну глупость и затихну!

— Клавка, что же ты меня мучаешь?

— Сама вот мучаюсь... Может, нам и повезет с тобой. Может, не так скоро и кончится. Думаешь, мне тебя любить не хочется? Я ж не совсем пропадаю.

— А если он вернется?

— Ты выгонишь его...

— А ты?

— Не знаю. Как вы решите с ним, так и будет. Хоть подеритесь из-за меня!

Мы с Клавкой сошли на площадь по мерзлым ступеням. Кругом была темень, рассвет еще и не брезжил. Мне казалось — он никогда не наступит, обошел он наши края. А таксишник еще стоял на площади, грел мотор. Ожидал пассажиров с «Полярной стрелы», она к восьми придит.

Клавка пошла впереди по стежке, которую таксишники протоптали к буфету. Вдруг она обернулась ко мне, и я на нее налетел. Клавка прижалась ко мне холодной щекою.

— Что ты?

— А может, не надо? Так хорошо у нас было, осталось бы о чем вспомнить, а вдруг мы все испохабим?

— Не знаю.

— «Не знаю», «не знаю», все Клавка одна должна решать. А ты? Я тебя завлекала, завлекала, а теперь самой нехорошо... Закройся ты, бич несчастный! — Клавка роняла варежки, застегивала мне телогрейку на горле, а студеной ветер выжимал у нее слезы.— Все же я люблю тебя, рыженький! Как ты к этому относишься?

— Иди вперед,— я сказал.

Она кивнула.

— Вот правильно.— И пошла.

Я бы порассказал вам, как мы приехали и вошли с нею в ту комнату, где я почти ничего не помнил, откуда меня выволакивали битым, и как мы прожили первый наш день, и что было дальше,— но тут уже начинается совсем другая история.

Так что распрощаемся на набережной, где я в последний раз оглянулся — посмотреть на всю эту живопись. Клавдия стояла поодаль, ждала меня и тоже смотрела на порт. Потому что как раз в эту минуту мы услышали три прощальных гудка, и черный траулер вывалился из ковша, пошел к середине гавани. Он пересекал цветные нити, и ему отвечали гудками верфь, и диспетчерская, и несколько больших кораблей, где шла еще ночная работа.

Не знаю, куда уходили бичи, где там над ними закачаются звездочки. Я и попрощался с ними и не попрощался — через неделю и мы вот так же уйдем: стране ведь нужна рыба.

И куртки мне было не жалко совсем. Пускай она остается в Гольф-стриме.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О союзе рабочего класса и крестьянства. 280 стр. Цена 50 к.

Героини. Очерки о женщинах — Героях Советского Союза. В двух выпусках. Выпуск 1. 447 стр. Цена 96 к. Выпуск 2. 463 стр. Цена 98 к.

Г. Кржижановский. Мыслитель и революционер. 40 стр. Цена 5 к.

Международное Совецание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы. Москва, 5—17 июня 1969 г. 352 стр. Цена 59 к.

Справочник пропагандиста-международника. 270 стр. Цена 47 к.

«МЫСЛЬ»

В. Афанасьев. Об интенсификации развития социалистического общества (Проблемы взаимодействия науки, техники и управления). 149 стр. Цена 45 к.

Е. Журбина. Теория и практика художественно-публицистических жанров. Очерк. Фельетон. 389 стр. Цена 1 р. 47 к.

Научно-техническая революция и общественный прогресс. Сборник. 397 стр. Цена 1 р. 42 к.

Планирование и хозяйственная реформа. Сборник. 166 стр. Цена 53 к.

В. Подмарнов. Социальные проблемы организации труда. 214 стр. Цена 79 к.

Развитие экономического сотрудничества социалистических стран. Сборник. 183 стр. Цена 58 к.

Ф. Тальвин. Секреты природы. 191 стр. Цена 57 к.

«ЭКОНОМИКА»

С. Демидов, П. Васильев. Методологические основы планирования сельского хозяйства. 407 стр. Цена 1 р. 71 к.

Н. Иванов. Народнохозяйственные пропорции, фактор времени, темпы (Вопросы экономики капитальных вложений). 182 стр. Цена 86 к.

П. Ивасенно. Совершенствование коллективной оплаты труда рабочих. 120 стр. Цена 38 к.

Е. Юферева. Ленинское учение о госкапитализме в переходный период к социализму. 223 стр. Цена 1 р. 6 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Атаджанов. Искры мигают звездами. Стихи. Перевод с туркменского. 63 стр. Цена 23 к.

В. Беспалый. Гомон степей. Роман. Перевод с украинского И. Карбутенко. 279 стр. Цена 57 к.

А. Дейч. День нынешний и день минувший. Литературные впечатления и встречи. 311 стр. Цена 35 к.

Р. Ивнев. Память и время. Стихи (1965—1967 гг.). 151 стр. Цена 36 к.

В. Казанский. Утренник. Стихи. 111 стр. Цена 29 к.

В. Казанцев. Дочь. Стихи. 104 стр. Цена 26 к.

А. Кушнер. Приметы. Третья книга стихов. 112 стр. Цена 28 к.

И. Науменко. Ветер в соснах. Перевод с белорусского М. Горбачева. 344 стр. Цена 60 к.

Ю. Смирнов. Обруч. Книга стихотворений. 68 стр. Цена 20 к.

А. Тарковский. Вестник. 291 стр. Цена 78 к.

В. Финк. Иностраный легион. Судьба Анри Ламбера. Романы. 527 стр. Цена 1 р.

П. Цвижба. Сказочный поезд. Стихи и поэма. Перевод с абхазского. 100 стр. Цена 26 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вечерний витраж. Рассказы. Перевод с польского. Вступительная статья М. Слуцкиса. 264 стр. Цена 73 к.

С. Клдмашвили. Далекие зарницы. Рассказы. Перевод с грузинского. 302 стр. Цена 65 к.

Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо. Перевод с японского («Зарубежный роман XX века»). 365 стр. Цена 1 р. 11 к.

Т. Мани. Будденброки. История гибели одного семейства. Перевод с немецкого Н. Ман («Библиотека всемирной литературы»). 640 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. Панов. Боцман с «Тумана». Повесть. Колокола громкого боя. Роман. 564 стр. Цена 1 р. 26 к.

Л. Сейфуллина. Собрание сочинений. В 4-х томах. Том 4. Очерки и статьи 1918—1954. 430 стр. Цена 85 к.

В. Тушнова. Лирика. 352 стр. Цена 93 к.

М. Урнов. Томас Гарди. Очерк творчества. 151 стр. Цена 39 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андронинов. Рассказы литературоведа. 456 стр. Цена 2 р. 2 к.

Ван Линь. Дальние края. Повесть. Перевод с вьетнамского. 111 стр. Цена 29 к.

Р. Гамзатов. Горянка. Поэма. Перевод с аварского. 175 стр. Цена 57 к.

Лунный мальчик. Стихи современных французских поэтов. Перевел М. Кудинов. 24 стр. Цена 27 к.

С. Михалков. На родине В. И. Ленина. Стихи. 31 стр. Цена 24 к.

М. Садовяну. Чудесная дубрава. Сказки. Перевод с румынского. 64 стр. Цена 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Айлисли. Люди и деревья. Повести. Перевод с азербайджанского. 208 стр. Цена 29 к.

В. Брюсов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 10 к.

И. Зиедонис. Избранная лирика. Предисловие В. Лука. Перевод с латышского. 32 стр. Цена 11 к.

И. Козлов. Наш последний и решительный. Повесть. 334 стр. Цена 68 к.

«ПРОГРЕСС»

И. Коцюбинская. Михаил Коцюбинский. Перевод с украинского («Жизнь замечательных людей»). 192 стр. Цена 62 к.

В. Кузнецов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

М. Луконин. Лирика. 176 стр. Цена 76 к.

Л. Мартынов. Людские имена. Стихи. 160 стр. Цена 60 к.

Ю. Нагибин. Чужое сердце (Современная сказка). 350 стр. Цена 67 к.

М. Румянцева. Избранная лирика. 31 стр. Цена 12 к.

Л. Самойлов и М. Вирт. Охота за Святым Георгием. Повесть. 142 стр. Цена 16 к.

С. Сартаков. Первая встреча. 158 стр. Цена 34 к.

«НАУКА»

Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. 430 стр. Цена 1 р. 89 к.

Китай сегодня. 336 стр. Цена 1 р. 6 к.

Р. Липец. Эпос и Древняя Русь. 302 стр. Цена 1 р. 16 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

К. Ваншенкин. Проза. 448 стр. Цена 86 к.
Ю. Грибов, А. Лазебников, О. Опарин. За строкой биографии В. И. Ленина. 144 стр. Цена 98 к.

Н. Задонский. Донские вечера. Исторические этюды. 208 стр. Цена 38 к.

Е. Ржевская. Спусти много лет. Повесть. 96 стр. Цена 19 к.

И. Удалов. Повесть о балтийских разведчиках. 160 стр. Цена 31 к.

«ИСКУССТВО»

М. Алпатов. Матисс. 103 стр. Цена 4 р. 60 к.

Ф. Дюрренматт. Комедии. Перевод с немецкого. 512 стр. Цена 1 р. 34 к.

В. Миронова. Константин Скоробогатов. 120 стр. Цена 39 к.

Театральные страницы. 1969. Составитель Б. Зингерман. 540 стр. Цена 1 р. 89 к.

Б. Федоров. Кирилло-Белозерский монастырь («Памятники древнерусского зодчества»). 103 стр. Цена 1 р. 92 к.

Х. Исраири. Развалины крепостной стены. Роман. Перевод с испанского. 272 стр. Цена 77 к.

Д. Олдридж. Пленник чужой страны. Опасная игра. Романы. Перевод с английского. 622 стр. Цена 1 р. 94 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Ватман, В. Елизаров. Адвокат в гражданском процессе. 200 стр. Цена 62 к.

Г. Симоненко. Выплаты работникам, утратившим трудоспособность на производстве (Правовые вопросы). 168 стр. Цена 53 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воронеж. Гравюры на дереве А. Калашникова. Предисловие Г. Троепольского. Стихи В. Гордейчева. Воронеж. «Коммуна». 45 стр. Цена 1 р. 50 к.

Б. Гира. Бабье лето. Роман. Перевод с литовского В. Чапайтиса. Вильнюс. «Вага». 372 стр. Цена 71 к.

Г. Езерская. Живые, трепетные нити... Яснополяские этюды. Тула. Приокское книжное издательство. 46 стр. Цена 7 к.

В. Зайцев. Между львом и драконом. Дубровницкое Возрождение и эпическая поэма Гундулица «Осман». Минск. «Наука и техника». 164 стр. Цена 71 к.

А. Имерманис. Рига — Москва. Стихи. Рига. «Лиезма». 111 стр. Цена 32 к.

В. Костянов. Трилогия Уильяма Фолкнера. Под редакцией М. Бобровой. Саратов. Издательство Саратовского университета. 102 стр. Цена 18 к.

Ш. Курбанов. Этапы развития азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке. Баку. «Азернешр». 310 стр. Цена 78 к.

Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья. Саратов. Приволжское книжное издательство. 347 стр. Цена 1 р. 64 к.

А. Русакова. Томас Манн в поисках нового гуманизма. Ленинград. Издательство Ленинградского университета. 159 стр. Цена 64 к.

В. Соснора. Всадники. Стихи. Предисловие Д. Лихачева. Ленинград. Лениздат. 111 стр. Цена 46 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 399-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30/VII 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/IX 1969 г.
Формат бумаги 70×108/16. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 10813. Зак. 2646. Тираж 127.200 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.